

Кн. Г. Е. ЛЬВОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Кн. Г. Е. ЛЬВОВ ВОСПОМИНАНИЯ





Кн. Г. Е. ЛЬВОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
РУССКИЙ ПУТЬ
2002

ББК 84(2 Рос)6
Л 99

ISBN 5-85887-141-0

Издание 2-е,
исправленное и дополненное

Составители
Н.В. Вырубов, Е.Ю. Львова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне было девять лет, когда я на некоторое время поселился у князя Львова в его доме в Булонском лесу, где он жил с Евгенией Павловной Писаревой, вдовой его друга по Туле Рафаила М. С нами также жила Елена Сергеевна Львова, дочь брата Георгия Евгеньевича — Сергея, решившегося остаться в России с другой дочерью и тремя сыновьями, — все они были потом репрессированы. Впоследствии с Еленой Сергеевной — для меня "тетей Лелей" — у меня были самые близкие, душевные отношения, сохранившиеся вплоть до ее смерти в 1970-х годах. Она, как и князь Львов, похоронена в нашей семейной могиле на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В этот последний год князь Львов начал писать мемуары, прервавшиеся с его скоропостижной смертью. Я прожил с ним всего один год. В моей детской памяти он оставил впечатление доброго, спокойного, всегда занятого человека. То, что я знаю о нем, рассказывали мне тетя Леля и мой отец, которого связывали с ним не только родственные отношения, но и общее дело, Земгор, Временное правительство, совместная работа сначала в России, а затем в эмиграции.

Несмотря на то, что еще до революции князь Львов был одним из активнейших в России общественных деятелей, делегатом первой Государственной Думы, основателем Всероссийского Земского союза и председателем Земгора, его имя прежде всего получило известность как

имя главы Временного правительства. Этот пост, которого сам он не добивался и который занимал менее пяти месяцев, явился источником всех упреков, которые сыпались на него в дальнейшем, как из России, так и в эмиграции, от "своих", затмевая всю его предыдущую долголетнюю плодотворную общественную жизнь, направленную на пользу народа.

Этот человек, которого судьба неожиданно поставила на авансцену государственной жизни и вскоре беспощадно отбросила, был видным, опытным общественным деятелем умеренных взглядов, политикой не интересовавшимся и не домогавшимся власти.

Исследователи, занимающиеся ролью Временного правительства в событиях 1917 г., видят обычно причину неудачи его деятельности в безволии, проявленном князем Львовым. Мало кто придает при этом значение последствиям отречения от власти государя. Это отречение и отказ его брата, великого князя Михаила Александровича, принять регентство обезглавили государство и упразднили сознание державной власти. Никакой другой формы управления страной предусмотрено не было, и нескольким ответственным деятелям пришлось спасать страну, создав сначала Временный комитет, а затем Временное правительство. В печати этот шаг часто представлялся как насильственный захват власти.

Можно допустить, что эти люди, к доставшейся им власти не стремившиеся, оказались не на высоте создавшихся обстоятельств, но если искать истинные причины случившейся впоследствии катастрофы, то корни их скорее находились в непрочности самодержавного строя, чем в личных качествах "спасательного отряда".

Временное правительство обвиняли не только в захвате власти, но и нелегальности самого его существования, а также в желании продолжать войну вопреки национальным интересам, за нерешительность и безволие.

Обратимся к источникам. В Манифесте Николая II от 2 марта 1917 г. сказано: "Заповедую брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены". На следующий день, 3 марта 1917 г., великий князь Михаил Александрович объявил в манифесте в Петрограде: "Твердое решение восприять в том лишь случае Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского". В конце манифеста сказано: "Прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа". Таким образом, решения, принятые 2 и 3 марта 1917 г., положили конец основанию самодержавной монархии, возлагая на Учредительное собрание право выбирать будущий строй государства.

Временное правительство взялось спасать обезглавленное государство, потерявшее свой вековой объединяющий символ — царя. И хотя личность государя многим казалась неподходящей из-за его нерешительности, политических ошибок и из-за постоянных дворцовых скандалов, сам принцип монархического строя все еще продолжал вызывать в стране широкое признание. Отречение государя потрясло многих, и, в особенности, армию. Но еще глубже взволновало решение великого князя отказаться от регентства и объявление, что будущий способ правления будет определен всенародным голосованием.

Сознание неприкосновенности и вечности монархического строя, которому многие оставались верны и в народе, и в Думе, и среди членов Временного правительства (включая князя Львова), было подорвано. Единодушия не было и в правительстве, там работали люди диаметрально противоположных политических устремлений, в том числе и сторонники конституционной монархии, заложники стремившихся основать республиканский строй Советов.

Находившийся в ставке государь, узнав об отказе брата принять возложенное на него регентство, обратился 8 марта 1917 г. с письменным прощальным словом к Армии. В нем сказано: "После отречения мною за себя и за сына моего от престола Российского власть передана Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага". И далее: "Уже близок час, когда Россия, связанная со своими союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последние усилия противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу".

Генерал М. В. Алексеев опубликовал этот текст в приказе по Армии, но Временное правительство, считавшее, что после отречения государя его обращение больше уже не имело законодательного значения, решило документ не распространять.

Как легальность обращения, так и правомочность манифеста великого князя можно оспаривать, поскольку отказавшись принять регентство, великий князь не рас-

полагал верховной властью. Тем не менее, Временное правительство, полагаясь на моральное значение этих заявлений, было вправе считать себя законной властью. В этом звании оно получило от начальника Главного штаба генерала Алексеева признание содержания следующего текста присяги: "На верность службы Российскому Государству". В тексте присяги сказано: "Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское Государство, впредь до установления воли народа при посредстве Учредительного собрания", — что свидетельствует о национальной мотивировке решения продолжать войну до победного конца, в противовес распространенному обвинению относительно того, что это решение Временного правительства являлось результатом повиновения воле союзников или масонских лож. Приведение к присяге повсюду, кроме редких случаев отказа, прошло спокойно.

Наиболее распространенные обвинения, раздающиеся в адрес князя Львова, заключаются в том, что он не сумел показать себя вождем. Отметим, что люди, которые упрекали князя Львова в отсутствии качеств вождя, в частности Милюков, сами и призывали его возглавить Временное правительство, поскольку знали его как человека, проявившего себя на долголетней земской работе. То, что во Львове не было ни властности, ни склонности быть вождем, было известно заранее, как и то, что он воздействовал на своих сотрудников убеждением и требовательностью в работе. К тому же упреки оставались без ответа, поскольку Львов не принадлежал ни к одной политической партии, а значит никто не полагал нужным выступить в его защиту. Сам же он считал эти споры бесполезными. Следует напомнить, что в первые дни, когда был составлен Временный комитет, его создатели считали, что принимают временные меры для "отправления государственных дел" в ожидании Учредительного собра-

ния. В этом и смысл самого названия — Временное правительство. Именно поэтому во главе Комитета было нежелательно ставить яркую, способную повлиять на ход выборов личность. В то же время, требовался человек, пользовавшийся широким доверием, не властолюбивый, умеренных взглядов, сторонник постепенных изменений, а не переворотов. Таким "управляющим" оказался князь Львов.

Что же касается "нерешительности" князя Львова и Временного правительства в целом, то свою роль в этом сыграли два фактора. С одной стороны, следует учитывать сознательное нежелание изменять демократическим принципам правления, которые исключали применение насильственных мер в борьбе с политическими противниками. Князь Львов следовал своим моральным установкам и оказался в неравном положении в сравнении с бунтующими революционными массами, прибегавшими ко всем способам насилия и террора в своем стремлении к власти. Будучи уверенным, что усмирение невозможно без кровопролития, Временное правительство сознательно не стало прибегать к гипотетическим силам, которые согласились бы в этом усмирении участвовать. Князь Львов прекрасно сознавал при этом, что принудительные меры вели только к вооруженным столкновениям и репрессиям. Лилась кровь все тех же крестьян, на пользу которых он трудился всю свою жизнь. Вера в человеческую личность и в то, что спасение находится на пути разума, не позволяла ему прибегнуть к насилию.

С другой стороны, само слово "безволие" было неправильным. Временное правительство не было безвольным — оно было безвластным. Группа штатских, хоть и видных деятелей, оказавшихся в военное время на месте самодержавного царя, не могла вызвать народного энтузиазма, поскольку тем же символическим авторитетом, что и вековая монархия, конечно, не обладала.

Несмотря на присягу, принятую Армией, Временное правительство не могло пользоваться для усмирения бунтов оставшимися ему верными частями, в частности гвардейскими. Гвардия находилась на фронте, в то время как солдатская масса начала шевелиться сначала в тылу, и лишь впоследствии стала ненадежной и в строевых частях. К гражданским силам порядка обращаться было также нельзя, ввиду недавних их тревожных столкновений с бунтующими. В деревнях крестьяне отошли от Временного правительства, узнав о решении распределить землю на основании принципа компенсации владельцам. Не имея под собой твердой почвы законно избранной или назначенной власти и не успев завоевать народного доверия, Временное правительство, несмотря на первоначальный энтузиазм во многих слоях населения после Февральской революции, оказалось практически без власти. В то же время, монархический миф, совмещавший в себе понятия царя, Бога и родины, стал терять свое духовное воздействие, веками добивавшееся сплоченности народа. И когда Временное правительство призвало народ к порядку и защите государства, то возникли сомнения — за кого, за что и зачем. Народ, веками отстранявшийся от государственных решений, не имел гражданского сознания и понятий права и долга и на призыв не ответил.

Говоря о полной невозможности воспользоваться властью, следует напомнить обстоятельства, при которых в руках князя Львова оказались бразды российского правления. Монархия, чтобы удержаться в условиях быстро развивавшегося демократического сознания, нуждалась в применении властных мер или же принятия парламентской формы. Однако после восстания 1905 г. непрочный уже самодержавный строй не сумел предусмотреть переход на новую государственную основу, остерегался любых реформ, настойчиво отказывался от всех демократических изменений и в то же время позволил оппозицион-

ные проявления со стороны печати и политических партий. Это нанесло монархии смертельный удар. В августе 1915 г. государь счел необходимым принять на себя верховное командование всеми вооруженными силами России. Положение на фронте и в стране ухудшалось, правительства, назначаемые Николаем II, часто менялись и теряли доверие Думы и общественного мнения. Оппозиционные настроения усиливались и беспорядки распространялись, доведя государя до отречения.

Неудачи на фронте, спад производства и снабжения требовали единодушного порыва населения, а народ от нетерпения все больше падал духом. Энтузиазм понемногу утих, страна уставала от беспорядка, и в такой ситуации нужен был новый импульс к подъему и настоящий вождь.

Как же получилось, что в эпоху стихийного бедствия, разрухи и всеобщей сумятицы делегаты Думы обратились к князю Львову? Как уже говорилось выше, на переходный период нужен был скорее "управляющий", чем лидер. Сыграла роль репутация человека опытного, безупречного и делового работника, чуждого интригам и политическим подоплекам, а также нравственной личности, на которую можно было положиться. Высокое мнение о князе Львове было основано на его способности осуществлять практическую работу в самых широких масштабах. В земской работе — во время русско-японской войны и в мирные периоды (в помощи пострадавшим от засухи и голода переселенцам) — проявились практический склад характера князя Львова, его хозяйственный и деловой опыт, организаторские способности. Реальное дело и действенная помощь были для него той областью, в которой он смог проявить всего себя и которой он посвятил всю жизнь. Этот опыт более, чем что-либо другое, открыл ему глаза на недостатки государственного правления и склонил к либеральным взглядам, приведшим его и все земство в оппозицию. За князем Львовым тогда пошли многие — сочувствующие его делу видели в нем инициатора общественной работы. Привлекала его беззаветная преданность человеку, отсутствие властности, умеренные политические взгляды. Все вместе взятое послужило причиной тому, что в эпоху пошатнувшихся устоев и разбушевавшейся стихии князя Львова призвали возглавить страну.

Существовали также особые обстоятельства, способствовавшие этому выбору, а именно крайнее недоверие друг к другу членов Думы. Каждый считал, что оказавшись у власти, другой станет препятствовать новым стремлениям или поспешит основать республиканский строй, в то время как большинство, подобно князю Львову, были сторонниками конституционной монархии. Обращаясь к князю Львову, члены Думы полагали, что в этот неустойчивый момент его фигура представляет собой какую-то степень законности, поскольку на пост главы будущего правительства он был назначен государем еще до его отречения.

В этих сложных обстоятельствах, требующих способностей к тонкой политической игре, возглавить страну был призван человек без опыта государственной работы, само воплощение прямоты. Князю Львову доверяли — в этих словах можно кратко определить все хитросплетение причин, приведших его на вершину российского государства того времени.

Следует отметить также, что другие политические и общественные деятели побоялись взять на себя подобную ответственность и от нее уклонились. Князь Львов, будучи верен своему характеру, взялся за дело, как бы ни казалось оно безумно тяжело, приняв это предложение как просьбу страны. Ответить на этот зов было для него долгом, которому он был беззаветно предан. Власти он никогда не домогался и всего себя посвятил своему главному стремлению — облегчить жизнь народа, изнемогав-

шего под тяготами войны и всего этого бурного периода исторических перемен.

Общественное дело было чаянием князя Львова. Как явствует из его мемуаров, он был очень близок к жизни деревни, понимал "мужика" и старался в своем сострадании к нему улучшить его долю. Из среды помещиков многие стремились в то время облегчить существование крестьянина, облегчая тем самым прежде всего свою совесть, но не все находили способ добиться желаемой цели.

Князь Львов с самой молодости набирал опыт в земской работе, что помогло ему принести реальную пользу, а не ограничиваться абстрактными теориями. Его привязанность к народу и восторженные отзывы о русском крестьянине не имели ничего общего с народничеством — в основе их лежал опыт и вера в то, что русский мужик должен сам активно участвовать в строительстве собственной судьбы и государственного устройства России. Он всегда понимал неготовность народа к республиканскому строю, но был противником абсолютизма и стоял за конституционную монархию. Эти взгляды давали повод многим российским исследователям говорить о принадлежности князя Львова к масонству. Они знали при этом, что масоны не будут ничего опровергать, и рассчитывали на общее незнание сути масонства. Это, безусловно, было обдуманным намерением повредить его безупречной репутации — масонство в России воспринималось как что-то чуждое, сомнительное, подчиненное таинственным силам. Поскольку безупречная нравственность не давала повода к упрекам, начали искать иной повод. Львова связывали с Керенским, видным масоном, хотя если не считать участия во Временном правительстве, это были совершенно разные и чуждые друг другу люди. Повиновением "масонскому приказу сверху" объясняли и назначение князя Львова на пост главы правительства, и его отказ от этого поста в июле 1917 г. в пользу Керенского.

Я доподлинно знаю по семейным обстоятельствам, что князь Львов не был масоном. Об этом говорил мне мой отец — сам масон, а также родственник и соратник Львова по земским делам. Это известно мне также от Елены Сергеевны Львовой, его племянницы и моей тети. Кроме этих неоспоримых свидетельств, нужно отметить, что ни в образе жизни князя Львова, ни в его увлечениях, ни в убеждениях не было ничего масонского. Львов избегал светской жизни, в эмиграции любил быть среди своих, русских друзей, плохо говорил на иностранных языках, был привязан ко всему русскому, а письма обычно оканчивал аббревиатурой Г. С. Т. [1]

Даже его широкие взгляды проистекали не от международного масонского либерального учения, к которому примкнули некоторые члены Временного правительства, а из жизненного опыта, который убедил его, что прогресс страны требует правительственных мер, направленных на пользу народа. Можно сказать, что князь Львов был мистически расположен к русскому народу и верил, что русский человек сумеет продвинуться своими силами, если эти меры будут приняты. В этом он существенно отличался от масонов, склонных видеть спасение в Западе.

Несмотря на давность событий и неудачный опыт Временного правительства, подход к делу князя Львова является чрезвычайно актуальным для сегодняшней России, поскольку не укладывается в общие рамки славянофилов и западников, на которых привыкли делить российских общественных и политических деятелей. Князь Львов был самобытной личностью, выбравшей из обеих тенденций то, что могло принести конкретную пользу крестьянству. Видя надобность использования преимуществ западных технологий для развития российского производства и облегчения крестьянского труда, ратуя за за-

---

[1] Господь с тобой.

падный путь к прогрессу, он, в то же время, придерживался особенностей народного духа, понимал особенности русской ментальности и русского образа жизни. В отличие от других либерально настроенных политических деятелей, смотревших на западный пример развития и желавших применить в России реформы, которые в других странах доказали свою обоснованность, Львов желал сочетать способности и опыт русского человека с западными техническими достижениями. В Западе Львов видел не пример, а способ преодолеть опоздание в развитии России. "Мужик" был для него не объектом для спасения и патернализма, но и не мистическим "богоносцем", а будущим активным деятелем российской экономической жизни. Он сознавал, что у русского человека еще не было гражданского сознания, понимания своих прав и обязанностей по отношению к государству. Видя, что российский крестьянин склонен скорее терпеть и ожидать лучших дней, уповая на Божью помощь и доброго царя, князь Львов определял воспитание этого сознания как одну из своих задач. Предчувствуя гибельный исход восстания и насильственного пути, он желал постепенно, без переворота, развить в русском человеке возможность пользоваться плодами западного прогресса. Это было не политическим кредо, а основой для реальной деятельности.

Что же касается политических взглядов князя Львова, то еще в России его воззрения не укладывались в те программы, которые в то время представляли политические партии. Он не принадлежал никакой политической партии и мало значения уделял теориям, хотя обладал твердыми умеренными убеждениями. Народолюбец, он не увлекался вопросами равноправия и братства народов. В эмиграции ему также пришлось возглавить все тенденции и сойтись с Белым движением, ставшим монархическим по ходу войны. Однако вскоре Львов отошел от него и занялся исключительно Земгором — помощью бедствующим соотечественникам. На этом поприще он вновь проявил прекрасные качества организатора, в самых тяжелых условиях реально помог многим русским, оказавшимся в изгнании, — устройством рабочих мест, детских учреждений, старческих домов. Ему также принадлежит заслуга убеждения американских организаций и чешских властей в надобности принять финансовое участие в проведении программы помощи, разработанной им самим.

В Америке князь Львов пробыл пять месяцев, с 16 октября 1921 г. по 16 марта 1922 г., — столько же, сколько он занимал пост главы Временного правительства. За это время он провел сложные переговоры со многими общественными и государственными деятелями, в том числе с Гербертом Гувером, тогда министром торговли. Князь Львов сумел убедить Гувера не только в необходимости помочь нуждающимся эмигрантам, но и в том, чтобы ввиду повального голода помощь продуктами должна быть оказана и Советской России.

С точки зрения человеческих качеств князь Львов представлял собой безупречный моральный авторитет и вызывал уважение всех социальных слоев. В его обхождении с людьми не было ничего от того, что вкладывают в России в понятие "помещик", — ни барской замашки, ни надменности. Он общался со всеми равно, был снисходителен, но упорен и требователен в делах. В том, как признавал он за каждым человеком право на собственные воззрения, проявлялся его истинный демократизм. Всегда погруженный в свои дела, он имел мало друзей, требуя от других, как и от себя самого, многого по отношению к России. Будучи застенчивым, малообщительным человеком, он избегал митингов и толпы. Главная сила князя Львова состояла в неколебимой вере в простого человека. Сознание того, что цель, поставленная им, недостижима, наложило на его последние дни отпечаток грусти. Он не отвечал на нападки, которые раздавались со

всех сторон, и не старался, как другие в эмиграции, оправдаться. Он нес неудачу в сознании, словно свой крест, с глубокой скорбью по поводу того, что любимая им Россия вступила на путь обреченный и гибельный. Его смерть на чужбине особенно трагична — он умер в сознании неоконченности начатого, в непонимании со стороны окружающих и с мыслями о том, что в России свирепствует голод.

Мемуары князя Львова охватывают только самый начальный период его детства и раннюю юность. Но проникновенные лирические страницы, которые посвятил он русской деревне и крестьянскому труду, свидетельствуют лучше любых других слов о том, на какой основе была построена его жизнь и какие нравственные устои позволили ему пройти его честный и тяжелый путь.

Н. В. Вырубов
бывш. председатель Земгора,
член правления.
Париж, 1996 г.

МОЙ ВОСПОМИНАНИЯ

"Мать Россия,
Мать Россия,
Мать Российская Земля"

Из солдатской песни

I

Многими природными богатствами одарена от Господа Бога мать Российская земля — просторная, ровная, черноземная, поемная. Далеко слава о них легла. Но далеко не все богатства ее еще изведаны, далеко не все оценены. Не оценено достаточно одно из великих благ земли нашей — русская весна. Ох и хороша же русская весна! Много в ней силы, и велико ее значение в русской жизни. Ни одной стране в мире не дано переживать нашей весны. Ни у одного народа в мире нет этого ежегодного перехода природы из-под белого савана под венчальный наряд. Никто не знает этого почти осязательного чувства весеннего воскресения из мертвых. Никого так не охватывает, не обнимает ликующее, радостное шествие жизни. Быть может, именно это воскресение природы дает русской душе особое, ей одной испытываемое чувство духовного воскресения. День Воскресения Христова у нас поистине есть Воскресения день — всеобщего воскресения и природы и людей.

Эта гармония веры и природы глубоко залегла в характер и уклад всей жизни народной. Она составляет одну из основ жизни русского человека. Из века в век устанавливается в нем самой природой, что жизнь в своем извечном круговороте побеждает смерть и ведет к воскресению. Жизнь вечная дана православному

миру не в вере только, а в живом ощущении. Она составляет подпочву и фундамент его психики.

И в моем ощущении и восприятии всего пережитого всегда проходило какое-то неуловимое чувство весны. Все всегда вело к воскресению. Все всегда было лишь переходным явлением к весне. И никакие ужасы, никакие черные дни не убивали веры, что придет весна. Все события, каковы бы они ни были, составляли для меня одну цепь переходных этапов к лучшему будущему, и зимние дни входили в нее по закону природы для весны.

Воспоминания мои могут показаться поэтому воспоминаниями неисправимого оптимиста. Что же делать — этому виной не умышленная тенденциозность, это моя правда. Что же делать, если весна составляет органическую часть моей природы, а время, в которое мне пришлось жить, было проникнуто весенним воздухом, в котором таяли застоявшиеся зимние льды. Что же делать, если оптимизм мой есть производное русской природы и веры.

Я родился в 1861 году, 21 октября в городе Дрездене, но вскоре после моего рождения родители мои переехали в Россию, и все мое детство протекло в деревне в Тульской губернии, с которой связана и вся последующая моя жизнь. Село Поповка было колыбелью всей нашей семьи. Небольшое, в четыреста с небольшим десятин земли, имение это пришло к нам со стороны матери от ее тетки Прасковьи Ивановны Раевской, у которой она воспитывалась. Прасковья Ивановна была богатая помещица, жила всегда в Москве большим открытым домом, слыла меценаткой и устраивала себе в Поповке летнюю резиденцию. Она имела в виду основать в ней женский монастырь, но не успела выполнить своего намерения. Строилась ею усадьба в начале 18 века. Дом деревянный, двухэтажный, в десять больших комнат, с большими окнами и дверями из такого отборного мелкослойного красного леса, которого теперь и не сыскать — его возили за сто верст из Калужских засек — в стиле московского ампира. Перед ним на востоке был большой овальный газон, по бокам которого стояли два чудных маленьких флигеля, тоже в стиле ампир — с куполами и колоннами, а напротив дома, за газоном, большая белая каменная церковь, легкая, стройная, с каменной оградой — все постройки хорошего архитектора, не помню его фамилии, кажется Жилярди, который строил Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле, что стоит у Спасских ворот. По планировке и размерам усадьба не соответствовала имению. В ней было много широкобарского, а имение было в сущности мелкопоместным. От южной стороны дома шел сад, спускающийся к пруду, через который в прежние времена переправлялись в плавучей беседке на другую сторону, где раскинут липовый парк, стояли оранжереи, грунтовые сараи, фруктовый сад, ягодники и огород. С западной стороны дома через проезжую дорогу стояли надворные постройки: скотный двор, конюшни, каретные сараи и еще дальше, за оврагом, гумно. Село тянулось двумя слободами по обе стороны усадьбы с южной стороны, так что дом наш с садом был охвачен деревней. К востоку от церкви шла березовая аллея, называвшаяся "прошпектом" — это подъезд к усадьбе с полуверсты длиною — очень красивый, придававший некоторую парадность всей усадьбе. Вдоль аллеи шел выгон с церковной слободкой. Вся окружающая местность довольно живописная, холмистая в перелесках, типичная переходная от северной лесной к южной черноземной, степной полосе.

Когда строилась усадьба, она считалась подмосковной. В то время без железных дорог — 180 верст на

лошадях до Москвы считалось близким расстоянием. В Москву зимой возили гужом хлеб и живность и даже дрова на топку в дом П. И. Раевской, а летом она приезжала в Поповку как на дачу. От губернского города Тулы до Поповки всего только 30 верст, но с Тулой большой связи не было. Она считалась стоящей в стороне, не на пути. Переезд в Москву делался легко, в два дня, в четыре перегона на своих лошадях в дормезах с остановками в с. Марьино, Серпухове и Подольске. И мы так переехали, но я не помню этого переезда. Связь с Москвой скоро прекратилась. Поповка уже перестала быть в наше время подмосковной. Это уже было не под силу новому быту. Из столичной она попала в провинциальную тульскую орбиту.

Уездный наш город Алексин, в 20 верстах от Поповки, скорее напоминал большое торговое село, чем город. Очень красиво расположенный на правом высоком берегу Оки, во времена татарских нашествий он служил сторожевым постом. От его высокого местоположения видны на бесконечные пространства калужские леса. Димитрий Донской стоял здесь с передовыми постами перед Куликовской битвой. Бедный город, сколько я его ни знал, всегда производил впечатление какой-то застывшей в одном положении жизни. Легенда говорит, что его проклял Алексий Митрополит за то, что перевозчик через реку Оку не захотел перевезти его без платы с калужской стороны [1]. С тех пор его преследуют несчастья. Много раз он выгорал дотла, его всегда обижала судьба. Особенно обидела его Сызрано-Вяземская железная дорога. Инженеры, проводившие ее, не захотели построить станцию в городе

[1] Сняв с себя крест и отдав его перевозчику, он сказал: "Не расти этому городу. Какой есть, таким и останется до скончания века своего".

Алексине, а выстроили ее на противоположном берегу Тарусского уезда Калужской губернии, и все надежды города на оживление, связанные с железной дорогой, рухнули. Несчастье это объясняли тем, что Тарусский уезд сумел собрать и предложить инженерам более крупную взятку, чем Алексин. Он и получил настоящий вокзал, а Алексину достался полустанок за пять верст от города в глухом местечке под названием "Свинки", поэтому и вся печальная история эта называлась свинской. Сообщение города со станцией до сих пор напоминает жителям проклятие Алексия Митрополита.

Дорога до станции по топкой луговой стороне Оки около трех верст не лучше заброшенной таежной гати. Весь берег загружен сплавным лесом из Калужской губернии, и в теснинах между штабелями этого леса вязнут и тонут в трясине возы с грузом и ямщицкие тарантасы с дрогами, специально приспособленными к таким испытаниям. Да и весь Алексинский уезд бедный, земля его — глина и суглинок — для обработки тяжелая, без навоза хороших урожаев не дает. Леса его давно вырублены, съедены Тульским оружейным заводом и Сызрано-Вяземской железной дорогой. Осталось немного у крупных помещиков, но крупных имений в Алексинском уезде немного. Весь уезд покрыт мелкими лесами, исключительно лиственными, он весь в перелесках, и это придает ему живописность. Особенно красива местность вдоль Оки. Там у самого берега попадаются ель и сосна. Под самым городом стоит чудный, принадлежащий городу сосновый бор, ставший в последние годы дачной местностью. Туда приезжал на лето жить и отдыхать как в санаторную станцию чиновный люд из Тулы и даже из Москвы.

Села и деревни по уезду частые, мелкие. Хлебопашество не дает достаточно для прожития. Своего хлеба не хватает на год до новины, и потому население заня-

то кустарным и отхожим промыслом. Разнообразие промыслов говорит за изворотливость и способность населения. Чем только оно не занимается? Изделием гармонных ящиков, самоварных кувшинов, во многих деревнях изготовляются самовары в законченном виде, которые поступают затем на фабрики в Тулу, где на них накладывают фабричные клейма и спускают за свое фабричное изделие. Много по уезду замочников, мастеров скобяного дела, вырабатывающих бесконечно разнообразные товары: печные приборы — дверцы и отдушники, петли оконные, дверные приборы и прочие — сундучников, коробочников — все это работают дома целыми семьями. Но много промыслов и отхожих — портные, шубники, валяльщики, щекатуры, каменщики, кирпичники, щепники, санники, бондаря, матрасники, золотильщики и т. д. В последние годы увеличился отход в Серпухов на ткацкие фабрики и в Москву половыми, торговцами, латочниками и т. д., что уже отрывало молодежь от деревни и вносило в деревню городские вкусы и нравы.

Помещики — их очень было много, но большинство из них не удержались на местах, разорились, распродали свои имения или спустились до крестьянского уровня. Под самым г. Алексиным есть деревня Епишково — как она образовалась не знаю, но вся она дворянская. Нынешние мужики, все они были в свое время дворянами. Время, когда помещики жили свободно, разъезжали друг к другу, гащивали друг у друга неделями, съезжались на праздники и балы, я едва помню. По мере того как они оскудевали, они жили все замкнутее, закапывались в свои хозяйства и просто исчезали. В 60-х годах на очередные уездные Дворянские собрания съезжалось более 100 человек, а в последние годы на выборы едва набиралось два десятка голосов с доверенностями. Много исторических и литературных трудов посвящено изображению этого процесса отмирания крепостного строя жизни, смены старых устоев новыми, упорной борьбы старого духа времени с новыми освободительными веяниями, с либеральной частью общества, вырабатывавшей и проводившей в жизнь новый социальный строй.

Так сложилось, что я попал в этой жизненной борьбе в лагерь новых сил. Все воспоминания мои связаны не с защитой и отстаиванием уходящего прошлого, а с наступательным движением вперед, с борьбою во всех направлениях за новые формы жизни. На рубеже между старой и новой жизнью семья наша не была захвачена тою лавиной имущественного и духовного оскудения, которые описал так ярко Сергей Атава. Мы вступили в борьбу с трудностями новой жизненной обстановки и отстояли свою семейную культуру и достоинство, не прибегая к искательству, не полагая надежд на потомственные преимущества и привилегии и милости свыше, что стало обычной дорогой спасения для разорившейся массы поместного дворянства, не сумевшего справиться с жизненным переворотом. Из всех сил мы карабкались и выдирались из развалин прошлого, выучились работать, узнали цену труда и постигли отраду творчества в нем.

Работать научила нас деревня, земля. Поповка явилась для нас основным воспитательным фактором в течение всей нашей жизни. С землей и деревней связано образование всего нашего мировоззрения, они определили весь наш жизненный путь. Я говорю мы — нас было у родителей пять детей. И все, не исключая и самих родителей, прошли в разных степенях это деревенское воспитание.

Семья наша принадлежала к высшей аристократии. Род князей Львовых один из немногих не иссякших родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, ка-

жется их всего семь, да остались ли теперь эти семь. Мы, дети, представляли в нем тридцать первое колено. В Российской родословной книге князя Долгорукова перечислены все наши предки. Многие из них сыграли крупную роль в истории России. Особо чтимым из них был благоверный князь Федор, удельный князь Ярославский, за свои заслуги по защите Ярославского княжества от татар. Так же как Св. Александр Невский ограждал север от ливонских князей, так Св. князь Федор ограждал восток от татарской Золотой орды. В ярославском соборе, построенном во имя его и его двоих сыновей, покоятся в раке его мощи. Разветвление рода князей Львовых связывает его с самыми родовитыми фамилиями в русской истории.

Многие родственники наши последнего времени сохраняли крупные состояния и видные положения, но наша семья не жила их жизнью, хотя и сохранила родственные связи с ними. С падением крепостного уклада жизни мы попали в категорию разорившихся помещиков, не имеющих достатков, которые позволяли бы нам жить жизнью старого своего круга. Но мы не скатились вниз. Мы выкарабкались из крушения, захватившего многих, благодаря собственным силам и достигли независимого положения в новом укладе жизни. Этот трудный путь завоевания независимого положения в новых экономических и общественных условиях отделил нас от верхов и меня лично демократизировал. Мне всегда легче было в демократических кругах. Я тяготился всяким общением с так называемым высшим светом. Мне претил дух аристократии. Я чувствовал себя ближе всего к мужику. Духовное родство мое не совпадало с кровным. Друзья мои, поистине близкие мне люди, были люди новой формации освободительного времени, люди либерального демократического склада. Корни такой ду-

ховной трансформации лежали не только в условиях времени, но и в самой семье нашей.

Отец наш был человек европейской культуры, свободных взглядов, высокого духовного благородства и высокой морали. Мудрый воспитатель, педагог, положивший все свои силы и средства, что называется до последнего, на наше воспитание и образование, он не был практическим человеком. В делах его преследовали неудачи, но он переживал их спокойно, не приходил в отчаяние, не сваливал никогда вину в понижении своего достатка на акт освобождения крестьян, никогда не жаловался и верил, что если ему удастся поставить нас, детей, на ноги для работы и вложить в нас основы морали, то мы не пропадем. В самые трудные времена, когда обсуждались на общих семейных советах дела, он всегда говорил, как няня в "Войне и мире" Толстого: "Ну, Бог даст, все образуется".

Мать наша была удивительной доброты женщина, готовая перенести, и действительно переносившая, всякие лишения для нас. Она была сильно глуха. Я не помню ее иначе. К старости глухота ее усилилась, но она не отчуждала ее от жизни. Она трепетала в постоянных заботах о нас.

Дети делились на три серии — двое старших братьев, Алексей и Владимир, и двое младших, Сергей и я, между этими сериями 10—12 лет разницы, и сестра Мария, моложе меня на четыре года. Старшие братья вкусили меньше от деревни и земли. Они родились за 10 лет до уничтожения крепостного права, первоначальное учение получили за границей и кончали его в России, когда были еще кое-какие средства, и ко времени нашего сознательного житья и работы в деревне поступили на государственную службу. Мы же, двое младших братьев и сестра, прошли жизненную школу в деревне, можно сказать, полностью. Нам достались в

ней и детские годы и работа формировки новой жизни. Детские годы не лишены были сладости, годы юности не лишены были горечи, но мы увлекались творческой работой, которая доставляла нам и много утешения. Мы вытерпели многие тяжелые годы, когда на столе не появлялось ничего, кроме ржаного хлеба, картошек и щей из сушеных карасей, наловленных вершей в пруду, когда мы выбивались из сил для уплаты долгов и мало-мальского хозяйственного обзаведения. Все долги по большей части были, что называется долгами совести, не оформленные. Происхождение многих из них было утрачено во времени, но отец почитал долгом совести и чести выплачивать их, и мы их выплатили все. Последний долг я уплатил уже не так давно до войны. Ему было более 100 лет от роду, и на чем зиждились права этого потомственного заимодавца, никому из нас в точности не было известно. Это вечное состояние должника и забота об уплате в первую очередь перед своей нуждой долгов совести имели в нашей жизни громадное воспитательное значение. Мы не были лишены ни радостей жизни, ни веселья — и в трудных условиях они всегда имеют место в семье, и их всячески стремились нам доставить родители, — но чувство долга было основным чувством, выработанным в нашей семейной жизни. Уплата долга, исполнение долга вообще приносили отраду глубокого нравственного удовлетворения и какого-то торжества, не только личного, но и семейного.

Кроме Поповки у нас было имение в Черниговской губернии — Соколья слобода, принадлежавшее Разумовским и доставшееся нам через тетку нашу, рожденную Перовскую — жену старшего брата моего отца. Я никогда не был в этом имении. Там был дом, было какое-то хозяйство, но главную ценность имения составляла лесная Дороховская дача. На продажу этой

дачи и полагались все наши надежды. Она должна была избавить нас от долгов. Соколья слобода не приносила никогда никакого дохода. Там был управляющий какой-то француз mr Covin, и единственное, что пришло к нам из Сокольей слободы, — это была мебель Разумовских, которая привезена была в Поповку, — великолепная, из цельного красного дерева, в стиле Empire, служившая действительным украшением нашего дома, и пять лошадей — четверня в серых яблоках: Барс, Барсук, Нептун и Корделизка и белая большая лошадь Наполеон. Лошади эти были тоже большим украшением Поповки и сыграли в нашем детстве немалую роль. И мебель, и лошади поддержали на известной высоте наш престиж и наш кредит.

Mr Covin выполнил свою роль, привел в полное расстройство хозяйство Сокольей слободы и купил себе имение. Тогда на сцену выступил местный хохол — не то кабатчик, не то какой-то мещанин, торгаш — Петр Алексеич Оликов. Он явился к отцу с планом — разделить всю землю на мелкие участки и распродать их крестьянам. Он уже провел удачно одну такую ликвидацию крупного имения в тех краях и ручался за успех. В ту пору продать землю целым имением значило отдать его за бесценок, а идея распродажи его участками подавала надежды на большую выручку и утешала отца мыслью, что земля пойдет на улучшение положения крестьян. Операция продолжалась несколько лет.

Помню, каким всякий раз событием был приезд хохла с вырученными от продажи участков деньгами. Помню даже, как раскладывались на столе деньги и считались кучки серебра. Это действительно бывало крупным событием. В доме менялось настроение. Какая-то часть этих денег всегда шла на облегчение текущей жизни, но главное — деньги эти освобождали от гнетущих долгов. Эти моменты оживления в доме незабываемы.

Отец сиял, мать радовалась за отца, мы все приходили в радостное настроение. Оликов привозил деньги на себе, он бывал весь окутан ими, ехал с ними, не раздеваясь неделями, и страшно вонял, но мы любили его, и когда он распоясывался, вытаскивал из себя деньги и распространялся тяжкий дух — мы собирались в кабинете отца на праздник.

Не помню уже теперь, сколько было выручено денег из Сокольей слободы, знаю только, что все они пошли на уплату долгов. Затем, позднее удалось продать и Дороховскую лесную дачу Сокольей слободы. Леса там почти не имели цены. Вся надежда была на Брянские заводы, которые съедали окружающие их леса. И действительно, пришел черед и на нашу дачу. Она была продана за 30 тысяч. Подождать бы еще немного, и она стоила бы сотни тысяч, но никто этого не жалел, а напротив, с продажей этой соединялось чувство величайшей благодарности Промыслу Божию. Дело в том, что чуть ли не неделю спустя после ее продажи прошел ураган, знаменитый Кукуевской катастрофой, который исковеркал всю дачу. Брянский завод, который скупал леса на топливо, мало от этого пострадал, но если бы ураган этот сломил лес, когда он был нашим, то, очевидно, он потерял бы всякую цену и продать его мы бы не смогли. За этой ликвидацией Сокольей слободы у нас оставалось еще более 80 тысяч долгов против одной Поповки, стоимостью по тогдашним временам не свыше 25 тысяч рублей, не приносившей никакого дохода и служившей лишь гнездом для нашей семьи, и небольшой клочок земли в Богородицком уезде Тульской губернии, сдававшейся подесятинно в аренду крестьянам деревни Новоспасские Выселки. Вот при этом балансе и началось наше активное участие в хозяйстве.

Отец был в это время уже стар и слаб здоровьем, а мы, вторая серия детей, вступили в возраст юношеских лет. Брату Сергею было 16 лет, мне 14. Мы учились в Поливановской гимназии — лучшей в то время в Москве, и брат Сергей, чувствуя, что надвигается неизбежная катастрофа, что жить нам вот-вот будет нечем, решился на героический шаг — вышел из гимназии и принял на себя все хозяйственные семейные дела. С этого момента началась наша сознательная действенная жизнь. Я ясно сознавал, что получаю образование только благодаря брату. Он принял на себя бремена житейские, а я тем самым получал возможность окончить гимназию. Мы все смотрели на брата как на человека, принесшего себя в жертву для спасения семьи. Для родителей это было одновременно и большим ударом и отрадой. Им было тяжко сознание, что они не смогли довести до конца образование сына, но самый поступок его утешал их как благородный акт. Мы все, и в том числе я, чувствовали себя обязанными ему, и я всячески старался быть ему помощником. Это удавалось мне только отчасти. Позиции наши по духу были почти одинаковые, но работа наша на жизненной ниве пошла разными путями. Я не мог предчувствовать тогда, да и теперь еле охватываю, то богатство переживаний, которые были на моем пути.

Трудно представить себе, как много охватывает период жизни одного человека. Нашему поколению выпало время, особо богатое содержанием, а мне пришлось пройти в этой богатой содержанием жизни в самом фарватере ее течения от крепостного права до III Интернационала. Я работал во всех областях жизни — в частнохозяйственной, общественной и государственной, и во всех них шел направлением, указанным мне тем комплексом чувств и понятий, который дала мне жизнь в Поповке. Как рождались вкусы, склонности и устремления, как вырабатывались характер и способности — в эту тайну жизненного воспитания про-

никнуть, конечно, мне не удастся, но я надеюсь, что последовательно рассказанная личная моя жизнь даст небезынтересные бытовые черты той общественной жизни, которая развертывалась в России во второй половине 19-го и начале 20-го века. Я был туго вплетен в нее, встречался и имел дело с людьми разнообразных формаций, с вождями русского освобождения от оков старого порядка и с ярыми приверженцами его, работал в самых разнообразных, иногда бесконечно сложных и трудных условиях, но всегда шел по компасу из Поповки и вел линию, которая началась оттуда с самого раннего детства.

II

Первые более или менее отчетливые воспоминания мои начинаются с Тулы. Отец служил в Туле управляющим государственных имуществ. Мы жили, конечно, на Дворянской улице, в доме Полонских, в нем помещалось в последние годы училище для слепых. Дом был большой, с парадными комнатами, с нарядной мебелью от знаменитого в то время в Москве столяра Блей-Шмидта. Внизу большая зала, гостиная, спальня мамá, коридор, а по другую сторону его — кухня, комната бабушки Софии Николаевны Молчановой, кабинет отца, буфет, передняя. А наверху детские — наша, двух младших братьев, в которой была и наша бонна, англичанка miss Jenny Tarsy, комната старших братьев, классная, учительская и девичья. Рядом с нами был дом Расторгуевых с садом, и там было несколько скворешников, которые мы очень любили, — они были видны из окна нашей детской, и мы весной были в близких отношениях со скворцами. В доме было много прислуги — два лакея, Егор и Димитрий,

горничные — одна Поля, очень злая, другая Ольга, впоследствии жена Димитрия, повар Емельян, большой искусник — он делал замечательные тянучки, и кухонный мужик Гаврила из Поповки, особенно близкий наш друг, черный красавец и левша. Жили довольно широко, была карета и пара вороных лошадей для выездов в церковь и визитов, кучер Макар. Нас удивляло, как это — он небольшого роста, а когда садился на козлы, то казался большим от кучерского кафтана.

Дом наш для Тулы был светским. Помню фамилии круга знакомых. Нас посещали губернатор Шидловский, вице-губернатор, судебное ведомство, архиерей Никандр, семья Волкова, впоследствии он был управляющим Московским земским банком, Буши, Хрущевы, Арсеньевы, Тулубьевы, помню Салтыкова-Щедрина, который служил управляющим Казенной Палатой, Льва Николаевича Толстого, очень нарядного, князя Хилкова, Полонских, Булыгиных — наших единственных родственников в Туле, губернского предводителя Минина — толстого, толстого господина. Удивляюсь, как все они остались у меня в памяти, почему даже я их знал. Вероятно, потому, что впоследствии их поминали, перебирая в памяти тульское житье. Но все лица и фигуры их я помню отлично. Как маленький горбоносый и всегда щеголевато одетый князь Хилков картавил, как отец передразнивал Волкова, называл его "обшигная площадь", выговаривая вместо "р" "г". У нас были сверстники, товарищи Арцымовичи Витя и Костя — оба впоследствии чиновники Министерства внутренних дел, Буши и Булыгины Путя и Миша, несколько старше нас и удивлявшие нас своею удалью и отчаянностью. Наверху была одна комната, в которой никто не жил, там были сложены матрасы. Когда Путя и Миша приходили к нам, они устраивали из этих мат-

расов горы и катались с них — и мы тянулись за их удалью в этих катаниях.

Жизнь в Туле отмечена несколькими крупными событиями, впечатления от которых остались на всю жизнь. Мы гуляли обычно по Киевской улице. Широкая, круто спускавшаяся от Киевской заставы вниз до Кремля, она была центром тульской жизни. Наверху ее стояла самая высокая церковь в Туле — Всех Святых и тюрьма. Вниз, по обе стороны ее тянулись все казенные большие дома, так называемые присутственные места: Окружной суд, Губернское правление, Казенная палата, полицейский дом с пожарной каланчой, губернаторский дом, а в нижней части ее были лучшие магазины. Мы ходили вниз до Кремля и возвращались обратно мимо торговых рядов по Петропавловской. На этом пути были излюбленные места. Около кремлевской стены всегда на одном и том же месте стоял торговец с кос-халвой, высокий, худой, красный, который считался греком, так как халва называлась греческой. Халва эта стояла высокой белой горой на его лотке, и он ловко откалывал от нее куски. А напротив его, в рядах около подвала Щукина, знаменитого до последних времен поставщика гастрономических товаров — он особенно славился паюсной икрой и рябчиками, была торговля певчими птицами. На стенке висело множество клеток с замечательными голубями-турманами и разными певчими птицами, которые громко и весело щебетали. Вот этот грек с халвой и птицы имели особую притягательную силу и были всегда, конечно, целью наших прогулок. Еще на Петропавловской у каретника Флитера была наша любимая красно-бурая корова, которая гуляла на улице против его двора, грелась на солнце и восхищала всех своей красотой, про нее говорили, что она самая лучшая, первая корова в Туле. Флитер выпускал ее на улицу для своей славы.

Когда и как произошло событие покупки птиц, я не помню, но у нас в детской появились зимою чижик и щегол. Они летали у нас на свободе и скоро очень приручились. Дружба с ними была очень тесная. Щегол казался мне очень умным, и я любил его больше чижика. Птицам зимою, рассказывали нам, холодно и голодно, поэтому их ловят "казюки" и продают детям, чтобы они зимою их кормили, а на Благовещение весною выпускали на волю. "Казюки" — это заводские рабочие Тульского оружейного завода.

Тульский оружейный завод, первый в России, построен при Петре Великом знаменитым Демидовым — купцом из соседнего с Поповкой села Павшина. Как все заводы того времени, он работал водной силой. Заводская запруда по реке Упе держит массу воды, которая затопляет приупские луга на много верст за Тулу. Вся нижняя, заречная часть Тулы — так называемое Чулково — заселена оружейниками — "казюками" и жила своей особой жизнью, для нас особенно таинственной и интересной. Чулково было центром кустарных произведений, которыми славится Тула, особо скобяных изделий, гармоний, охотничьих ружей и самоваров. Знаменитые на всю Россию фабрики: гармонная Воронцова, скобяная братьев Тепловых, самоварная братьев Баташевых — выросли на кустарях. На них работают все окружающие Тулу селения Тульского, Веневского и Алексинского уездов.

"Казюки" издавна славились своим мастерством, которое Лесков так искусно изобразил в своем "Левше". Они знаменитые охотники, птицеловы, рыболовы, перепелятники, страстные любители голубей-турманов и канареек. На крышах их домов устроены большие голубятники и кенарники. Их турмана целыми стаями вьются над Тулой, все любуются их красивым полетом, как они сверкают на солнце, стремительно

падают, кружась колесом, и взвиваются опять вверх к своей стае. О "казюках" всегда рассказывали интересные рассказы: как они уходят в Засеку — казенные леса под Тулой, живут и ловят птиц, какие у них есть на это снасти — сети, лучки, силки, западни, как приманывают они птиц пищиками, дудками и знают, как какую птицу приманить, как они рассыпают для снегирей по снегу ягоды из-под наливок, и снегири, наклевавшись их, пьянеют, и тогда они их берут на снегу голыми руками, какие у них замечательные, выдержанные соловьи, которые насвистывают молодых, и они продают их за большие деньги любителям в Москву, как, наконец, переманывают друг у друга турманов. Страстные они тоже охотники до кур — у них, по рассказам, такие были куры, что несли по два яйца в день. Знаменитый самоварный фабрикант И. С. Баташев даже с ума сошел на курах и турманах. Он раздавал всем свои портреты, фотографии — сидит в кресле, подпершись большим пальцем под подбородок, указательным в щеку, а мизинец на отлете, на нем, как у городского головы, цепь, с большою медалью, лежащей на груди, — полученной на куриной выставке, а рядом на столе курица или голубь, тоже с цепочкой на шее, и на ней висит дощечка с надписью "я его люблю", "им горжусь" или что-то в этом роде. И на самом деле, на всех выставках он получал первые премии за свою выводку кур и голубей.

Вот мы с чижиком и щеглом с нетерпением ждали весны. На Благовещение был чудный яркий день, так тепло, что зимние рамы были уже выставлены. Мы поднесли клетку к окну. Сердце колотилось у меня, как у щегла с чижиком, и когда они вылетали, у меня неудержимо полились слезы. Они не сели на расторгуевские березы, не присоединились к нашим друзьям скворцам, как мы этого ждали, а улетели прямо вдаль

и исчезли, "утопая в сиянии голубого дня". Но эти чудные, единственные стихи Туманского слились с нежным чувством, которое тогда охватило меня, гораздо позднее. Тогда я их еще не знал, авторами моей поэзии были "казюки"-птицеловы. Пушкин и Туманский присоединились к ним гораздо позднее.

Много раз в жизни потом всплывали во мне эти нежные чувства по самым неожиданным поводам. Последний раз — в совершенно не вызывающей их обстановке, когда в Мариинский дворец Временному правительству являлись с приветствием с фронта воинские делегации. Во время заседания Совета Министров явился г-н Бискупский с георгиевскими кавалерами, и весь состав кабинета, как это было принято, должен был выйти к ним и говорить речи. Пока колоссальный г-н Бискупский говорил трафаретные приветственные фразы революционного пошиба, я вглядывался в лица солдат — георгиевских кавалеров и увидел в них близкие, милые мне, типичные, умные глаза и лица. Это были действительно отборные молодцы. Один из них напомнил мне лицом нашего друга Гаврилу. Вдруг всплыло во мне благовещенское чувство. Свобода, улетающие в даль щегол с чижиком, несущиеся куда-то георгиевцы, политическая и настоящая весна — как-то слилось все вместе. У меня готовы были вырваться приветственные слова благовещенского настроения, самые простые, близкие по духу им и мне, но со мной рядом стояли Милюков и Некрасов, и когда генерал Бискупский кончил и я перевел глаза от георгиевских кавалеров на своих коллег-министров — все мое благовещенское настроение улетело, и я сказал такие же банальные и трафаретные слова, как и генерал Бискупский.

На Киевской часто встречали мы партии арестантов. Окруженные конвоем солдат с ружьями, они шли, гремя цепями, по середине улицы. Извозчики

кидались в сторону, прохожие подбегали к ним и подавали милостыню. Лязг их цепей, поспешная походка, серые куртки с желтыми бубновыми тузами на спине — все производило впечатление чего-то отверженного от мира, к чему люди относились со страхом и жалостью. Никакие объяснения не успокаивали волнения, которые они вызывали в душе. Нам говорили, что это злые преступники, каторжные, что их гонят в Сибирь, что тут их нельзя оставить жить — все это нисколько не облегчало душевную ответственность и боль за этих людей. Однажды, выходя на Киевскую, мы были поражены ее видом. Тротуары были заполнены народом, который стоял, чего-то ожидая, глядя в сторону заставы. Вдруг там раздался барабанный бой и показались отряды солдат и за ними что-то высокое, черное. Все насторожились и ожидали приближения этого чего-то неясного. Мы тоже стояли в толпе, и когда солдаты проходили мимо нас, мы увидали высокие черные дроги, на которых стоял или сидел на возвышении, не помню точно, какой-то человек в черном, привязанный к столбу, и над ним доска с надписью. Оказалось, что это был человек, приговоренный к казни, его возили напоказ по городу, ему в наказание, а народу в назидание. Помню, как отец возмущался варварством и дикостью нравов и досадовал, что мы видели это зрелище, устраиваемое на предмет народного воспитания.

В течение всей жизни потом, всякий раз, когда приходилось переживать негодование по поводу проявленных властью репрессий и оскорбительных для общественной совести актов насилия, у меня оно всегда связывалось с лязгом кандалов и с черными дрогами на Киевской. Так государство воспитывает граждан, закладывая в их души с детства неискоренимые впечатления того или иного режима.

Осталось еще в памяти случившееся лично со мною приключение. На нашем втором этаже, на площадке, на которую выходила лестница, с правой руки был чулан — нужник, против лестницы была девичья, а с левой руки наша детская. Чулан был темный, и надо было зажигать в нем свечку. Войдя в чулан, я зажег огарок и стал прилаживать его к клеенчатому мешку, в котором была бумага. Это было занятно, я капал на завернутый край клеенки и, прикрепляя к нему огарок, уронил его в мешок с бумагой. Он был повешен не по моему росту, и я не мог выхватить оттуда огарок. Бумага загорелась, я испугался и, прежде чем кричать, ударился в слезы. Бросился к двери, а она оказалась запертою снаружи. Тогда я стал кричать, но мой крик не скоро услыхали и когда открыли дверь, весь чулан уже был в огне — горели розовые обои. Огонь потушили. Героем был, конечно, Гаврила. Все сбежались ко мне успокаивать и утешать меня, но я долго не мог прийти в себя от испуга и, главное, от обиды, что меня заперла злая Поля. Я чувствовал себя глубоко оскорбленным, что она проделала надо мной такую злую шутку. Сейчас же произвели расследование, мои слова подтвердились. Действительно, проходя из девичьей мимо чулана, она повернула деревянную вертушку, которой держалась закрытой дверь, хотя не могла не знать, что кто-то из детей был внутри, так как дверь была закрыта, а она была привешена так, что без крючка изнутри или запора снаружи всегда была приоткрытой. Полю, конечно, прогнали, но я долго не мог изжить горькое чувство оскорбления и унижения моего достоинства.

Не прошло тульское житье и без торжественных впечатлений — едва помню, но помню бал и свадьбу Софии Михайловны Булыгиной, старшей сестры Пути и Миши. Она вышла замуж за Дмитрия Павловича Евреинова, бывшего впоследствии губернатором, ка-

жется в Курске. Невесту почему-то одевали под венец у нас, и я помню торжественное настроение в доме. Когда собирался свадебный поезд, я смотрел из окна, как невеста садилась в карету и как один за другим отъезжали от крыльца экипажи с нарядными гостями. Что все это означало, я, конечно, не отдавал себе отчета, но белый венчальный наряд, общее движение вокруг невесты, нарядно одетые люди — все это говорило, что событие было большое и радостное, и не зная, что такое свадьба, я узнал, что это важное событие в жизни. Бал остался у меня в памяти мельком. Я видел его только из коридора: как собирались гости, как танцевали, а потом — как на другой день говорили о нем, а мы ели всякие конфеты; но какое он имел значение и что это собственно было, я не понимал.

В последний год тульской жизни мы, брат Сергей и я, весной заболели, и это задержало наш переезд на лето в Поповку. Это было ужасно обидное и неутешное обстоятельство. Рано весной, когда еще не весь снег стаял, мы играли в палисаднике перед окнами кабинета отца, разгребая там талый снег и проводя из-под него ручьи. Солнце пекло, нам было жарко и мы ели снег. Первым заболел брат, вторым я. Нас лечил доктор Смидович — маленький, с рыжими бакенбардами, в длинном сюртуке, отец известного писателя, он поил нас разными сиропами. Мы его не боялись, но относились к нему как к виновнику нашего несчастья. Это он не пускал нас в Поповку. Каждое посещение его кончалось приказом еще и еще лежать в постели, мы смотрели на него как на противного человека, который нас нарочно мучает. Наконец мы выздоровели и поехали в Поповку. Это переселение было окончательным, больше в Тулу не возвращались. Отец оставил свою государственную службу и занялся хозяйством. Почему состоялось такое решение, чем было оно вызвано, не знаю,

но оно определило нашу дальнейшую судьбу, мы стали жить в Поповке не только летом, но и зимою, не выезжая из нее, вплоть до поступления нашего в гимназию. Мне было тогда четыре года, шел пятый. Прожили мы в Поповке безвыездно шесть лет.

Этот период жизни был самым безоблачным. В памяти о нем сохранилось только светлое. Ничего не омрачало его, и все в нем захватывало душу целиком. Вольный ласкающий ветер заносил в нее всякие семена, и на луговине моей жизни всходили они и цвели разными цветами. Был тут и бурьян, стрекучая крапива и репей, но они не заглушали густого посева мягкой муравы. Часто во сне я вижу зеленый луг, сверкающий серебряной росой под подымающимся утром солнцем. Я люблю этот сон — где-то в подсознательной области он связывается со светлым детством. Это моя луговина, природная, самосевная. Люблю я и росистые хлебные поля, но от них остается жнивье, а от луга зеленая отава, она уходит под снег, не прекращая своей жизни, и встречает весеннее воскресение, омытая тающей зимой. Она дышит зараз и прошлой и будущей жизнью. Так связывают прошлое с будущим детские впечатления, скрываясь, как под снег, под события жизни и вновь всплывая из-под них зеленой отавой.

Отцовский план был правильный. Он хотел окрепнуть хозяйственно, пока мы были детьми, с тем чтобы иметь возможность учить и воспитывать нас, когда мы выйдем из детского возраста, что неминуемо было связано с переселением в Москву. План этот потерпел крушение, он не удался, может быть потому, что отец не был достаточно практичен, может быть потому, что общие условия времени для хозяйственных предприятий были неблагоприятны. План заключался в постройке винокуренного завода и подъеме в связи с ним полевой культуры усиленным удобрением при откормке скота

бардой[1] и молочном хозяйстве. Строился завод под руководством немцев, выписанных из Дрездена. Предвидя с отменой крепостного труда затруднения с рабочими руками и особенно с мастерами, отец выписал оттуда трех рабочих через своего брата Димитрия, который в то время жил там для воспитания детей. Один из приехавших, Ранф, утверждал, что он опытный винокур и строил винокуренные заводы, на деле же оказалось, что он не знал винокуренного дела. Другой, Симомон Иванович, был простым плотником. Именем этим его окрестили в Поповке. Из Цимермана его произвели в Симомоны. Он был действительно хорошим плотником, к нему за это относились с уважением и стали величать по отчеству Ивановичем. Вся постройка завода и новые постройки на усадьбе инвентарного сарая и конного двора были сделаны им по немецкому образцу в один кирпич между деревянными стойками с диагональными распорками. Третий немец был пахарем. На всех них надеялись как на инструкторов, которые обучат наших работников немецким приемам. Однако Ранф и пахарь, как никуда не годные, скоро уехали обратно на родину. Остался один Симомон Иванович, он долго жил у нас и, кажется, умер в Поповке. Не помню, когда началась постройка винокуренного завода, кажется, пока мы еще жили в Туле.

Это было время, когда был низкий акциз, и первое время завод давал хороший доход, но затем неожиданно акциз был повышен в видах покровительства большим заводам так, что малые не могли выдержать его и должны были закрыться. В надежде перетерпеть эту нагрузку отец решил отдать завод в аренду кому-нибудь, кто мог бы вложить в дело оборотный капитал, и дождаться облегчения акциза. Но арендатор Фомичев скоро привел завод в полный упадок, его закрыли, а

---

[1] Гуща, остающаяся после перегонки сусла.

потом распродали по частям. Это было большим ударом отцу и всему населению, которое находило при заводе заработки. Он действительно был центром хозяйственной жизни целой округи.

Завод был построен на богатом роднике, дававшем достаточное для него количество воды, в версте от усадьбы, на так называемой "Кобылке". Маленький ручей из родника бежал в Упу, тут же недалеко, пониже впадал в него другой ручей из леса "Поляны", принадлежавшего в то время Делянову, бывшему Министру народного просвещения. Впоследствии лес этот был куплен братом Сергеем у Баташева. При впадении этого ручья в "Кобылку" стояла ракита, вся увешанная крестиками, образками, лентами, а на дне ручья лежали куриные яйца. Вода считалась целебной и называлась "спорой водой". Ходили легенды о разных чудесных исцелениях от нее. "Спорая вода" вообще была таинственным местом. Там мы собирали так называемые чертовы пальцы — остроконечные камни, происхождение которых мы приписывали падению молнии в песок. Там мы почти всегда спугивали диких уток — чирят. В "Полянах" на Вознесение бывали гулянья с качелями и торговлей сластями. Сюда приходили "мясновки", торговки из Мяснова под Тулой, со своими лыковыми кошелями с подсолнухами, пряниками, жамками, стручками. Сбирался на гулянье народ из всех окружных деревень, водили хороводы и ходили на "спорую воду". Мы всегда бывали на этом гулянии — там было всегда веселое настроение.

Между заводом и "спорой водой" были так называемые "сажалки", три пруда, выкопанные Раевской для разведения в них карпов. Вода поступала в них прямо из родника и была поэтому светлая и чистая. Их часто обновляли, спуская застоявшуюся воду и напуская свежую. Во времена Раевской, рассказывали нам, были такие крупные карпы, которые были при-

учены на колокольчик. Когда они собирались на звон в гурт, им кидали корм. Этим воспользовались воры и ночью выловили их. Рассказывали, что карпы были такие крупные, что Иван Степанович Арсеньев, шурин Раевской, ездил на них в воде верхом.

С Кобыльским заводом связано множество воспоминаний. Идти на завод нужно было деревней, и это мы любили, там встречались с бабами и мужиками, которые всегда заговаривали с нами. Останавливались у Филиппа Кошелева, в длинной белой рубахе, с длинной палкой, весь как лунь белый — ему был сто один год. Он сидел на завалинке и грелся на солнце. Он всегда что-нибудь рассказывал нам. Он помнил Екатерину Великую и рассказывал, как их выгоняли в Тулу встречать "матушку". А на самом заводе, по тогдашнему представлению нашему, были все замечательные люди. Я больше всех любил ключника весовщика Василия Кочетова, очень большого роста, светло-русого с голубыми глазами. У него была длинная борода в локонах и розовые щеки. Он казался мне очень похожим на Бога Саваофа в куполе нашей церкви, но гораздо красивее, несмотря на то, что он был весь в муке и в белом фартуке. Действительно, он был замечательно благообразен, породист — яркий тип славянской расы. Несмотря на величавость, он был веселый шутник и с нами очень ласковый.

С такой же бородой, завитой в локоны и кольца, был Сергей плотник, но она была у него черная, и он не был красив. Любили сидеть мы в бондарной, любуясь на ловкую и чистую работу коренастого Константина, как он ловко загонял дно в уторы латков, закладывал замки обручей и гулко набивал их. Бочки так и крутились и прыгали у него под руками. Весело было смотреть, как голыми ногами плясал в заторном чану Логин Шишка, а внизу, в солодовне, аккуратно разгребал граблями мокрую проросшую рожь Федор Логачев. Там очень приятно пахло. За Федором Логачевым была слава первого работника на все руки. Он был умный и ловкий, косил он так, что все собирались смотреть, когда он косил газон перед домом, — это поручалось только ему. Он делал это лучше, чем теперь это делается специальными газонными косилками, у него не было подрядков, газон выходил как стриженный под гребенку. Ему всегда давались ответственные поручения; где нужны были сметливость и исполнительность, там отвечал Федор Логачев. Неотразимое впечатление производил кузнец низкого роста с хриплым густым голосом, с лицом Алексея Степановича Хомякова, портрет которого висел у отца в кабинете. Сходство было такое разительное, что все называли его Хомяковым. Он обращался с раскаленным железом, как будто оно было холодное, и мы подолгу стояли у дверей кузницы, глядя, как под ударами его молота красное железо брызжет искрами.

Интересно было ходить по заводу с винокуром Кондратием "конопатым" — его так звали, потому что у него лицо было сплошь покрыто веснушками. Надсмотрщиком завода от казны был Вл. А. Фортунатов, щеголь и сибарит, у него были особо нарядные туфли, телячьи, с пегой желто-белой шерстью наружу. Он изображал из себя нашего друга, но особых чувств мы к нему не питали, хотя любили, когда он приходил к нам, и мы отправлялись все собирать грибы. Впоследствии мы узнали, что дружба его относилась не к нам, а к нашей гувернантке, о которой скажу ниже.

На заводе откармливали волов, а вокруг воловни была масса отличных шампиньонов, мы их собирали и приносили мама́, которая делала из них очень вкусную сою. Мы принимали участие в этом, снимая с шампиньонов их тонкую кожицу, любуясь их розовыми под-

кладками. Завод вообще привлекал нас своей жизнью. Мы ходили туда почти ежедневно, это была обычная наша прогулка, но и скотный двор привлекал не меньше внимания. Там тоже кипела жизнь, стояли сорок две дойные коровы, которые были в аренде у немца Нозе, у которого был глухонемой сын, тоже наш друг. На скотном дворе был двухэтажный дом, низ каменный был занят кухней и столярной Симомона Ивановича, в верхнем деревянном этаже помещалось сельское училище, которое содержал отец на свой счет. Высокий рябой учитель семинарии И. И. Малинин давал и нам уроки, кажется Закона Божия. Его мы не очень любили, но школьники были все наши друзья. Мы ежедневно с ними играли, устраивали бои, брали крепости, сходились стенка со стенкой, катались с горы на скамейках, бегали по льду и вообще жили с ними на дворе общей жизнью. Среди них были замечательные в наших глазах силачи, герои и ловкачи. Алешка Кондратьев, хромой, а потому косолапый — силач, который отбивался один от нападения целой стенки. Николай Лопухин, у которого были каблуки, подбитые большими гвоздями, и потому он скользил лучше всех по льду. Иван кличкой "Небалуйся", потому что он на всех, кто задевал его, угрюмо говорил всегда одно и то же: "Не балуйся" — кличка эта осталась за ним навсегда и превратилась в его фамилию — Небалуев.

Особенно увлекательно было катание с горы на скамейках. Скамейки эти представляли из себя две доски, связанные четырьмя ножками. Нижняя доска обмазывалась коровьим калом, которое замораживалось и обливалось водой. Лед не держится на дереве, а с обмазанной скамейки его даже не отшибешь. Получалась такая скользкая поверхность, что на снегу скамейки эти катились сами собою, неудержимо, при самом малом уклоне. В саду у нас была выстроена большая снеговая гора, идущая от самого балкона до пруда. На ней бывало по вечерам, особенно при луне, необычайное оживление. На праздниках принимали участие и взрослые — почти вся деревня. Руководителем в катаниях был Гаврила, он сделал большую скамейку, которая называлась "волчихой", на ней усаживались втроем и даже вчетвером. Разбивались на партии, чья возьмет. Две слободы деревни, разделенные нашей усадьбой, называли каждая друг друга "конешными". Состязались обычно два конца, финишем был противоположный берег пруда, там на берегу стоял флаг, кто до него докатывался, тот и считался победителем. Иной раз самая неказистая маленькая скамейка давала победу партии, и владелец ее был герой. "Конешные" одолели — это вызывало напряжение противников, состязание тянулось без конца, победа переходила от одних к другим, и пыл и азарт только разрастались. Было так весело, что нельзя было кончить. Нас никогда нельзя было дозваться домой спать. В этих играх росла дружба с крестьянскими ребятами, которая осталась и на все последующие годы. Да не только в играх, она скреплялась жизнью изо дня в день, да еще праздниками.

Праздник в деревне не то, что в городе, где каждая семья живет отдельной жизнью. В деревне все как-то живет вместе, праздник общий. На Святках мы всем домом устраивали елку. Это бывало большим делом. Украшения делались загодя — цепи из золотой и серебряной бумаги, золоченные сусальным золотом грецкие орехи, самодельные картонажи, привозился из Тулы большой лубочный короб с красными крымскими яблоками, с мятными пряниками, винными ягодами, и заготовлялись подарки. На самые Святки ездили в Колюпановку выбирать елку понаряднее и такую большую, чтобы хватала до потолка — аршин в пять. Наряжали елку мы все, зажигали большие, и когда зажгут

на ней свечи, тогда открывали двери и начиналось общее торжество. Тут бывали: вся семья Отца Терентия Семеновича, все школьники, с родителями, весь двор — заполнялись все комнаты. Всех оделяли подарками и сластями. Елка стояла все Святки, зажигали ее несколько раз. Днем партиями приходили ребята Христа славить и колядовать. Рано утром под окнами малые ребята — сопляки с укутанными от мороза головами в мамкины платки — пели во всю глотку: "Авысеню". Каждый старался выкрикивать как можно громче. Первых стихов я не помню — в них говорилось как три братца без топора, без гвоздя мостили мост, мостовицу.

Авысеня, Авысеня,
Как по этому мосточку,
Авысеня, Авысеня,
Три братца ходили:
Авысеня, Авысеня,
Как и первый братец
Авысеня, Авысеня,
Рождество Христово,
Авысеня, Авысеня,
Другой братец
Авысеня, Авысеня,
Василий Касарецкий,
Авысеня, Авысеня,
Третий братец
Авысеня, Авысеня,
Николай Угодник,
Авысеня, Авысеня,
Дай Вам Боже
Авысеня, Авысеня,
Рожь колосисту,
Авысеня, Авысеня,
Гречиху кистисту,

Авысеня, Авысеня,
Петуха горластого,
Авысеня, Авысеня,
Курицу кудластую,
Авысеня, Авысеня,
Ворону ротастую,
Авысеня, Авысеня,
Сову глазастую.

Оборвав пенье, все скороговоркой хором кричали: "Кто не даст конец пирога, у того корову за рога", — и со смехом утыкали свои замерзшие носы в рукава и ждали подачки. Чуть замешкаются дать им чего-нибудь, они еще громче опять начинали: "Авысеня, Авысеня..."

Пели еще другую:

Как осиновы дрова в печи жарко горят,
В печи жарко горят, перетрескалися.
Как один котел в печи надорвался кипучи,
Как и маленькой махоточке подеялося,
Как и курочка по лавочке
Кудах, кудах, тах.
Кудах, кудах, тах,
У нас не было так,
Никогда наша хозяюшка не гуливала,
А теперя молода через три поля прошла.
Перво поле аржаное,
А другое яровое,
А третье конопи,
Поклевали воробьи.
Уж я старому воробью
Колом ногу першиблю,
Молодому воробью
Шею золотцом оболью.

И с разными детскими угрозами требовали подачки.

В одну из этих зим, не помню в каком году, кажется в 65-м, было удивительное северное сияние, какого я потом никогда еще не видал. Все небо играло. Кругом от земли поднимались столбы всех цветов радуги. Они то вытягивались, вырастали до половины неба, то сокращались, делались низенькими и перескакивали с места на место. Светло было, как днем. Вся деревня и мы ходили по жестокому морозу и бегали во все стороны, любовались величественной, изумительной картиной. Не помню тоже когда, до северного сияния или после него, была у нас летом дивная комета. Она шла над нашим садом с севера на юг, по западному небосклону, шла все лето и становилась все длиннее, захватывая половину всего небосклона, шла низко, хвостом своим лежала на наших елках, на огороде. Каждый вечер все сидели на балконе и долго любовались на нее. Она вызывала тревогу в народе, говорили, что это не к добру — к войне или к голоду. Такой кометы я тоже никогда больше не видал. Впечатления от того и другого небесного явления были столь сильны, что сохранились во мне совершенно отчетливо.

Еще больше Святок любил я светлый праздник Воскресения Христова. Пасха в деревне совсем не то, что в городе. Хороша пасхальная ночь в Москве, но там чарует одна ночь, а в деревне вся неделя. Пасха Красная сливается с красными днями весны. Великий пост у нас постились строго — все 7 недель, а на Страстной после говенья начинались приготовления разговень. Яйца красились сандалом целым большим чугуном, отборные крупные красились особо, в разные цвета: желтые — луком, мраморные — оческами. Куличи и пасхи заготовлялись на христосование со всей деревней. К вечеру в субботу все с ног сбивались, уставали в лоск и часов в десять расходились спать до заутрени.

Большой колокол у нас прекрасный, с малиновым звоном. Я страшно любил наш звон. Колокольня бывала украшена транспарантным щитом, с буквами Х. В., которые просвечивались изнутри фонарями. Когда ударяли к заутрени, зажигали фонари и плошки. Мы выходили все вместе. Звездная ночь. Доносится в тихой ночи через поля и леса колокольный звон из соседних сел — Изволи, Першина, Панского. Несут пасхи, куличи, похрустывает ночной ледок под ногами. Входим в церковь. Яков Большой, как самый высокий мужик, зажигает с лестницы-стремянки свечи на большом паникадиле, висящем под средним куполом. Церковь полна, набита народом. Начинается долгая, торжественная заутреня. По окончании ее идет всенародное христосование со священником и дьячком, которое продолжается около часа. На это время мы уходим домой, а когда заблаговестят к обедне, уже занимается заря. Издалека слышно: токуют тетерева. Обедня кончается около пяти часов, но спать не ложатся. Из церкви весь народ приходит к нам христосоваться и разговляться, тогда и мы разговляемся, и все уходят до полдня отдыхать, а в полдень приходят священник и богоносцы с образами. Целую неделю со всеми идет христосование. Какая бы ни стояла погода, Пасха всегда хороша, но обычно в эту пору стоят красные дни. На деревне целыми днями беспеременно ведут хороводы: “Дунай пой, Дунай, развеселый Дунай”, “Улица широкая, хоровод малешенек, народ веселешенек, заинька беленький, заинька серенький”, “А и по морю, по морю синему”, “Ой у нас под белой, под березой”.

Ой у нас под белой, ой у нас под белой,
Под березою, под березою,
Ой у нас под грушицей, ой у нас под грушицей,
Под зеленою, под зеленою.

Ой у нас под яблонкой, ой у нас под яблонкой
Под кудрявою, под кудрявою.
Ах мой распостылый муж,
Ах мой распостылый муж
Во мертвых лежит, во мертвых лежит.
А и мать с отцом в головах, а и мать
с отцом в головах.
В головах стоят, в головах стоят.
А и брат с сестрой по бокам,
А и брат с сестрой по бокам.
По бокам стоят, по бокам стоят.
Уж и я молода в головах,
Уж и я молода в головах,
В головах стала, в головах стала.
Уж и где ж мать с отцом стоят,
Уж и где мать с отцом стоят,
Там река прошла, там река прошла.
Уж и где брат с сестрой стоят,
Уж и где брат с сестрой стоят,
Там колодези, там колодези.
Уж и где же я молода, уж где я молода.
Там роса пала, там роса пала.
Одная слеза покатилася,
Да и та назад воротилася.
Уж и в терему все хрустали,
Уж и в терему все хрустали
Разуставлены, разуставлены.
Ах мой распостылый муж,
Ах мой распостылый муж
Из мертвых встал целоваться стал.

В кругу хоровода все это изображается в лицах.

Ай по морю, ай по морю,
Ай по морю, морю синему.

Ай по морю, по Хвалынскому.
Плыла лебедь, плыла лебедь,
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со ребятами.
Вдруг откеля ни возьмись,
Вдруг откеля ни возьмись ясен сокол.
Он убил, ушиб лебедушку,
Он и кровь пустил, он и кровь пустил,
Он и кровь пустил по синю по морю,
Он и пух пустил, он и пух пустил,
Он и пух пустил до оболока.

И в первой есть пропуск и во второй конец запамятовал.

Уже давно вызвездило, глубокая ночь мирно легла на землю, а плавные полутонные переливы, не передаваемые никаким инструментом, непереложимые на ноты, льются, не нарушая гармонии тихой звездной ночи, словно они родились вместе с нею. Таковы уж старинные народные песни. Как родники из земли, они выбиваются из самой природы, они с нею действительно одно, единое. Далеко за полночь, "конешные" возвращаются домой мимо нашего дома с самой любимой по напеву песней.

По дороженке колязанька бежит.
А вы той колязаньке Машурочка сидит.
У Машурочки заплаканы глаза
Запретерты рукава,
Знать, на Машеньку победушка пришла.

Всю неделю бабы, девки ходят нарядные, в сарафанах, в плисовых безрукавках, ребятишки в красных рубашках. Они играют на улице в ладышки и рассказывают нам, у кого какая свинчатка и кто сколько вы-

играл. Мы в ладышки не играли, а с ребятами, которые отбивались от улицы, ставили на всех ручьях мельницы, ходили в лес искать на солнечном припеке меж саженок дров первые цветы медуники, баранчика и нашу бледную фиалку, которая пахнет много нежнее знаменитой пармской.

Праздник праздником, но идут уже разговоры о предстоящем выезде в поле. "Хорошо бы Господь дождичка послал, кабы земля не закаленела под весенним припеком". На Фоминой потянутся в поле сохи, тогда еще не было плугов. Пахаря понукивают отвыкших за зиму от пашни лошадей, покрикивая: "вылазь", "бороздой". Земля малина, воздух поет жаворонками, молодые зеленя дышат горячим воздухом, который струится над ними волнами, надуваются почки, начинает пахнуть береза, на огороде заготовляют аккуратные грядки, куры-наседки квохчут, вот-вот зацветет черемуха, пролетели, прокурлыкали журавли, ласточки нижут воздух, весна вступает в свои права — выставляются рамы и утренний чайный стол накрывают уже на балконе.

III

Все наше детство протекло в Поповке в дружественной и благожелательной атмосфере. Отец основательно считал ее основным условием нашего воспитания. Он сам создавал ее своей жизнью, своим отношением к людям. Не помню, чтобы он сердился на кого-либо. Со всеми он был ласков и добр. Ко всем относился с равным вниманием. К нему ходили за советом и за помощью со всех концов. За отсутствием в то время земской медицины он лечил и помогал, как мог, в болезнях. Всегда сенцы за кухней были полны

народом — целыми днями он возился с ним. Он любил заниматься огородом, цветами, любил ботанику, писал и прекрасно зарисовывал карандашом виды и цветы — это у него было от отца. Дедушка наш, Владимир Семенович, мы его не знали, он умер до нас, оставил после себя альбом зарисованных им акварелью цветов. Это была гордость и украшение дома. Цветы были в альбоме как живые, так тонко нарисованы, такими живыми красками, что все любовались ими. Одуванчик был такой, что казалось: он вылетит, если дунуть на него.

Я не помню ни одной ссоры в доме или в усадьбе. Тон у нас был такой, что все боялись отца из уважения к нему, а он относился с равным уважением ко всем, без различия в положении, чувствовалось, что он уважал не положение, а человека. Никогда он никому не приказывал, а всегда всех просил. У него были острые карие глаза, удивительно добрые и проникновенные. Все чувствовали его авторитет, основанный на моральной силе. На похоронах его один старый мужик сказал мне: "Да, вот уж был барин до всех жаланный" — это была верная и полная характеристика. Не только свои близкие, но и не знавшие его близко и даже дворяне, закоренелые крепостники, сторонившиеся от него и называвшие его за либеральные взгляды и вольнодумство вольтерианцем, уважали его и считались с его мнением. Репутация его как человека, стоявшего выше общего уровня, была твердо установленная, незыблемая. Духовной культурой он был далеко впереди своего века. Он был камертоном окружающей его жизни, и мы жили и дышали мягкой, "жаланной" атмосферой. Всю жизнь отец был для меня каким-то внутренним критерием дозволенного и недозволенного, что было можно и чего нельзя. Он был проверочным инструментом, который давал самые точные измерения в духовной и

моральной области. Никто из нас не унаследовал полностью отцовского "жаланства". Больше всех унаследовала его сестра. Душевным складом своим, жизнепониманием, отношением к людям, неограниченным доброжелательством, соединенным с мягкосердием, лаской и приветливостью, а главное, глубоким чувством долга и отсутствием эгоизма, граничившим с полным самозабвением и самопожертвованием, не только она очень напоминает отца, но благодаря жизненной обстановке во многих отношениях она дала более яркую реализацию этих душевных качеств, чем отец.

"Жаланство" ее было общеизвестно. У нас была дурочка Авдотья из Желудевки, которая всю жизнь, как она говорила, бегала. Она не ходила, а все бежала, спешила неизвестно куда и говорила сама с собою. Пришла она к сестре и говорит: "Васяся, вот я к тебе пришла, народ сказывает, ты дур любишь". И действительно, все обиженные судьбой окрестные нищие, дурочки, калеки, слепые и убогие были завсегдатаями сестры. Для всех она что-то припасала, поила их чаем и кормила, когда они приходили к ней. Всегда в прихожей кто нибудь дожидался от нее какой-нибудь самой ничтожной милостыни — хлеба, щепотки чая с сахаром, либо платка на голову, либо просто ласкового, сочувственного слова. Все дело милостыни в том, как давать ее людям. Она умела так давать, что самое ничтожное даяние принималось как великое благодеяние. Была у нас побирушка Хавронья, которая говорила о себе всегда в третьем лице. "Ты, Хавронья, пришла? Да Васяся, чтой-то Хавронья замодничала, занемогла, дай, думаю, пойду погляжу на Васясю". Васяся — это общая наша кличка — заменяла непонятное ваше сиятельство. Мы как-то учили Мишку-свинаря выговаривать это титулование, он никак не мог произнести его и говорил: ваше свинятельство. Так же,

как мой отец, она лечила как могла больных. Когда уже у нас был земский медицинский пункт, больные все-таки приходили к ней. "Был у дохтуров, всех обошел, так что же они: дадут пузырек — пей, говорит, а пользовать нисколько не пользуют". И вот она пользовала душой — начнет объяснять, как надо пить этот пузырек, расхваливать лекарство и убеждать, что оно непременно поможет, обласкает, отведет человеку душу, и он уйдет ободренный, в полном убеждении, что "дохтур" дал только пузырек, а по-настоящему пользовала Васяся.

Атмосфера желанности и дружественных отношений, созданная вокруг нас отцом, была, в сущности, более ценным капиталом, чем денежный, которого ему не удалось дать детям. Она помогла нам в дальнейшей жизненной борьбе, в хозяйственной работе и наставила нас на правильный путь. Деньги повернули бы нас в другую сторону, они не обогатили бы нас ни опытом, который мы приобрели в работе, ни тем жизнепониманием, который она дала нам. Мы чувствовали в работе общее одобрение. Я помню, как однажды старый Николай Карпов, печник из Желудевки, кладя печь, в разговоре со мной сказал: "Уж про молодых князей никто не скажет: хлопотуны. Господа, а во всех делах, в каждый след сами". И не только чувствовали одобрение, а получали содействие советом и делом. Тысячи раз выручали нас, да как выручали, как помогали. Ни от кого в жизни такой выручки потом не видали. С каким доброжелательством. Старая Анисья Никаноровна, пономариха, по прозвищу "капиталистая", потому что все знали, что у ней есть 140 рублей, сколоченные за всю жизнь свою на похоронки, не раз давала взаймы весь свой капитал на выручку в трудную минуту, вытаскивала со дна сундука синий платок, развязывала узел и давала заветные бумажки свои. Бабка, мать

целовальника Афанасия Ивановича, умная старуха, скупая, хозяйственная, тайком от сына давала сотнями, кулак и мироед Иван Журин тоже не отказывал, нажившийся в Москве стекольщик Михаил Городничев давал тысячами.

Брат Сергей начинал хозяйство без всякой подготовки, его обучали хозяйствовать мужики. Ни одного дела не начинал он без совета своих друзей-мужиков. Они не только наставляли его в каждом частном случае, но и давали общее направление и тон всему ходу хозяйственной жизни. И тон был не только миролюбивый, но миротворческий.

Ближайшим другом и советчиком брата Сергея во всех делах был Иван "Рыжий" — Новиков, подрядчик-кирпичник на чекмарный кирпич — тогда другого не знали и выбивали кирпич деревянным молотком особой формы, чекмарем. Он уводил на сторону, на кирпичную работу, иной раз 20 и 30 человек из Поповки. Он был самый влиятельный на селе человек, сохранил о себе самую светлую память. Он был умный и замечательно мягкосердный. Главной заботой его в жизни был мир. На все он смотрел всепрощающе. Всех усовещивал поступать по-божески. Когда он выпивал, а пил он, как настоящий пьяница: в праздник выпивал один четверть водки, — он приходил в такое умильное настроение, что плакал, все всем прощая и говорил: "Бог все видит, все знает, всем прощает. Он, милосердный, все терпит и нам велел". Все поговорки и присловья его были тихомирные. Его самого называли тихомирным. "Вот Яков Парменов, тот во хмелю на руку дерзок, а Иван Иванович что ж что пьян, он на свои выпил, тихомирный человек, он никого не обидит", — говорили, глядя на него, когда он шел пьяный, шатаясь и мирно разговаривая сам с собою, точно продолжая прерванный с кем-то разговор и кого-то уговаривал:

"Ну и пущай сердится, воробей и тот с сердцем. Мало чего бывает, обидят кого, он и держит сердце. А жисть-то его какова, мытарства его какие, святому великомученику впору, живет вроде как при смерти. Ну и не вытерпит, сердцем закинется. Ведь заяц и тот перед смертью кусается. А ты брось — не серчай. Эх, милый, с Богом скрозь хорошо". Это был обычный стиль его языка. Брат Сергей, глубоко внедрившийся в мужицкий мир, прекрасно знавший и понимавший его и владевший его языком, написал своего "Ивана Безкартузного", очень верно изображая в нем Ивана Рыжего. Сочинение это имело успех — его одобрил и Лев Николаевич Толстой. Когда читали его вслух в школе, а я читал его неоднократно в тюрьме арестантам, оно всегда растрогивало слушателей, так близко затрагивало оно их душу родным им миром.

Так меняются времена: отец думал, выписав немцев, учить хозяйству мужиков, а через пятнадцать лет оказалось, что нам самим надо было учиться хозяйству у мужиков, и они оказались не только лучшими учителями по хозяйству, но и наставниками жизни. Они раскрыли нам тайные силы земли, дали реальное знание ее, вселили в нас любовное отношение к пашне, к полям, к лугам, к лесу, к скоту, к навозу не как к материальной ценности, а как к одухотворенной приложением любовного труда. С ними постигли мы цену и значение трудовой жизни, и в простых формах приложения к ней Божеского начала.

Отрицательные явления, воровство, пьянство, драки вызывали иной раз раздражение, но ничуть не затемняли общего фона благонравия. Я помню только пять случаев исторических краж, три до нашего с братом хозяйства, когда мы были еще совсем малыми детьми четырех-восьми лет, и две за время нашего хозяйства, и все они оставили одинаковое впечатление при-

скорбного случая и жалости к совершившим их, не вызвав перемены отношения к ним.

Недалеко от нас была деревня Мазалки, считавшаяся более богатой, чем другие, она считалась лошадной. Мужики были резчики или пильщики, т. е. сводили рощи и занимались извозом, и тот и другой промысел считался особенно добычным. Всей деревней они всегда возили с Поповского винокуренного завода спирт в Тулу. За целость транспорта ценного товара отвечали круговой порукой. Однажды при приемке спирта в Туле была обнаружена утечка. Она показалась подозрительной, и при тщательном осмотре бочек нашли просверленную буравчиком дырочку, замазанную мылом. Один из возчиков, Никита, у него был тонкий пискливый бабий голос, острые черные глаза, и он был, что называется, в артели закоперщиком, умным и предприимчивым. Выяснилось, что это, как говорят у нас, "его дел", он тянул спирт из бочки соломинкой, но сбивало с толку то, что он не был пьян, да и вообще не был пьяницей. Уже не помню, какое это замечательное обстоятельство получило объяснение, но он чистосердечно признался в краже и встал вопрос, как с ним быть. Обстановка была такова, что нельзя было дело оставить без суда и наказания. Отец принял все меры, чтобы наказание было не слишком суровым — ему грозила чуть ли не каторга. Подали в суд, посадили в тюрьму, и когда он вышел из тюрьмы, он пришел к отцу благодарить его: "Грех попутал и не так бы надо было наказать" — и просить принять от него в благодарность курицу. Как сейчас помню его, быстро моргающего, с подвязанной красным платком шеей и с курицей в руках. Отношения сохранились, как будто ничего не случилось.

Вторая кража была прискорбнее, ее совершили близкие свои люди — настоящие друзья. В крепостное время в барщину хлеба у нас молотили с овина, с отменой барщины надо было упростить сложную и дорогую работу, построили сушилку зерновую. Поставили ее для безопасности наотлет от усадебных построек, у пруда. Устроена она была примитивно: весь пол служил подом, на котором расстилалась рожь, по стенкам шли дымовые ходы с отдушинами, из которых валил жар и дым, под полом большая печь, в потолке вытяжная труба. Такая сушка требовала искусства: чтобы хлеб не подгорел и не запарился, надо было постоянно мешать его граблями и знать, когда остановить топку вовремя. Такую ответственную работу можно было поручить только хорошим работникам. Доверили эту сушку как раз тому Федору Логачеву, который работал в солодовне, и Ивану Михайловичу Кочеткову, тоже испытанному работнику и почтенному человеку. Там очень хорошо пахло горячей рожью, остуженная она была очень вкусной, и мы засыпали ее себе в карманы и смотрели, как Иван Михайлович ползал на карачках, разгребая и нащупывая, нет ли где пригара. Он был в белой закопченной рубашке, и мы все дивовались, как это он может не задыхаться в дыму. Засыпка была суточная. Утром засыпали, а через сутки выгребали. При сушилке всегда была лошадь, на которой возили и отвозили рожь и подвозили дрова.

Однажды утром приходит к отцу староста Артем и заявляет: "У нас случилось несчастье — украли из сушилки рожь, и не на кого больше думать, как на самих сушильщиков". Отец не хотел верить. Быть этого не может, чтобы Федор Логачев и Иван Михайлович Кочетков могли сделать такое дело. Скрепя сердце решились сделать у них обыск — и рожь нашли. Они сами рассказали, как ночью насыпали на наши сани в веретья рожь и на нашей же лошади увезли к себе, разделив воз пополам, и вернулись на наш двор, как будто с

работы из сушилки. Отец не гневался, а был в полном отчаянии, как с ними быть — все их любили как почтенных людей и вдруг сажать в тюрьму. С мучительным чувством была признана неизбежность суда. Дело представили в суд с облегчающими вину обстоятельствами, какие только можно было придумать. Оба отсидели несколько месяцев в тюрьме и после отсидки снова были приняты в работники. Федор Логачев не потерял доверия, по-прежнему исполнял самые ответственные поручения, но скоро тяжко заболел и умер, а Иван Михайлович ушел от нас уже старым стариком, не будучи в состоянии больше работать. Он был замечательный севец. Его сев был несравненно ровнее сеялки. Он делал замечательные отвалки из соломы и лыковые кошели, аккуратные и плотные, хоть воду наливай в них.

История третьей кражи оставила впечатление рассказов Фенимора Купера, потому что она была окружена легендами и участвующие в ней лица все были чужие, не известные нам люди. О них и рассказывать-то нужно сказкой.

Жил-был в соседнем селе Изволи мужик по прозванию Володин. Он был знаменитый конокрад, наводивший панику на весь уезд своей необыкновенной смелостью и дерзостью. Приезжал открыто верхом на лошади в деревню, всегда в красной рубашке, вперед заявлял, какую лошадь уведет, и уводил. Его подстерегали, ловили облавами и не могли поймать. Полиция была бессильна проследить, где он скрывался и куда сбывал лошадей. Дерзость его все росла, и он стал живой легендой, про него рассказывали самые невероятные вещи, наше воображение было полностью захвачено им. Мы вооружались, прятались под липой около балкона, выжидали его нападения, защищались и нападали на него. Володин не мог действовать без пособ-

ников — это было ясно, и всех "отчаянной жисти" подозревали в пособничестве ему. В Поповке такой "отчаянной жисти" был Яков Яковлевич Парменов, большой черный мужик, пьяница, гуляка и буян.

Однажды мы были в "том саду" — так назывался сад по другую сторону пруда — и услыхали шум и крики за Алешиной рощей. Это была небольшая березовая роща, посаженная отцом в год рождения брата Алексея. Мы побежали туда и увидели через плетень, что по дороге запыхавшись бегут мужики и бабы, кто с вилами, кто с палками. На вопросы, что случилось, стали сбивчиво говорить, что ловят "Яшку Большого, да нешто его поймаешь, он с Володиным заодно". Володин же неуловим, потому что он слово знает — это было всеобщее твердое убеждение.

Оказалось, что долго не появлявшийся в наших краях Володин вновь появился, что его видели где-то в поле верхом, в красной рубашке, разговаривавшего с Яковом Парменовым, и терроризированные его дерзостью ждали непременно какой-нибудь беды. Лошадей в ночном путали железными путами с замками, хотя и были уверены, что никакие замки не спасут. Все были в напряженном состоянии, наряжали усиленную ночную сторожу и вдруг, как-то в неурочное время, после полдня пригнали с поля наш табун лошадей, и растерянные конюха рассказывают, что только что сейчас в самый полдень к нашему табуну подъехал Володин, отобрал четырех лошадей и увел их у них на глазах. Наглость и смелость были действительно ошарашивающие. Конюха оторопели, и никто и не подумал обвинить их за это. На другой день двух лошадей нашли привязанными в лесу в овраге, а две так и пропали. Событие это взволновало всю округу. Отец написал письма исправнику, становому, но полиция так ничего и не смогла сделать. Толков было без конца, указыва-

ли, что Яшка Большой давно полегоньку балует, а сейчас явно спознался с Володиным, что через него шла передача краденых лошадей куда-то в Одоевский уезд, что он пропадал куда-то как раз те дни, когда были уведены лошади. Но никаких прямых улик не было, Володин опять куда-то исчез, и все успокоились.

Осенью, уже под самую зиму видим мы как-то, что с обеих слобод наших идут мимо церкви гурьбой мужики и бабы, громко кричат, спешат, перегоняя друг друга. Куда? Что случилось? "Володина поймали в Изволи, сидит в волостной связанный, скрученный — теперь не выпустить бы, бежим глянуть на него". Оказалось, что Володин попался в засаду. В Изволи жила его жена. В темную ночь он пробрался к ней, она напоила его пьяным, с ней заранее был на то сговор, избу окружили мужики с веревками и когда он, учуяв беду, выскочил на задворки, его опутали веревками и связали. Это было большое событие на весь уезд. Когда Володина вели в Алексин сажать в хоромы, что с двадцатью четырьмя трубами, т. е. в тюрьму, его провожали любопытные целыми толпами. Он пошел на каторгу, вся наша округа успокоилась, но в наших душах и головах Володин оставил неизгладимое впечатление разбойника и героя, большее, пожалуй, чем впоследствии все герои Фенимора Купера и Майн Рида. Не меньшее впечатление осталось и от всеобщего возмущения и дружной самозащиты населения от посягательства на его мирное житие.

В явное доказательство того, что Яшка Большой был причастен к делам Володина, приводился тот факт, что после поимки Володина он совсем притих и занялся усердно своим природным мастерством, он был тележник, вязал тележные ящики так крепко, что служили они два века. В действительности он был не только природным тележником, но и природным вором и во-

ровал до конца жизни, но володинская история его осадила, и он воровал по мелочам, таскал дубочки на вязки из нашего леса, раз оказались у него тележные колеса с нашего двора, нашли как-то у него старое железо, вытасканное из першинского барского двора, за это он отсидел в тюрьме, но все это, при его славе вора, никого не поражало и проходило как-то незаметно. Он был умный и очень речистый, говорил притчами, пересыпал свою речь пословицами и кончал поучением. Его всегда внимательно слушали, когда он говорил свои не то сказки, не то притчи, выходило смешно, и смеялись. Но когда он кричал на сходке, а кричал он громче всех — никто не принимал его слов, как бы умно и кстати они не были сказаны. "Потому, какой он хозяин — вор, вор и есть".

Вторые две исторические кражи, случившиеся во время нашего с братом хозяйства, были иного характера, они не причинили нам особенной душевной боли, потому что были совершены не своими, а чужими людьми. Упоминая о них, я забегаю вперед, но они стоят рядом с кражами, оставившими впечатление с детства, входят в одну общую картину, их нельзя снять с нее.

За недостатком местных рабочих, пользуясь старыми связями по Сокольей слободе с Мглинским уездом, брат выписывал оттуда партии рабочих хохлов. Это были все хорошие ребята, некоторые из них были прекрасные люди, достигшие полного доверия и долго жившие у нас. Один из них, Василий, долго был даже старостой, другой, Купрей ключником. Двое из них женились в Поповке, что называется вошли в дома и стали поповскими сельчанами. В первой из этих партий один хохол, Савелий, был прямо богатырь громадного роста и силы непомерной, весьма добродушный и песенник.

Брат в то время увлекался свиноводством, откармливал свиней. Это была отрасль хозяйства, дававшая хорошие деньги. Откормка была долгая — сперва кормили вареным картофелем, а когда свиньи "заедались" им, переходили на ржаную муку, сперва давали худшего сорта и постепенно, по мере того как они заедались одним кормом, переходили все на лучший. Ржаное тесто было в корытах без выгреба. Свиней было на откормке много, штук до 40 одновременно. Муки требовалось много, мука в деревне дороже денег, это мужицкая валюта, которой измеряются все остальные ценности. Естественно, что такая откормка требовала бдительного присмотра. Мы с братом по нескольку раз в ночь навещали свинарню, осматривая, все ли в порядке, есть ли в кормушках тесто, как свиньи лежат, будили их, чтобы они ели, и не уходили, пока они не похватают теста и снова лягут. Вообще дело это не спускали с глаз.

Надо сказать, что вообще мы почти не выходили со скотного двора, где сосредотачивались все работы, откуда шли все распоряжения и наряды на работы, — здесь же был и конный двор, и упряжная снасть, и весь хозяйственный инвентарь, и рабочая. Брат всегда присутствовал за завтраком, обедом и ужином рабочих, наблюдая за тем, чтобы хлеба, харча и масла было достаточно и чтобы все было в порядке. Обеденный стол рабочих — это самый чувствительный барометр хозяйства: тут высказываются мнения и о самой работе, о всем, что происходит в поле, в лесу, на дворе, вскрываются внутренние отношения между рабочими, обсуждаются качества лошадей, инвентаря, передаются вести о том, что делается на деревне, у соседей, и т. д. Вообще это своего рода деловой клуб. Только в тесной связи с рабочими, стоя рядом с ними, можно знать, как идет работа и что надо сделать для ее улучшения.

Мы, а особенно брат, были в самом тесном общении с рабочими, мы знали все, что делается, до мельчайших подробностей, и знали каждую работу, каждое орудие, соху, телегу, борону, сани, косу, грабли до последнего ничтожного инструмента в совершенстве и могли по этому судить о работе и спрашивать ее с людей не в общей обидной форме, как это делают обычно хозяева, стоящие далеко от дела, чтобы было все хорошо и больше сработано просто по приказу без достаточного основания, а так по хозяйской воле, — это всегда вызывает только раздражение. Мы спрашивали по знанию и не ругали зря за плохую работу, а разбирались, в чем дело, и могли научить, как какое дело надо делать. Поэтому требовательность наша не раздражала, а внушала уважение.

Как-то раз в Ясной Поляне Лев Николаевич Толстой, который увлекался изучением крестьянского быта и детальными знаниями крестьянской жизни, смеючись, стал экзаменовать меня, спрашивая, как называются составные части сохи, телеги, саней, косы, грабель. Поповка от Ясной всего только 35 верст, местность одна, названия общие, и вот оказалось, что он не знал, что коса прикрепляется к косью кольцом, заклиненным прикоском, что в косе называется жалом, что пяткой, что обухом, что грабли имеют грабильню и колодку с зубцами, а палка, которая в руке, называется держалиной, что в санях на копылья набиваются наклепки, а загнутая передовая часть саней называется головашками. Ему это было очень неприятно, и он замял свой экзамен, а я был, конечно, страшно горд. Узнать все эти мелочи можно, конечно, только в работе. Только налаживая косу самому себе, по своей руке, можно узнать, какую ценную часть в ней составляет простой клинушек, который называется прикоском. Глядя со стороны, и в голову не придет спросить, как называется

простой клин в таком простом инструменте. А на самом деле всякий самый простой инструмент, чтобы им как следует работать, требует опытного знания. Как музыкальный инструмент требует настройки, так рабочий требует наладки, и как скрипку, сколько ни изучай, не узнаешь, пока не заиграешь, так и инструмент. С неналаженной косой человек мучается, с налаженной играет — и так в каждом мастерстве, в каждой работе и в каждом деле, начиная с малого и до большого.

Так вот, в рабочей брат заметил, что Савелий что-то угрюм, сам не свой ходит. Сказал об этом мне. Я Савелия любил не только за силу — полкуля соли, шесть пудов, он вскидывал на спину и относил в кладовую по лестнице наверх, точно пуховую подушку, — я любил его за песни. Ночью, бывало, когда пойдешь с фонарем на скотный двор, услышишь, он сидит в рабочей, поет — потушишь фонарь, станешь под окном и слушаешь. Савелий сидит один за столом, подковыривает лапоть и поет. Голос у него был прекрасный, пел он всегда с чувством за сердце хватающие заунывные песни:

Что не тошно ль тебе реченька, что не
тошно ль тебе быстрая,
Со ледочками расставаючись, круты бережки
подмываючи?
Что не тошно ли тебе батюшка, что не
тошно ли тебе матушка,
С своим детищем расставаючись, своего
детища провожаючи?
Провожаючи его в службу, в службу царскую,
государскую?
Что й трудна служба царская, служба
царская, государская?
Что й труднее ей в свете нетути.

Государь ты мой, родной батюшка,
государыня ты моя, матушка,
Расточайте вы свое имение, выручайте меня
из неволюшки.

Всего стихов 10 или 12, я конца ее не помню, а поется хоть час времени, хоть больше, зависит от растяжки. Помню мотив ее и знаю петь, как Савелий пел. Помню и знаю петь почти все наши старинные песни, какие певали у нас в Поповке. Мы стали наблюдать за Савелием и убедились, что действительно он в каком-то беспокойстве. Ночью была метель, брат пошел на скотный двор, фонарь не зажег, вышел на крыльцо: слышит, у паперти церковной разговаривают. Стал прислушиваться, замолкли, пошел не на скотный двор, а в обратную сторону, обогнул левый флигель и пошел на скотный по дороге мимо церкви — вдруг видит, навстречу ему идет человек, и сразу по походке признал Савелия, несет что-то. Он остановился за углом паперти, а с другого угла ее выходит навстречу Савелию Лаврентий Глаголев — тележник, остановились и говорят, а что, не разберешь на ветру. Брат вышел из-за угла и подходит к ним, а они, как увидали его, — оба на колени. Савелий принес мешок муки, а Лаврентий только собрался взвалить его себе на плечо, а тут как из земли вырос перед ними “сам”. Они от изумления и страха и упали на колени. Отнесли мешок в рабочую и рассказали, как задумали дело. Мешок был несколько дней уже спрятан в свинарне, стоял как очередной на корм, и никак не могли выбрать время и уличить час, когда унести, ходили вокруг и мучались. Как поднялась метель, решили унести — все-таки народу меньше ходит, а тут Господь Бог и нанес на “самого”.

Наутро Савелий без конца ходил взад и вперед из рабочей в дом, все просил прощенья. В суд мы не по-

давали, но обоих брат рассчитал. Савелий горько плакал, и странно было видеть, как у этого богатыря легко катились из глаз горючие слезы. Лаврентий чувствовал за собою меньше вины — не он украл, он только хотел принять краденое. Савелий уехал на родину, а Лаврентий через год опять поступил к нам на свою работу.

Однородного характера была и вторая кража. В следующей партии хохлов прибыл мальчик, круглый сирота Федор Прошенков, лет пятнадцати. Он предназначался в подпаски. Мальчик был замечательно привлекательный, писаный красавец, стройный и сильный. Его поставили в ряд с прочими рабочими, и он развернулся в здоровенного, ловкого парня на все руки. За его ухватку с лошадьми и красоту его поставили в кучера в конюшню. Для рабочего это была карьера. На конюшне была легче работа и пофорсить можно. Он хорошо ухаживал лошадей и хорошо ездил. Скоро он женился на Апроське Логачевой, последней дочери Федора.

Федор оставил после своей смерти четырех детей — все девки. Вдова его, Арина, жестоко бедствовала и билась с ними без мужика, хозяйствовала, убирала с девками землю и проплакала все глаза с ними, но все-таки выполнила свое "Божеское наказание": всех выдала замуж, определила в люди. Апроська засиделась в девках дольше всех, потому что дом впал в полную нищету — на дворе ничего уже не было: ни лошади, ни коровы; мать работать уже не была в силах, и землю отдавали в люди. Кормила ее Апроська. Она не пропускала дня, ходила на поденку — тем и жили. "Кто же ее замуж возьмет,— говорила Арина,— из бедного дома никто не охотится взять, да к тому же с личика она не красива и глазками не справедлива". Она действительно была раскосая глазами, но зато она была замечательная работница — вся в отца, ухватистая, боротистая, первая на всех работах. Она работала, как мужик, наравне с копачами окапывала до 40 яблонь в день. Федор Прошенков, у которого на родине ничего не было, сообразил, что если он женится на ней и войдет в дом, то ему достанется земля Логачева и он сразу заделается хозяином, и женился, вошел в дом, но тут-то и случился с ним грех.

Я в то время хозяйничал уже один, брат ушел на сторону. Вел я хозяйство без всяких изменений. Были у меня, конечно, свои методы и приемы, но общее отношение к работе было то же. Вставал до солнца и во всех делах был сам. Весной, когда сошел снег, стали подправлять лошадей к полевой работе. На конном дворе делали посыпку — мочили сено и посыпали его мукою, лошади хорошо поправляются с этого корма, а на конюшенных прибавлялась овсяная дача. Конюшенные лошади тоже весной шли в поле, на более трудную работу — под сеялку и под возку мешков с семенами. Подготовка к выезду в поле требовала большого внимания, ремонтировалась сбруя, инвентарь, а главное, надо было хорошенько заправить лошадей. Весело бывало наблюдать, как они линяли, скидывали зимнюю шерсть и становились гладкими. Опытный глаз узнает по лошади, как она ест, мало того, на каком она корму, овсяная она или на посыпке. Иная с подножного корма выглядит лучше овсяной, но сейчас же видно по ней, что она овса не видала. И которая овсяная, видно, как она кормлена.

Изо дня в день, осматривая лошадей, я заметил, что конюшенные лошади медленно скидывают зимнюю шерсть. Стал захаживать чаще в конюшню и сам подсыпал в кормушки овес. Овес отпускался из амбара каждый день с веса. Но всегда в ящике, куда ссыпался в конюшне овес, оставалось немного в запас. Захожу как-то раз за разом — то в ящике был овес, а то в нем

ничего нет, и лошади не могли успеть поесть его. Мне стало подозрительно, утром как-то, еще до солнца, выхожу в калитку из сада, как раз против конюшенной двери, и вижу: Федька стоит на пороге и оглядывается на стороны. Я остановился у каменного столба на секунду и вижу: Федька вытаскивает из конюшни мешок овса, кинул его в телегу и покрыл сеном. Подхожу я к телеге, здороваюсь и, скинув с мешка сено, спрашиваю: "Это куда же?" Он так оторопел, что сейчас же во всем признался, но стал клясться, что это в первый раз. Уже по одному этому ясно было, что это не в первый раз. Пришлось, конечно, расстаться с ним, в суд подавать не стал, уже по установившейся традиции.

Федька нанялся в кучера в Першино к великому князю Николаю Николаевичу и стал там любимцем за отчаянную езду. На великолепной тройке в больших троечных санях он умел доставлять его в Тулу на вокзал за 30 верст в 2 часа. Но отчаянная езда и погубила его. Хотел он как-то проскочить перед поездом, когда сторож не успел опустить шлагбаум, и попал под поезд. Его задавило насмерть.

Все эти исторические в поповской жизни кражи в иной атмосфере, чем та, которую создал отец, и при других отношениях к людям служили бы достаточным основанием, чтобы обобщить их с рядом других мелких случаев кражи, признать, что с таким воровским народом нельзя иметь никакого дела, что мужики вообще, как в этом была убеждена и власть, в особенности центральная, нуждаются прежде всего в палке. Такого мнения держался почти весь так называемый верхний правящий класс, все правое дворянство и все сановничество. Это было, в сущности, естественным. От людей, живших в крепостное право, и поколения, непосредственно принявшего от них традиции приказного строя, нельзя было требовать мгновенного перерождения. Полвека слишком короткий срок, чтобы изжить традиции, нажитые веками. Для всех почти без исключения руководителей внутренней политикой государства царствования Александра III и Николая II русский народ был быдло, податная масса, для управления которой нужна твердая власть на местах и ежовые рукавицы. Да и не без исторического основания первым пунктом своей государственной программы ставили они укрепление сильной центральной власти. Они унаследовали ее от прошлой государственной жизни, задачей которой было сковать громадную Россию.

Мастер своего дела, наш бондарь Константин, на винокуренном заводе знал, докуда набивать железные обручи на бочку. А они не знали, они продолжали набивать их зря. Бочка сбита, а они все гнали свои железные обручи, пока они не лопнули и все лотки не рассыпались. Константин знал свое дело, любил ладно сбитую бочку; они не знали и не любили России.

Все верхи были пропитаны идеей сильной власти. Сначала их укрепило в ней освобождение крестьян от крепостной зависимости. Без помещиков, которые крепко держали в своих руках вожжи на местах, можно было ждать вольницы и распущенности "темного народа". Ждали бунтов, но бунтов не было — их было, кажется, два, оба в Пензенской губернии. Но ожидания их оправдывали всяческое усиление власти. Весь чиновный мир считал себя обязанным исполнять эту программу, и он имел для этого в своем распоряжении все, начиная с ежовых рукавиц, вплоть до огнестрельного оружия. А впоследствии, вступив в борьбу с либеральными веяниями, уничтожая бациллу свободы, власть становилась все злее и все сильнее слепла. От страха она потеряла всякую дальнозоркость и вся ушла в заботы о личном положении — все диктовалось чувством самосохранения.

Губернаторы, губернские и уездные предводители дворянства, исправники, становые, все губернское и уездное начальство, а с ними и поместное дворянство жили и мыслили по образу и подобию центральной власти, прислушиваясь к камертону из Питера. Богатое дворянство чувствовало, что налаженное в этом тоне управление достаточно обеспечивало их интересы, и уезжали на "теплые воды" отдохнуть в европейском комфорте от пережитых волнений и набраться там чужого ума-разума. Там культура, а дома дичь. Никто и не замечал, как на таком пути они отрываются от народной жизни. Да никому и в голову не приходило, что она есть. Есть имение, которое дает доходы, есть народ, который платит подати, о чем же заботиться, о чем тревожиться — "там во глубине России, там вековая тишина". Передовые люди, поэты, художники, общественные деятели проникали в эту вековую тишину, вскрывали ее жизнь и задачи в ней перед государственной властью, но это вызывало в ней только раздражение. Народничество, народолюбцы были опасные люди, они перебивали приказный камертон.

Между тем народная масса, освобожденная от крепостной зависимости, жила своею жизнью, не по приказу, а по собственному разуму и по собственной совести. Приказное начало подтянулось в центры и тем самым отдалилось, помещики уже не изображали власть, но и не сливались с народом. Не начальство и не свой — помещик для мужика стал чужой. Мужик видел, что земля, что называется, "не в руках". "Нешто он может, какой он хозяин, приказчики да управляющие, дай срок, все разволокут". Каждый мужик был в душе глубоко уверен, что рано или поздно, так или иначе, помещичья земля перейдет к нему. Он глядел на барскую усадьбу как на занозу в своем теле. "Мужик — этот крепко в землю вращен, земля ему и мать и отец, а барин земле

не сроден. Кому что определено — поп крестом, цыган кнутом, мужик горбом, а барин языком". Это чувство живет в мужике, как инстинкт, со времен Микулы Селяниновича и поддержано в нем барством крепостного права, с одной стороны, и законом о наделе землей, который обещал ему дополнительные нарезки к наделам. Обещать обещали, а сделать не сделали, остались в долгу. На начальство и чиновничество мужик смотрел как на что-то неминуемое, "безпременное", от чего нигде нет спасения. "Он тебе не только в хату, в душу лезет, а к нему пойдешь за делом каким, которое от него в зависии, — не принимает; для них и аблакаты заведены. Этому на свечку, а тому овечку — ну достукаешься, а дело твое все равно неправое. У них вся Расея бумагами связана и концов не найдешь".

Начальство не управляло, а допекало и стало ненавистным. Да и не могло оно управлять, не зная жизни. Питер — центр власти — имел представление о ней только по высочайшим докладам, губернским и ведомственным донесениям. Администрация и полиция, да ведомство юстиции — от окружных судов до волостных — это единственные каналы, которые связывали его с нею. Неоднократно читал я эти высочайшие доклады и ведомственные донесения; как далеки они были от истинной жизни. Главное место в них занимали события, в которых составители их отличались по службе, выполняя программу укрепления власти и изображения криминальной жизни по статистическим сведениям ревизий. Они судили о жизни, как если бы мы с братом в Поповке судили о жизни в ней по пяти кражам, как будто иной жизни и не было — только одна кража. Они не имели ни малейшего представления о том, что в волостных судах отражается ничтожная доля жизни деревни, что она почти целиком шла помимо них. По их представлению, волостной суд как перво-

источник давал особо ценный материал для суждения о жизни народа, а волостное правление как первая ступень все вяжущей и разрешающей власти было в их глазах центром ее. Они не подозревали, что она течет в другом русле и направляется мудростью, источник которой таился в глубинах, им неведомых и недоступных. Они не подозревали, что Иван Рыжий, который хотел, чтобы все было "по-Божески", был в ней сильнее и влиятельнее всякой власти.

Я всегда чувствовал пропасть между этими двумя мирами и с ужасом видел, что она не суживается, а расширяется. Все попытки перекинуть мост через эту пропасть или приблизить друг к другу эти миры кончались крушением и жертвами. Сколько погибло в этих попытках нашей интеллигенции, лучших людей. Пусть они ошибались, подходили к делу не так, но они болели, страдали. Они не подошли к народу, потому что только ходили в народ, а не жили с ним общею жизнью. А власть? Разве она болела? Если б болела, она воспользовалась бы этими силами, нашла бы для них работу. Нет, они были для нее только враждебны.

Дело стояло безнадежно, и ясно было, что рано или поздно оно кончится провалом старого, отживающего мира приказной власти, не желающей и не умеющей приспособиться к требованиям нового нарастающего мира. Власть не признавала его по эгоизму — не хотела слышать, не хотела видеть его. "Уши золотом нашим залила, глаза сором нашим засорила",— метко и кратко, как только умеют мужики, определял мне положение дела мой друг из старшин Епифанского уезда.

Мужики — те чувствовали и понимали раздвоенность двух миров, понимали и трагизм этого. И я, когда служил в Присутствиях по крестьянским делам в уездах Епифанском и Московском, а потом в Тульском губернском, определенно чувствовал этот трагизм. "Присутствия" эти

не только не присутствовали, а постоянно отсутствовали в народной жизни. Я постарался внести в свою службу свои деревенские навыки работы. Зная вдоль и поперек Епифанский уезд, был в тесной дружбе с многими волостными старшинами и сельскими старостами и с отдельными крестьянами. Было несколько старшин в уезде, поистине мудрых администраторов и тонких психологов, понимавших вещи шире и глубже губернаторов и министров. Они прекрасно отдавали себе отчет, как власть мало знает жизнь и, стоя далеко от нее, попадала своими приказами не туда, куда следует. Тонко и умно они всегда, сколько могли, исправляли ошибки власти, приспособляли ее распоряжения к жизни так, чтобы из глупости вышло дело, претворяли безнадежное и вредное в живое, реальное и полезное.

И думалось: что было бы, если бы не было этой народной мудрости, если бы действительно вся жизнь вытекала из распоряжений далеких, не видимых никогда хозяев с заграничных "теплых вод" или холодных, "столь же далеких", питерских. К счастью, она брала начало из своих собственных самородных родников. Народ, взятый под огул, как разбойники и воры, достойные палки, был в существе своем прекрасный, умный, честный, с глубокой душой, с просторным кругозором и громадными способностями.

Да и все эти воры Никиты, Логачевы, Кочетковы, Савелии и Прошенковы — чем они хуже нас, выше их стоящих? В какой жизненной обстановке происходили эти кражи? Во дворе у нас все было открыто настежь, народу — поденных и рабочих всегда пропасть. Все в их руках, кругом, в нашем дворе, все соблазнительно — веревки, деготь, сбруя, всякий инструмент, гвозди, подоски [1] — все вещи их крестьянского обихода и

[1] Железные полосы, врезанные под ось для уменьшения трения.

хозяйства. Можно ли представить себе, чтобы в такой же обстановке, при таких же условиях у французского или немецкого фермера не было бы краж? Узнал я впоследствии их пресловутые хваленые нравы. Сидит фермер в одиночку на своей ферме, кругом огороженной, под запорами и замками, и преблагополучно у него крадут, хотя и доступа в его ферму никому нет.

Помню с детства рассказы о том, как за границей все дороги обсажены фруктовыми деревьями, и никто не подумает портить их или сорвать с них плоды, а у нас, мол, ничего посадить нельзя, сейчас поломают. А я уже в 20 веке, под революцию, посадил собственноручно 50 десятин яблонного сада на запольных землях, вдали от усадьбы — никаких сторожей не было и ни одной яблони у меня не тронули. За границей охранительные законы специально для фруктовых деревьев, а у нас никаких. Только что все видели, как я от солнца и до солнца работал сам над садом, и уважали, что это не барская затея, не блажь, а дело. А по существу самого поступка, чем эти кражи были хуже наших детских краж, когда и мы не устаивали перед соблазном.

У бабушки Софии Николаевны, "Баба́ Софи́", всегда были запасы чернослива, миндаля, винных ягод, изюма, которыми она нас баловала. Запасы эти хранились в шкапчике под образницей. Застали мы как-то шкапчик открытым и взяли оттуда чернослива и миндаля. Нас потом мучила совесть, много мы плакали, но все-таки взяли. А в том саду были оранжереи с персиками и сливами такими, каких потом я никогда не ел, — замечательно-крупными и вкусными, и грунтовой сарай с шпанскими черными и белыми крупными вишнями. Нам поручали приносить оттуда фрукты, но не позволяли там есть их, давали дома. Мы никогда, ни разу не нарушили запрета. Помню, как однажды мы

собирали вишни, принесли домой корзины и хвалились, что ни одной вишенки не съели, и действительно не съели. Их рассыпали на блюда и поставили в нижний ящик комода в проходной комнате, и тут случился грех — не утерпели, выдвинули ящик и поели часть белых вишен. Совесть замучила, признались и плакали, как плакал Савелий. При разнице в обстановке и в положении не тот же ли наш грех, что грех Савелия и Никиты, однако мы не воры, а они?

Воспоминаний детства от пьянства и связанных с ним драк у меня почти нет. Эта сторона деревенской жизни до нас, детей, не доходила. Я узнал ее гораздо позднее, когда захозяйничал; однако и без деревни оказалось достаточно материала, чтобы составилось понятие о том, что такое пьянство и как на то смотрят окружающие. В Туле у нас жил немец Федор Богданович, маленького роста невзрачный старичок. Мы его почти никогда не видели. Он жил раньше в семье дяди Владимира, старшего брата отца. Когда он умер, Федора Богдановича удалили, и он явился к отцу прося помощи. Отец дал ему приют как беспомощному и несчастному. Наверху пустовала одна комната, в ней он и поселился. Он клеил картонные цветные коробочки — больше ничего не умел делать и пьянствовал. Пропадая целыми днями, являлся домой пьяный, высыпался и опять пропадал. Помню, как Баба́ Софи́ стоит у лестницы, смотрит в лорнет, как он еле-еле ползет наверх, и кричит на него: "Иди, иди, не останавливайся", не давая ему застрять на лестнице. Он скоро исчез, не оставив о себе никакой памяти, дав только нам первое живое представление о том, что значит пьяный. Дополнила это представление еще в Поповке "Черная галка", так звали старуху, которая приходила к дому и плясала и пела: "Черная галка, ясная полянка". Еще пела:

Ах ты, зимушка-зима,
Все дороги замела,
Все дорожки — все пути,
Нельзя к милому пройти.

Всегда спешили подать ей милостыню и спровадить скорее со двора, говоря: "Совсем пьяная". Мы ее боялись, она была страшная, с растрепанными седыми волосами и имела растерзанный вид, плясала на снегу чуть не босая. Потом говорили, что она пьяная замерзла в поле.

Полный предметный урок о пьянстве дала нам церковная слободка. О ней всегда шли в доме разговоры. Пили на ней все: отец Терентий Семенович Глаголев, отец дьякон и дьячок, особенно зашибал отец дьякон. Он всегда ссорился со священником, главная ссора была из-за ульев и серого мерина. Их пасеки стояли рядом, и в роевшину шла ссора из-за роев, а серого мерина отца дьякона обижала попадья, сгоняя его постоянно с выгона от своего дома за то, что у них не было своей лошади, и она, как говорил дьякон, "завидовала" его. Когда они на Пасху ходили с образами по приходу, все допивались до того, что еле притаскивались домой, а батюшка однажды потерял целовальный крест. Тем не менее отца Терентия уважали и любили за его благолепную службу. Он был умный и чувствительный, легко плакал, читал Евангелие замечательно, как нигде потом не довелось слышать. Голос у него был проникновенный, и весь чин в церкви у него был замечательно выдержанный. Когда он напивался, его больше жалели, чем осуждали. Он прослужил в Поповке более 50 лет, получив за полвека службы "Владимира". Под конец жизни пить он бросил, отец дьякон скоро допился до белой горячки и умер в больнице. Первые признаки этой болезни проявились в том, что он прибежал к отцу с жалобой, что отец Терентий хотел его зарезать соленым огурцом. Он не плакал, а рыдал, рассказывая, как это ему обидно. Помню, что отец смеялся и вместе с тем опасался, что дело кончится плохо.

Помню рассказы о пьянстве помещика Шкурки. У него было порядочное имение верстах в десяти от нас, в деревне Пластове. В крепостное время он славился в уезде, как знаменитая Салтычиха, своим зверским отношением к крепостным, сек их нещадно до полусмерти. Поднялось о нем дело по жалобе мужиков, которых он сек перед своим окном крыжовником. Отец был в это время Предводителем дворянства, и произведенное им следствие подтвердило жалобы крестьян. Не помню, чем кончилось дело, но отца обвиняли, что он не замял его. Шкурка пил как лошадь. У него был большой балкон — он ставил в обоих концах его по четверти водки, ходил целый день по балкону из конца в конец, приложится к одной четверти, повернет в другой конец и приложится к другой, и один за день выпивал обе. Он пил так много лет, удивляя своей силой всю деревню и всю округу. Приобрел славу, спился и умер дома.

IV

Детские годы в Поповке пополнялись не только впечатлениями от крестьянской жизни. Были соседи-помещики, были выезды в город, были приезды родственников, были гувернантки, учителя, был свой собственный мир — детская и свои занятия, свои друзья собаки и любимые животные. Жизнь была густо наполнена, и все как-то сливалось в одну общую гармонию. Ближайшими соседями нашими были Домашневы в с. Изволь, всего только три версты от нас. Изволь

было дивное имение на Упе. Оно славилось в уезде, хотя было небольшое — всего 900 десятин, составом своих угодьев. На 100 десятин полевой земли и 200 десятин леса в нем было 100 десятин заливного луга, лучшего по Упе. Упа делала перед Изволью поворот от Тулы с востока на юг. На повороте этом в полую воду задерживался и осаживался мягкий ил. Луга хорошо удобрялись, и на них рожались дивные травы, извольские сена считались лучшими по Упе. Луга эти дозволяли держать много скотины, и при малой запашке все поле под озимое сильно удобрялось, хлеба в Изволи были всегда великолепные.

Хозяйство было простое и легкое, себе оставляли лугов немного, а остальное делили на делянки и продавали. Цены на луга из года в год росли и дошли до 40 и 60 рублей за десятину. Имение считалось кладом. Без трудов, без хлопот давало как проценты с капитала в банке — про него и говорили "лучше всякой банки".

Барская усадьба, большой старый деревянный дом с большим балконом и белыми колоннами стоял на склоне высокого бугра. С балкона был чудный вид на все луга вплоть до Тулы. Видны были церковь Всех Святых и тюрьма. В половодье это было целое море.

Дмитрий Иванович Домашнев был маленький, худенький, сморщенный, как сморчок, такой маленький, что он, чтобы казаться хоть немного повыше, носил такие высокие каблуки, что с трудом ходил. Он почти не выходил из дома, курил трубки с такими чубуками, которые были длиннее его, постоянно звал казачка чистить и набивать их табаком и сидел в кабинете, окруженный борзыми собаками, которые валялись на всех диванах и креслах. Его считали ни во что. Все была его жена Мария Петровна, высокого роста, вдвое больше его, ходила всегда в черном платке, с палкой вроде посоха с костяной ручкой-костылем, говорила густым

басом, держала себя величественно, нюхала табак. Она была уездная и губернская политическая дама, руководила в уезде дворянскими делами и интересами. Отец в насмешку называл ее предводителем дворянства. Она разъезжала в карете четверкой по всем помещикам, интриговала и была главным действующим лицом на дворянских выборах. Хозяйство ее не занимало, Дмитрия Ивановича тоже. После освобождения крестьян он выстроил не то сахарный, не то крахмальный завод, прогорел на нем и, разочаровавшись, все бросил. Детей у них не было, и им было довольно с одних лугов. Все хозяйство вел кучер, любимец Марии Петровны, Терентий, который разъезжая с нею по уезду, сумел полностью завладеть ее доверием. Когда Дмитрий Иванович умер, Мария Петровна стала еще больше ездить и почти не сидела дома. За отсутствием их дома правил хозяйством сын кучера Терентия Устинка. Скоро умер и кучер. Мария Петровна состарилась, боялась ездить без своего любимца и осела в Изволи. Хитрый и ловкий Устинка окончательно окрутил ее. Она все ему доверила, и он чувствовал себя полным хозяином имения и распоряжался как хотел и Марьей Петровной. У него были братья и сестры — все у него были в услужении. За обедом он сидел за столом рядом с Марией Петровной, а младший брат его Ваня подавал кушанья. Мария Петровна шагу ступить без него не могла и почитала Устинку за своего благодетеля, который под старость ее не бросил и ухаживал за ней. Когда она умирала, этот благодетель ухитрился дать ей к подписи духовное завещание, по которому Изволь перешла к нему. У Домашневых были родственники Вадбольские, которые знали, что имение завещалось им; они подняли дело, подали в суд, но формально дело было составлено так чисто, что духовное завещание было утверждено, и заведомый мошенник и преступник Устинка

стал помещиком Устином Терентьевичем Ливенцевым, владельцем Изволи.

Когда Мария Петровна приезжала к нам, отец подтрунивал над ней и до слез заливался смехом, слушая ее рассказ. Она любила рассказывать о своих геройских похождениях и политических успехах. Я перед нею однажды жестоко оконфузился. Мы разучили играть "Красную шапочку". Была устроена сцена, т. е. повешена занавесь и поставлены стулья для зрителей. На репетициях все шло благополучно. Я играл Красную шапочку. Поднятая занавесь должна была застать меня в лесу, я должен был гулять между расставленными питоспорумами и собирать грибы. Занавесь подняли, я увидал публику, сконфузился и расплакался. Мария Петровна поняла, что это и была моя роль и стала громко поощрять естественность моей игры: "Charmant, charmant"[1]. Большей естественности, конечно, нельзя было и требовать. Все бросились утешать меня. Это был единственный за всю мою жизнь выход на сцену. Я, очевидно, не родился актером. Любили мы ездить в Изволь, нас угощали там шоколадом, сливочным и малиновым мороженым.

Совершенно в другом роде была другая соседка наша, помещица села Дурнева Освальд Софья Даниловна, которую мы звали Софиндалиновна, — старушка весьма добрая. Она приезжала к нам всегда пожить на несколько дней, хотя Дурнево от нас было в пяти верстах. Она не переставая вязала чулки. На ней был всегда один и тот же большой шерстяной платок с яркими цветами на каймах. Красное лицо и большой нос с красной бородавкой делали ее похожей на индейского петуха, и мы всегда приставали к ней, чтобы она играла на фортепьянах и пела нам Миноса. Не помню слов этой песни, каждый куплет начинался со слов "Царь Минос заруби себе на носу" и кончался подражанием всяким

[1] Восхитительно — (фр.).

животным, и когда она пела куплет про индейского петуха — подымала рукой сзади свой платок наподобие распущенного хвоста и кричала, как индюк, — мы были в восторге, так она была похожа на индюка.

В Дурневе у нее была усадьба очень уютная, на маленькой реченьке Крушме. Дом был бревенчатый, не штукатуренный и не обшитый тесом, удивительно чистый, в нем пахло сосной. У Софиндалиновны был племянник, уже большой мальчик, который мастерил, столярничал, выпиливал, и мы восхищались его работой и завидовали ему. Софиндалиновна скоро умерла. Один из племянников ее был в Туле адвокатом, он продал Дурнево, и Освальды исчезли с нашего горизонта.

Немного подальше, в селе Панском жил помещик Тихменев. Он после крепостного права ударился в предприятия, затеял в Москве ассенизационный обоз с приспособлением какого-то ассенизационного порошка под названием катарро. Новое тогда для Москвы дело это давало большие надежды. Но скоро Тихменев на нем разорился, ему пришлось распродать свое имение. Остался у него небольшой клочок земли рядом с нашим лесом. Он выстроил на нем себе избу и жил в ней совсем по-мужицки. Земли у него кажется было только 14 десятин и лесок. При нем был хромой сын, который работать не мог. Он кормился охотой, бил волков, лисиц, зайцев и продавал шкурки. У него были только две гончие. Охотился он почти круглый год с Пименом из соседней деревни Плосково, таким же страстным охотником, как и он. Их всегда можно было встретить в округе. Старик Тихменев очень бился до конца жизни и умер в нищете уже в начале 20 века. У них в доме жила кухарка, которая вела все хозяйство, и когда старик умер уже, объявилось, что два сына ее, которые жили при ней, были сыновьями хромого,

они уже были совсем мужики, к ним и перешла земля Тихменева. Так сходило на нет поместное дворянство.

Были у нас по соседству и крупные помещики. В Богучарове — Воронецкие. Старик Воронецкий женился на местной крестьянке. Сам он хозяин был плохой, а жена оказалась умной бабой и крепкой хозяйкой. Старик умер, оставив одного сына. Мать выходила его, как теленка опоечка выпаивают к Пасхе. Он был невероятно толстый, но в люди произвести его не сумела. Еле грамотный, он унаследовал дворянский гонор и когда вырос, стал что называется "доказывать". Скопидомка и крепкая хозяйка, мать сохранила до его совершеннолетия в порядке имение — у ней амбары, бывало, полны хлебом нескольких урожаев, выдерживала хлеб до цены. А вырос сынок, вошел в силу и пошло все к низу. Работать не работал, а завел автомобиль, "пужал лошадей по уезду" — это уже было перед войной. Для поддержания его дворянского достоинства правые гласные провели его в члены уездной управы, и он стал с ними кутить и пьянствовать. Все отрицательные свойства сословия пышно расцвели в нем, это был недоросль и саврас одновременно. Ко времени революции, однако, имение еще было цело — старуха мать убивалась над сыном и стерегла для него имение.

В верстах пятнадцати от нас было имение Лугининых — Алешня, там была когда-то суконная фабрика, от фабрики и следа не осталось, а крестьяне как фабричные земли в надел не получили, жили кто чем, главный промысел был засол грибов и разведение ананасов. Они собирали в Тульской засеке белые грибы, засаливали их и везли в Москву, грибы их славились. Разведение ананасов перешло от фабричных времен. Лугинины приезжали к нам в Поповку, их было много, они были очень нарядные, но скоро вся семья как-то

рассыпалась, и остался один отпрыск, какой-то подслеповатый, убитого вида человек, который появлялся на дворянских собраниях, но никто от него ни одного слова не слышал.

За Изволью, верстах в двенадцати от нас, жил Исаков, владелец прекрасного имения при селе Медведки, с хорошей землей и заливными лугами. Он был одинокий, без семьи и без родства, сильно пил и хозяйством совсем не занимался. Когда-то у него был завод рысистых лошадей. Я помню еще хорошие постройки его усадьбы, но он ничего не поддерживал. Крыши провалились, и скотина и лошади стояли лето и зиму в раскрытых постройках. Еще Мария Петровна Домашнева за его стойкость в дворянских традициях провела его в уездные Алексинские предводители дворянства. Много лет он предводительствовал и был ярким представителем вырождающегося сословия. Это был один из столпов правого тульского дворянства. Имение его дошло до "нету", и он за свои заслуги попал на иждивение дворянской кассы, которая оплачивала его жизнь в знаменитых "Чернышах" — так звали в Туле "Чернышевскую" гостиницу, где собиралась вся "правая", а "левая" останавливалась в "Петербургской" гостинице. И на иждивении дворянства он не унимался пить и был горд, что пил за дворянский счет. В Медведках давно исчезли скотина и лошади, на необычайное содержание которых дивовались все проезжие через полуразрушенные стены построек. Там уже не стало ни кола, ни двора, а он в "Чернышах" держал высоко знамя дворянства, служил опорой Царя и Отечества. Похоронили его за счет дворянства с почетом, провожали до кладбища, губернский предводитель горячо плакал, потеряв в нем истинного соратника и помощника.

Рядом с нами, за церковной землей пролегало имение Фроловых Березовка, премилое красивое местеч-

ко, все в нем было — и заливные луга по реке Крушме, и поле, и лес, но все было миниатюрное, дом маленький, сад маленький, река совсем чуть видная. Хороши были при имении леса. Фролова старика я никогда не видал, у него был хороший конный завод, потомство от которого сохранилось до последних дней. Он не хозяйствовал, но очень берег свое добро.

У него был только один сын, которого он сумел довести до университета и, умирая, оставил ему имение, сбереженное, с невырубленными лесами. Сын вышел в доктора и поступил на земскую службу. Не знаю, долго ли он служил земским врачом, но лет за 10 до войны он был выбран в Алексине в председатели уездной земской управы по смерти несменного Башкирова, которого давно нужно было забаллотировать как негодного, но нельзя было, потому что у Башкировых было 10 братьев и на выборах их невозможно было преодолеть. Они действительно точно держали весь уезд на откупу. Его так и называли тогда — Башкировский.

Фролов был уже новой формации человек со стажем земской службы в качестве так называемого третьего элемента, но вместе с тем он был помещиком и сочетал в себе как-то части двух разных миров, он был очень скромный, культурный, по образу мыслей либеральный, а по складу жизни заскорузлый человек. Любил свою Березовку, хозяйничать не умел и был очень ленив, но жил необыкновенно скромно и бережливо. Был женат на Дубенской, тоже из третьего элемента. Детей у них не было, и они взяли в дом в приемыши маленькую девочку. Крестьяне его любили за тихий и спокойный нрав и за скромную жизнь.

Недалеко от нашего кладбища была его дубовая роща — всего четыре десятины столетних дубов. В ней бывало много белых грибов, и мы всегда ходили собирать их и знали, где, под какими деревами и кустами они больше рожались. Уже под самую войну он при всей своей аккуратности и экономной жизни вынужден был начать продавать свои береженые леса, и дубы эти свели и погнали на ободья. Я вчуже досадовал и удивлялся, как человек мог доберечь их до такого времени и решился продать их на свод, вместо того чтобы самому произвести их в дело. Продавая на свод, конечно, он отдавал купцу в наживу большую половину их стоимости. Я в то время не только сводил сам свои леса, у меня была уже и своя лесопильная машина и стружечный завод, и я покупал на сводку чужие леса. Его лес я купить не мог и убеждал его, ссылаясь на свой опыт, что, сводя лес, сам он выручит по меньшей мере вдвое, но такова уж сила наследственности, беречь умел, а браться за работу ему боязно было, к тому же по природе он был с ленцой и во избежание хлопот и забот отдал добро не за полцены, а много ниже. Купец хвалился потом, что три раза выручил свои деньги.

Не так, так иначе, а уходило из рук дворянских их добро. И всегда по той же причине не работали, не могли преодолеть вековую привычку жить за чужой работой, за чужой счет. Как в сказке, надо было выбирать на роковом распутье: назад нет возврата, пути отрезаны, направо — верная погибель, налево — опасная борьба, но есть исход. Немногие пошли на борьбу — большинство пошли на верную гибель.

Окружающая помещичья жизнь, конечно, давала впечатления мимолетные. Представление о соседях как о типах складывалось постепенно, из года в год, не при взаимных посещениях только, которые все-таки были нечасты, а по накоплении сведений об их жизни. Они жили в отдалении, это не то, что своя жизнь в Поповке, где каждый день видели тех же. Это далекая периферия, а Поповка свой внутренний круг, в который

тесно, концентрическими кругами входили деревня, свое хозяйство, двор, сад, дом, семья, детская.

Первые годы при нас были в Поповке гувернантки, няня Екатерина Александровна Чупрова и немец Федор Иванович, я его почти не помню. Он целые дни ходил под березками от крыльца до правого флигеля и курил свою цигару. Никому здесь не было пути, никто не ходил здесь, а тропинка, которую он протоптал, как утрамбованная долго не зарастала после него — так и называлась Федора Ивановича.

Екатерина Александровна заступила англичанку J. Tarsy, которая в Поповке была очень недолго. Сестра ее жила у Толстых в Ясной Поляне, уехала на родину в Англию и оттуда выписала Jenny. Ни по тульскому, ни по поповскому житью не осталось о ней особых впечатлений. Правда, первый язык мой был английский, по-русски я не говорил, но от него ничего не осталось, кроме нескольких отрывочных стишков от песен, которые она нас учила петь. В Туле помню, как она нас пугала. Накидывала на половую щетку платье и издали, присаживаясь на корточки, подходила, все подымаясь и вырастая со щеткой выше своего роста. В Поповке помню, как на Р. Х. она делала в большой суповой миске плам-пудинг. Туда входила масса всякого вкусного добра, и мы вертелись вокруг этого вкусного приготовления, которое длилось несколько дней. Отъезд ее я не помню, по-видимому сильных чувств мы к ней не питали.

Е. А. Чупрова была первая русская наша няня и учительница. Она была родственница статистика и экономиста профессора А. И. Чупрова, который, кажется, и рекомендовал ее отцу. Она была нам гораздо ближе Tarsy, и о ней у нас сохранилась добрая память. Впоследствии, по окончании гимназии, я ее разыскал в Москве. Она сильно бедствовала с малыми детьми, я выхлопотал для ее сына Коли даровое учение в Поливановской гимназии. Он поступил в приготовительный класс, в пансион Янчина, кончил гимназию первым учеником и потом, уже через 35 лет, он пришел ко мне как директор крупного страхового общества, предлагал свой деловой опыт в работе по Земскому Союзу, я привлек его к участию в деле организации снарядного завода на фабрике Зингера в Подольске.

Екатерина Александровна была молодая и живая, и мы с нею повсюду бегали, по саду, лесам, на завод, в поле. Мы мало сидели дома в комнатах. Как полагается, она была в контрах с немцем Федором Ивановичем. Смутно помню, как на балконе произошел однажды крупный скандал, что-то вроде перебранки между Екатериной Александровной и немцем, немец со своей тропинки подбежал к балкону, а брат Сергей, чем-то задетый, бросился с метелкой на Екатерину Александровну и, кажется, ударил ее. Ударила ли она брата Сергея, не помню, но последовало разбирательство дела родителями и было признано, что брат был прав.

На этой ли почве или на другой, но Федор Иванович исчез, а скоро покинула нас и Екатерина Александровна. Ее место заступил учитель Леонид Алексеевич Браилко, который вел все уроки с нами и подготовлял нас в гимназию. Его мы очень любили и называли Ляенесом, что выходило из Леонсееч и по созвучью было приравнено к кличке нашей любимой собаки, которую звали Ляенес. Это был дивный желтый сеттер, подаренный нам Львом Николаевичем Толстым щенком. Л. Н. пришел к нам однажды в Поповку из Ясной Поляны пешком. Около нас, верстах в восьми, в селе Гремячеве были большие болота, которые славились дупелями. Страстный охотник, Л. Н. пришел туда бить дупелей и оттуда зашел к нам. С ним был умный красавец

золотистый сеттер, от него и обещал нам Л. Н. дать щенка. Щенок вырос и стал очень красивой и умной собакой, но заболел чумой и издох. Это было такое горе, что мы плакали без конца. Позволили похоронить его в саду, под любимой нашей липой, и мы долго ухаживали за могилой Ляенеса.

Все дворовые собаки вообще были ближайшими друзьями нашими и играли немалую роль в нашей жизни. Белогорст, большой дворовый пес, белый с черными пежинами, добродушный и деловой, он славился своей силой, про него говорили, что он сцеплялся с волками и одолевал их. Мы смотрели на него как на бесстрашного героя. Однажды зимою в лунную светлую ночь он вышел на пруд и долго там завывал, мы смотрели на него, спрашивая себя, почему он воет. Гаврила объяснил нам, что он воет, потому что чует волков. Из постели ночью я вскакивал посмотреть на пруд: нет ли там Белогорста и не напали ли на него волки. Белогорста не было, но он выл где-то. Утром сказали, что его загрызли волки, что нашли место, где на него напали они, но его не было, волки его утащили. Бывали года, когда у нас их было очень много. С ними связывалась какая-то таинственность, про них рассказывали, когда видели их, как они живут в лесах в логовищах, как они зимою, голодные и злые, нападают стаями на людей.

Однажды осенью под жнитво вечером я встретил у скотного двора девочку Шубенкину, которая бежала запыхавшись с прошпекта, она сказала мне, что шла из Изволи через лес "Лисички", и что там у самого края леса волки воют, и она от страха бежит, не может остановиться. Сейчас же, никого не спросясь, я пошел по прошпекту к лесу посмотреть их и представлял себе, как буду потом рассказывать, что сам видел волков. "Лисички" начинались сейчас за прошпектом. Прошел прошпект — ничего не слышал, но мне уже стало страшно, однако я пошел дальше и вдруг услыхал протяжный вой сперва одного, а потом нескольких волков. Вой был действительно страшный, зловещий, я набрался страха и побежал домой; меня, конечно, побранили за мое геройство.

Позднее как-то, летом на Кобылке, я ходил по речке и собирал окаменелые ракушки, гляжу: а против меня у самой воды на противоположном берегу лежит громадная собака. Ручей всего в два шага ширины, мы встретились глазами, я понял, что это волк, и вскочил, он тихо встал и пошел медленно прямо к стаду, которое паслось тут же у самого ручья. Овцы шарахнулись все в одну сторону. Пастухи закричали на него, а он тихой поступью, как будто никакого стада и никого не было, пошел прямо посередине его. Скотина бросилась в разные стороны. Он даже не оглянулся на крики пастуха и лай собачонки, которая пряталась за ним, и, разбив стадо пополам, пошел дальше к лесу. Он был величественен в своем спокойствии и страхе, который внушал собою. Тут я понял, что такое волк и почему он страшен, при этом он был вовсе не такой большой, вероятно перволеток, позднее я видел матерых волков на воле, те действительно внушительны своей величиной, особенно зимою на снегу. С ними как-то запанибрата обращался наш лесной сторож в Быльцыне Сергей из Мерлеевки, совсем лесной житель, его и звали "Серый волк". Он подвывал им, и когда они откликались, разговаривал с ними: "Здорово, приятель, о-о-о, ай оголодал, шельма". Он их выслеживал, знал их логовища, их переходы из леса в лес и осенью, когда наезжали охотники с борзыми, получал вознаграждения за точные указания, где делать облаву.

У нас всегда охотился Мосолов, богатый помещик, молодой барин, владетель литейного завода чугунных

горшков в селе Дугне Одоевского уезда. Заранее приезжал его доезжачий Порфирий просить разрешения на охоту, и когда они приезжали и брали поле, я ездил смотреть. "Серый волк" опознал каждого взятого волка как старого знакомого, приговаривая: "Что, попался, приятель, а говорил".

Брат Алексей приезжал как-то из Москвы, он уже был в университете, зимой со своими товарищами Наврозовым и Александровым и устраивал охоту на волков с поросенком. На охоту это было мало похоже, но зато было очень весело. Они нас брали с собою. Тройка серых Сокольничьей слободы, запряженная в большие сани, яркая лунная ночь, быстрая езда — все это было необычайно интересно и весело. Брали с собой поросенка в мешке, давили его и заставляли визжать. Настоящие охотники, конечно, так не охотятся и на тройках за волками не ездят. Мы проезжали узкой дорогой по лесу "Лисички". Нас обсыпало инеем, выезжали на Извольские луга, снег визжит под полозьями, играет, искрится под луною, мороз щиплет — никаких волков нет, да и поросенок не хочет верещать, но зато так хорошо и приятно, что на другой день опять выезжаем на охоту.

Зима в деревне не меньше лета полна наслаждениями. После уроков с Ляенесом мы опрометью кидались на двор. Там или голый лед на пруду, или катание на скамейках, или игры с ребятами, или просто скотный двор — все тянуло туда, а если затевали куда ехать, так урок был прямо невтерпеж. Леонид Алексеевич понимал и чувствовал это. Он сам входил в наше настроение и во всем принимал участие. За это мы его и любили как товарища. Он хотел быть строгим за уроками, а мы дразнили его и, судя по его лицу, говорили: "Барометр опускается или подымается", но он сердиться не умел. Он был очень аккуратный в часах

занятий и во всем, у него был аккуратный круглый почерк, в комнате у него всегда было аккуратно, и только когда мы приводили в беспорядок его вещи на столе и книги, тогда он сердился. Подготовил он нас к гимназии не так хорошо, но приучил к систематическим занятиям, к вниманию и воспитал в сознании важность учения, а самым важным было то, что он сам втянулся в нашу поповскую жизнь и не внес в нее ничего чуждого, налетного со стороны, за что его и ценил папа, который опасался дурных влияний.

Мы очень увлекались в это время курами и индейками, подбирали лучших по носке яиц, собирали яйца, выбирали наседок, сажали их на яйца, выхаживали цыплят, подкладывали яйца в галочьи гнезда, под уток и достигали в куроводстве всяких совершенств, проникая в тайны ухода. Страсть эта шла от рассказов про тульских "казюков" и от Анны Ильиничны, вдовы кучера Миная, которая жила в левом флигеле, где была так называемая людская. Она была единственная из старых дворовых, которая осталась у нас в усадьбе. Все дворовые получили усадьбы без надела полевой земли. Которые из них осели на усадьбах, которые разбрелись по людям, ушли в город, а Анна Ильинична была очень стара и бездетна, ей некуда было идти и осталась у нас. Она была птичницей и еще у ней были кролики. Жила она в задней комнатке за русской печкой и почти не выходила оттуда — была уж очень стара. Она всегда сидела на печке за куделью и спускала оттуда веретено, которое крутилось и плавно опускалось и подымалось у ней в руке. Куры неслись рядом с ней за печкой, тут же она сажала наседок на яйца, вылупляла цыплят из яиц, когда они проклевывали скорлупу, грела их под паклей в чашке или за пазухой, пока не вылупятся все и можно будет посадить их под матку вместе с другими. А под печкой жили кро-

лики. С них выщипывали шерсть и вязали из нее веревки. Мы любили ходить к ней в сумерки, когда у нее горела лучина в каганце и уголь с нее падал в лоханку. Пахло приятно березовым дымком, из-под печки то и дело выскакивали кролики, а она рассказывала про кур, какая нынче снесла какое яйцо, какую надо сажать на яйца, какую высечь крапивой, чтобы не квохтала, или выкупать ее в воде, почему одна годится в наседки, а другая нет. Мы прошли с ней полный практический курс куроводства.

Поздней осенью Анна Ильинична делала калиновое и рябиновое тесто с толчеными сухарями из ржаного хлеба — мне казалось оно вкуснее всех наших лакомств. Мало-помалу мы завели своих кур. У каждого из нас были свои знаменитости. Моя любимая курица называлась Анисья Никаноровна, потому что была куплена у пономарихи и потому что она была, как цесарка, в серых крапинках, точь-в-точь как у ней платье. Она носила почти ежедневно крупные яйца, иногда двухжелтковые, была очень широкая, на низких ногах и высидела тридцать два цыпленка в раз. Сидела на яйцах в так называемых маленьких комнатах — антресолях наверху. Туда вообще мы носили своих кур носиться — ночевали они только в курятнике на дворе, а носились и высиживали цыплят наверху. Была еще курица под названием "Выдается" — кохинхинка, ее достали с завода. Там у Фортунатова был такой большой красный кохинхинский петух из Тулы, что всем на удивление. "Выдается" носила меньше яиц, чем "Анисья Никаноровна", но зато крупные. К Пасхе, бывало, под краску мы набирали целое блюдо самых крупных, двухжелтковых яиц. Занятнее всего было выхаживать цыплят, высиженных галками. Они выходили крупнее высиженных курами. Галку нужно обмануть умеючи, иначе она бросит сидеть, и надо не пропустить начало вылупления, а то она заклюет цыпленка. Под индюшек клали мешанные куриные и индюшиные яйца, иная индейка водила потом за собою целое стадо — штук тридцать разных цыплят. Выхаживать индюшат целое искусство, мы кормили их рубленой крапивой, подсыпали в корм толченое стекло, мочили головки водкой, потому что они очень квелы и плохо переваривают в зобу корм. За ними нужен глаз и глаз. Куры у нас были такие ручные, что мы любую, когда нужно было, брали на руки. Но курами дело не ограничивалось.

У меня был ручной ворон, замечательного ума, ручная лисица, ручной заяц, в столовой у нас на карнизе ласточки-касатки выводили из года в год детей в одном и том же гнезде, которое они подправляли несколько лет подряд. Однажды, гуляя в Арапетовском лесу, на высоком пне мы увидали ворона, который громко каркал и не слетел при виде нас. Возвращаясь назад по той же тропинке, глядим — он сидит на том же месте. Я стал подходить к нему, каркая по-вороньи: он не слетает; подошел вплотную и схватил его. Не то он еще не умел летать, не то был болен. Принесли его домой и стали выхаживать. Он так скоро привык ко мне, стал таким ручным, что прямо не отходил от меня, ходил за мною, как собачка, или сидел на плече. Стоило позвать его "ворон, ворон", как он сейчас же прилетал на зов. Его можно было посылать с поручениями.

Каждый день мы ездили после обеда удить рыбу и купаться в Петрушино, за четыре версты, имение, купленное отцом у Штадена, управляющего Тульским оружейным заводом. Оно у нас было недолго, отец продал его, когда мы поступили в гимназию, на житье в Москве. Там были большие четыре пруда "сажалки", в одном — караси такие крупные, что только по одному укладывались на тарелку, в другом — карпы, в третьем —

смешанная рыба: карпы, плотва, окунь, пескарь, в четвертом — одни окуни. И уженье рыбы и купанье были одним наслаждением. Это была целая детская эпопея. Каждая рыба имеет свой манер клева, и надо знать, как подсечь ее и как вытащить ее из воды. Окунь глотает крючок глубоко и так стремительно и сильно кидается с ним, что иной раз утаскивает с собою удилище, карась еле трогает, точно пригубливает приманку, надо угадать, в какую сторону подсечь его, и тащить так, чтобы он не сорвался. Карпа ловить труднее всех, особенно крупного. Пескаря надо выхватывать разом, с резкой подсечкой. На плотине среднего пруда росли белые ивы, их красные мочки корней покрывали весь берег и спускались в воду. Здесь ютились крупные карпы — но они были очень чутки и осторожны и опускать крючок глубоко нельзя: запутается в ивовых мочках.

Однажды брат Сергей, который был страстный охотник ужения, выслеживал с плотины рыбу и заметил, что крупные карпы высовываются из воды к самой поверхности и медленно раскрывают и закрывают зев, точно спят, в корнях под ивами была самая пригретая солнцем вода. Он повесил крючок с червяком, не спуская его в воду, над самым зевом карпа, и когда тот открыл его, спустил леску, карп лениво проглотил крючок и вскинулся. Брат, увидя, что добыча редкая и что вытащить его просто нельзя — сорвется или не выдержит леска, медленно потащил его к берегу, а место было крутое и разом у берега выхватил его и перекинул на плотину. Большой карп забился, как поросенок. Боясь упустить его, брат лег на него животом и стал кричать во все горло "умру, умру, умру". Прибежали на помощь и вытащили из-под него карпа чуть ли не в аршин длиною.

Мы рассаживались каждый на своем излюбленном месте. Ворон всегда был с нами. Ему можно было дать

жестянку с накопанными червями, и тот, кому они нужны были, звал его к себе: "ворон, ворон"; он прилетает к нему с жестянкой в клюве и не отдает, играет, как собака, не выпуская из клюва. Он все время таскал всякие вещи и ловко выхватывал их из-под рук. Утром он забирался в комнату Ляенеса и, пока тот спал, перекладывал на столе у него все вещи по-своему: вытащит спички, высыплет табак, переложит табак в спичечницу, а спички в табачницу, снимет с чернильницы карандаши и перья, запрячет их куда-нибудь, ничего не утаскивал, а играл вещами. Ляенес страшно сердился на него. Он долго жил у нас. Когда мы уехали в Москву, его отдали на хранение в Петрушино приказчику сторожу Семену. Он им не занимался, и весной ворон улетел с вороньей стаей. Когда мы приехали на лето из Москвы, возобновились ежедневные поездки в Петрушино, и мы жалели, что с нами нет ворона. И вот однажды, подъезжая к прудам, видим: летит воронья стая. Дело было к вечеру, солнце на закате, небо закрыто тучками, а над нами из облачка шел дождик, верх пролетки был поднят, Наполеон шел шагом без вожжей, он уже так знал дорогу, что им не правили, я высунулся из-под верха под дождик и стал кричать: "ворон, ворон", и вдруг видим, как от стаи отделился ворон и спускается к земле; я отчаянно звал: "ворон, ворон, ворон", и ворон прилетел к пролетке и стал виться над нами. Мы остановились, и он сел ко мне на плечо. Все лето он по-прежнему был с нами, как будто и не расставался, не побывал на воле. Осенью, уезжая опять в Москву, мы снова оставили его на попечение Семена, но он опять не уберег его. Весной он улетел и пропал окончательно.

На Поповке был мужик Евтей, совсем лысый старик, промысловый охотник-лисятник. Он знал по всем лесным оврагам все лисьи норы, следил за ними и,

когда лисята вырастали, вылавливал их. Засыплет все дыры землей, оставит две незасыпанными. В одну приладит открытый мешок, а из другой начнет выкуривать их дымом — и всех переловит в мешок. Он держал их в амбаре, выкармливал их падалью и потом продавал. Мы ходили с ним на Никитенку — большой овраг за "Лисичками", где была большая старая лисья нора, в ней было 24 лаза. Днем лисята, уже порядочные, выбегали на полянку и играли, и мы любовались на них. Однажды он принес к нам полный мешок лисят, среди которых один был совсем маленький — последушек. Мы его купили у него и стали выхаживать. Устроили ему под домом ящик, вроде норы, кормили из рук, и он стал совсем ручной. Целый день он бегал на воле и так привык к людям, как собачка, спал у меня на коленях, как кошка. И собаки привыкли к нему — не трогали, и куры ходили тут же, и он их не трогал. Но к осени он стал проявлять свою натуру и из игривого и очень занятного стал опасным сожителем для кур. Сперва он никуда со двора не уходил, выбежит за ограду и как встретит что-либо для себя страшное, опасаясь, бежал домой. А тут уже стал пропадать подолгу. Привязали его на цепь, но это ему совсем не понравилось, и он стал рваться с нее и как-то сорвался вместе с ошейником на шее и сбежал, пропал. Уже когда снег выпал, в сумерки как-то Димитрий-повар вышел на двор и видит около дровяного сарая лисицу, вернулся в кухню за говядиной, положил мясо на руку, сел на корточки и стал подзывать, приманывать ее. Она подошла, уже не как прежде, доверчиво, а робко, и хотела вырвать из рук говядину, а Димитрий схватил ее за ошейник. Привязали опять на цепь, но она уже была дикая и сумрачная. Решили не мучить ее, все равно сколько ни корми, все в лес глядеть будет, и отпустили на волю.

Зайцев ручных у нас было несколько, но один русак был замечательный, жил всю зиму в доме под лестницей, как снег белый, и освоился со своим житием прекрасно, он выделывал такие петли по комнате, как на воле, не мог равнодушно видеть лестницы, задние ноги требовали работы, и он духом взлетал на верхнюю площадку, стуча ногами по ступенькам, как колотушками. Он не только не боялся нас, но ластился, как кошечка, и знал свое место, отведенное ему под лежку, никогда не гадил в комнатах. Он не избег своей заячьей участи, весной не уберегли его — подвернулся как-то собакам.

Еще был у нас жеребеночек — остался сосунчиком сиротой, его матка-кобыла издохла, родив его. Мы взяли его на рожок, отпаивали молоком и вырастили. Он так привык к нам, что ходил за нами, как за маткой, взбирался по балконной лестнице и входил в дом и даже однажды в доме взобрался по лестнице на второй этаж. Меня он раз лягнул в коленку и свернул чашку. Настоящей лошади из него так и не вышло, не дал роста и остался маленьким, на работу не годился. Николай, конюх, говорил: "Сиротская участь всем равна, что человеку без матери, что жеребенку без матки или еще кому — всем участь горькая". Его так на работу и не брали, ходил в табуне, "только числился лошадью", и чем кончилась его история, не помню.

Были у нас еще ручные белые мыши. Димитрий, повар, поймал их в кладовой несколько штук. Мы посадили их в большой стеклянный ящик, старый аквариум, устроили в нем им норки из ящиков и кормили из рук. Они долго жили у нас, вывели детей. Мы выпустили их из ящика, они бегали по комнате, ползали по нам и были удивительно милы, с розовыми глазками. Было несколько ручных ежей, они служили вместо кошек: ловили мышей. Один еж жил даже на воле

в саду и не уходил от нас и по утрам за чаем взбирался на балкон, и мы поили его молоком.

Собак друзей у нас было множество, только не охотничьи. Был черный водолаз от Булыгиных, который жил сторожем при доме, общий любимец, умный и веселый. Дворовый Кудеяр, потомок Белогорста, такой же, как и он, солидный, деловой и сильный. Были Шарики, Цыганы, Белки — дворняжки на скотном дворе, каждая отличалась своими качествами, и все были при соответственной службе. Кто стерег двор, кто ходил в ночное с табуном, кто состоял при стаде, кто при полевых работах. Эта должность была почетная, ее могли справлять только умные собаки. Рабочие таких собак очень любили, они их брали с собою в поле стеречь одежу и хлеб, который брали с собою на полудники. Пахаря разойдутся по полю, каждый на свою пашню, а Шарик или Белка неотлучно лежит при добре, стережет терпеливо, дожидаясь полудника, чтобы получить свою порцию хлеба. Были и противные собаки. Осенью как-то, в непогоду прибежала к нам потерянная кем-то левретка, породистая и грациозная. Ее назвали Стелла. Была легка, как мотылек, прыгала, точно летала, но была такая баловница, что нельзя было ее держать в доме, все рвала и портила. Ее часто запирали. Раз как-то она вырвалась из-под замка, во время обеда влетела в столовую, вспрыгнула на стол, схватила с блюда что-то и выскочила на балкон. Приехала в гости соседка, не помню кто, сняла шляпу, положила на фортепьяно и когда собралась уезжать, шляпа ее оказалась разорванной на кусочки. Подарили кому-то из соседей. Те заперли ее, чтобы не убежала, она со второго этажа выпрыгнула в окно и нашла дорогу — опять прибежала к нам. Наконец, отдали ее кому-то в Алексин.

Такое сближение с животным миром не ограничивалось двором. Мы знали все птичьи гнезда в саду,

следили за выводками скворцов, горихвосток, зябликов, синичек, выискивали не только в саду, но и в лесах редкие гнезда желтых иволг, висящие на самых высоких ветках, как лампады на длинных цепочках, серых дроздов, которые изнутри шекатурят свои гнезда так, что они похожи на хорошо выточенные чашки, кукушек, жаворонков, перепелок в полях и даже соловьев, найти которых так трудно, а если найдешь, то нельзя тронуть и даже нельзя, по поверию, сказать, где нашел. Соловьихи так нежны, так скрывают от всяких глаз свои гнезда, что, если почуют, что они найдены, что гнездо тронуто, они бросают сидеть на яичках. Прячут они гнезда хорошо, да и делают их кибиточками, с крышками, так что найдешь, да не узнаешь, что это гнездо — так, комочек травы. Я не только знал нрав и повадку каждой своей курицы, но и как живет каждая птица на воле. Умел подражать их голосам и пенью, да не только птицам, но и всяким животным. И до старости лет сохранил это уменье. Раз что умеешь, не забывается. Изображали в совершенстве кошек, свиней, поросят, уток, кур, петухов, журавлей, коростелей, перепелок, кукушек, лягушек, голубей, горлинок, ворона, галчат, вальдшнепов на тяге, тетеревов на току и даже соловьев.

Эта близость к животному миру приближала к природе. Сколько ни дивуемся мы чудными видами природы во взрослом возрасте, сколько ни наслаждаемся, осматривая известные мировые красоты, сколько ни путешествуем, ища наслаждения ими, — никогда не найдем мы в них того, что дала нам природа, окружавшая нас в детские годы. Велика тайна влияния ее на душу человека, непостижимо для нас, как воспитывает она характер людей и целых народов, как проникает она в душевный склад человека и ассимилирует его. Невидимо, неуловимо натягивает она ласковой рукой своей

в душе человека свои струны, и сколько ни перелаживай их, они будут петь свою песнь, и только она и звучит в ней как родная. Все живущее в мире подчинено таинственному влиянию природы. Березового червяка не отличишь от березовой веточки, зима делает зайца белым, а лето серым, перепелка, прижавшаяся к земле, так сливается с нею, что и острый глаз ястреба не видит ее. Так и человек сливается с природой, в которой живет. Где бы я ни был, я слышу песню струн, натянутых в душе моей в Поповке. Немолчно звучат они, и ничто их заглушить не может. Под их аккомпанемент работают и мысли и чувства, и когда начинается в жизни диссонанс с ними, они сейчас зарокочат, направят и мысль и чувства по своему пути. Довелось мне видеть перлы красоты земной — чарующую Сьерру Неваду, истинную жемчужину моря — Гонолулу и много, много других див мира, а вот никогда не вижу их во сне, а видишь серебряную яблоню на росистом лугу или белую черемуху с поющим соловьем, тропинку в волнующейся ржи, ярко зеленую поляну в темном лесу, извилистую реку в зеленых низких берегах с белесыми ивами. Великий океан с морями не захватил души, а вот эта речонка втекла в самое сердце.

Великое выпало нам счастье, что родители избавили детство наше от всяких условностей. Мы стояли лицом к лицу с природой, с человеком и со всем окружающим миром, и словно жеребята паслись на вольном лугу. У нас не было того, что так часто встречается в семьях: "того нельзя и того нельзя" и неизвестно, что можно, словно на веревочке, на привязи, и ежеминутно на каждом шагу тебя одергивают. Нам было все можно — лишь бы это не было опасно и вредно, а что опасно и вредно — от того удерживали нас не подергиванием веревочки, а внушением правильного представления о вещах. Поэтому жизнь наша и сливалась свободно с окружающим миром, с природой, с людьми и с животными. Наша детская не была отгорожена от мира, мы видели и знали все, что совершалось кругом нас, и в самой детской царил какой-то деловой тон, как будто мы в самом деле жили жизнью взрослых. Помню, как надо мною смеялись и спрашивали меня, как я буду воспитывать своих детей, а я с решительностью отвечал, что буду их "держать в загородке и кормить грубой пищей". Еще говорить не умел правильно, а критика жила во мне, и в душе уже был протест против неравенства нашей жизни с окружающими.

Абсолютно не помню никаких игрушек и игр в детской. Только гораздо позднее, когда уже сестра Маня была лет пяти, появилась в виде игрушек детская мебель, среди которой ясеневый шкапчик, исторического значения, так как он был связан действительно с историческим событием. Мы любили делать что-то вроде настоящей работы, бегать на большой огород, приносить к столу огурцы, салат, редиску, зеленый лук, фрукты и ягоды. Был у нас около дома и свой собственный огород — настоящий, за которым мы серьезно ухаживали, на нем мы разводили всю огородину сами. Однажды, бегая под гору к пруду за водой, я не удержался и с размаха попал в пруд. Меня вытащили из пруда, а лейка плавала по воде, и я плакал и кричал, чтобы ее вытащили.

Большим огородом в "том саду" занималась Ба́ба Софи́. Садовник Иван Никитич был нашим большим другом, в его руках было так много вкусного и интересного. Да и сам он был хороший старик. Он обращался с цветами и с растениями вообще как-то по-отечески, бесцеремонно ошмыгивал их рукою, точно поглаживал по головке малое дитя, прихорашивал его. Много лет он был церковным старостой и с иконами обращался, так же как с цветами, снисходительно по-

отечески. Расставляя перед ними свечи, он ровнял их, чтобы никому не обидно было. Расставит, потом посмотрит от свечного ящика, и покажется ему, что кого-нибудь из угодников он обидел, и рассказывает потом: "Вижу Никола-то батюшка смотрит на меня, просит, надо ему еще свечечку поставить", подойдет, каким-то особым движением смахнет рукавом пыль с ризы, словно слезы утирает ему: "Не плачь, батюшка, вот тебе свечечка". Он был великий мастер выхаживать розы и грунтовые деревья.

Пристановка персиковых и сливных деревьев — это целая эпоха. На дворе еще снег, а тут весна, да какая красота. Всего было четыре персиковых дерева и с десяток сливных в кадках, но они так сильно цвели, что шпалеры бывали в сплошном цвету. В старые времена грунтовые деревья были не роскошью, а доходной статьей. Сохранилась книжка хозяйственных расходов Раевской, в которой значилось: "Продано персиков...", свидетельствует, какие были в крепостное время на всем готовом денежные расходы, но, с другой стороны, и оранжерея ничего не стоила и давала ценный по тому времени товар для сбыта. Тогда ничего не продавалось, и вот персики были доходной статьей. Позднее, чем дальше, тем труднее было оправдывать расходы по топке и уходу за оранжереей. Мы продавали персики и сливы штук по тысяче в Тулу в самый богатый гастрономический магазин братьев Ливенцовых. Но это не покрывало содержания оранжереи, она становилась бременем. Выручил из положения истопник Семен Новиков, он затопил печку ночью и ушел — оранжерея сгорела дотла. И жалели мы ее не очень, зная, что она была уже роскошью для нас непозволительной.

Это было после смерти Ивана Никитича, на место которого нашли садовника Малахея, который не умел ходить за деревьями, главное не умел делать обрезки,

от которой и зависит главным образом урожай. Он был горький пьяница и играл на самодельной балалайке, которая казалась мне дивным инструментом. Я сделал себе сам такую же из решетной обечайки и выучился у него играть. Малахей пил каждый день, и мы удивлялись, откуда это он доставал деньги на водку. Бабá Софи́ утром, наставляя на него лорнетку и глядя ему в упор, говорила: "Малахей, ты опять с утра напился", а он самым серьезным образом отвечал как знаток дела человеку, который ничего в этих делах не понимает: "Помилуйте, Софья Николаевна, нешто помню, это еще от вчерашнего". Поили его на деревне за балалаечную игру по вечерам на засидках. С исчезновением оранжереи исчез и Малахей, но его балалайка и сладостные ее звуки вошли навсегда в мою душу. Они дополняли самую любимую мою музыку детства — жалейку. Когда Гаврила долгими осенними темными вечерами, сидя на нижней ступеньке балкона, играл, я стоял у окна часами и заслушивался, как он выводит на парной жалейке с коровьим рожком одновременно жалобную и веселую классическую всероссийскую зорю:

Раным-рано поутру
Заиграл пастух в трубу.
Хорошо пастух играет,
Выговаривает:
Выгоняйте вы скотину
На широкую долину,
На попову луговину.
Гонят девки, гонят бабы,
Гонят стары старики,
Мироеды мужики.
Одна девка весела
По кругу ходит ловка,
Сама пляшет,

Рукой машет —
Пастушка к себе манит:
Стереги, пастух, скотину,
Ходи ко мне ночевать.
Одну ночку ночевал,
Он коровку потерял,
Он другую ночевал,
Он другую потерял,
Он третью ночевал,
Всею стаду растерял.

Переходы от стиха к стиху с придыханием и переливами составляли самую прелесть игры. Для того, чтобы сделать и наиграть жалейку, требуется немалое искусство и музыкальность. Мы добывали тростины крепкие и подходящей толщины под Алексином. И я выучился у Гаврилы и играл не хуже его. Есть удивительные мастера артисты-жалейщики. Те, что выступают в оркестрах в городах, никогда не сравняются с настоящими, которые играют на жалейках, словно жаворонки в поле поют. Особенно славятся зубцовские пастухи. Зубцовский уезд Тверской губернии поставляет пастухов на всю Россию. Они пасут городские большие стада. Без жалейки им нельзя. Они идут по улицам, играют в рожок, и скотина так привыкает к их зову, что сбор скота в одно стадо происходит сам собою. С дворов выпускают скотину, и каждая корова сама идет на городской выгон за рожком пастуха, ее не надо гнать туда. Я слышал в городе Кологриве на Унже такого артиста, что весь город высовывался из окон послушать его. И действительно, он разделывал "Сережу пастушка" так, что заслушаешься, и игра его как-то сходилась со щелканьем бесчисленного множества соловьев на Унже. Казалось, вся природа пела утреннюю зорю. Едва

ли можно найти более подходящий инструмент, гармонизирующий с утренней зарей, с весной, с соловьями, мычанием коров, запахом молока, ласковым ветерком и мирной, мирной жизнью.

Кроме огорода, сада, деловое сближение с природой шло и по другим путям. И Ба́ба Софи́, и папа́ лечили и собирали лекарственные растения — это было и нашим делом, мы собирали желтые цветы зверобоя, белую валериану, тысячелистник, липовый цвет, иван-чай, лесную малину и проч. Аптека Ба́ба Софи́ была небогатая. Наиболее употребительные средства ее были, кроме трав, спуск, сахарная синяя бумага, проколотая булавкой и смазанная свечным салом, липовый цвет, мыльный и муравьиный спирт. Она искренне удивлялась и сокрушалась, когда лекарства ее не помогали. Долго лечила она одного больного от ревматизма, давала-давала ему бутылочки, а он все приходит, жалуется, что не легчает. Оказалось, что вместо того, чтобы растираться мыльным спиртом, он выпивал его. Тогда она накричала на него, и он выздоровел и перестал ходить. Мы выискивали травы по лесам, собирали и сушили их на балконе. Особенно весело было собирать липовый цвет в большие прачечные корзины, мы собирали его с мальчишками и целые дни лазили с ними по деревьям. Но самым веселым сбором был сбор орехов и опенок. Тогда шли в лес все, на целый день, собирали миром. Сбор орехов иногда делали всей деревней — исполу. Брали с собою подводы и привозили с собою полные возы. Бывали такие урожайные годы, что заваливали орехами каретный сарай и потом неделями лущили их. Опенки тоже возили возами. Нет более оживленной работы, как такая мирская, это и работа и веселье — песни, перекличка, ауканье по лесу, и возвращались все с песнями в приподнятом настроении, как с веселого праздника.

V

С Ляенесом у нас шло учение и гуляние, а в детской шло приобщение к литературе и поэзии. Детская литература в наше время была богаче, чем в позднейшее время. Она была содержательнее и поэтичнее той, которая досталась позднейшим поколениям. Такие книги, как "Счастливое семейство", "Подвиги милосердия", "Филипп Антон", "Нептун", "Сергей Лисицын", "Сережа Найденыш", "Серый армяк" — были проникнуты высоким идеализмом и любовью к человеку. Сколько было пролито слез над ними, какие нежные чувства рождали они, какой глубокий след оставили в душе, какое громадное влияние оказали они на формирование мировоззрения — это трудно описать. Мы жили одновременно в действительном мире и в мире, созданном этой литературой, они переплетались и сливались воедино, и трудно сказать, который из них преобладал в душе. Любил я русские сказки в сборнике Буслаева и сказки Андерсена. Одна из них "Гречиха", белое поле которой за гордость было наказано во время грозы молнией, которая спалила ее, и она стала черной, особенно трогала мое сердце. С нею и со случайным письмом к папа какого-то господина Ф. Ромера связано происхождение моего почерка. Письмо Ромера из Черниговской губернии по поводу Сокольей слободы было написано поразительным почерком. Я стал подражать ему: и, конечно, облек в него свою любимую "Гречиху". Переписывал ее много раз, пока не достиг приближения к почерку Ромера.

Такие рассказы о белке Бобочке, совершившей путешествие через озеро Байкал, вводили в мир животных не меньше, чем самое общение с ними. Бобочка была мне таким же близким другом, как мой ворон.

За эти детские годы в Поповке произошло у нас несколько крупных событий, которые широко раздвинули рамки нашей жизни и поставили передо мной вопросы о Боге, жизни и смерти. В первый же год по переезде из Тулы родилась сестра Маня. Отчетливо помню крестины ее в кабинете отца, как батюшка окунал ее в воду в медной высокой купели и, когда служба кончилась, поздравил нас с сестричкой. Года два спустя скончалась Баба́ Софи́, София Николаевна Молчанова, родная сестра матери нашей матери Прасковьи Николаевны Мосоловой.

Родная бабушка была невероятного характера и беспокойного нрава. Она была что теперь называется истеричкой, неврастеничкой. Про нее рассказывали, что она дедушку нашего била палками. Иван Никитин рассказывал, как сам видел, что она на балконе чуть не убила его стулом и выгнала из дому. Она бросила своих детей — сына Федора и дочь Варвару. Вот маленькую Варю, нашу мать, и приняла на воспитание ее тетушка Прасковья Ивановна Раевская, а бабушка София Николаевна, девица, посвятила себя целиком своей племяннице, смотрела на нее как на свою дочь, и когда отец женился, она перешла жить в дом к нему.

Бабушка Прасковья Николаевна, будучи кругом виноватой перед своими детьми, не могла простить сестре, что она присвоила себе право матери, и отцу, что он принял к себе жить Софию Николаевну. Сама она жила всегда за границей, большей частью в Париже, и оттуда терзала письмами отца, требуя денег. Письма ее — их накопилось целые стопы, полные упреков, претензий и обвинений, были всегда мучением, мама плакала, отец мучился, но высылал без конца денег, что и служило одной из причин накопления долгов. Бабушка колесила по всей Европе, ненавидела Россию, как варварскую страну, и не хотела возвращаться в нее.

Бабá Софи́ очень любила огород и проводила там много часов, наблюдая за работами. Однажды она стала выдергивать из грядки не то хрен, не то редьку, сделала слишком большое усилие, корень оборвался, она упала навзничь, и у нее сделался заворот кишок. Она очень мучилась, посылала в Тулу за доктором Снегиревым, который привез с собою специальную машину (она до последнего времени была наверху, в кладовой). Он не помог, и бабушка скончалась. Это была первая смерть и похороны в доме. Обедню служили три священника. Отец Терентий сказал прочувствованное слово, которое всех растрогало. На похоронах был весь приход, который угощали после обедни. Был поставлен против рабочей длинный стол, за которым обедали, сменяясь партия за партией. В доме у нас тоже был большой обед со всем священством и гостями. Бабушка была очень усердная до церкви, лучшие богатые ризы были ее работы. Она всегда занималась чисткой образов и подсвечников.

Особенно потрясающим было событие, происшедшее, кажется, года за два до переезда в Москву. Это было весной. Снег уже сошел, прошла и полая вода, но дороги еще не просохли, не накатаны. Мы ждали брата Владимира из Москвы. За ним послали в Тулу коляску четверней. Поехал Федор Логачев как самый надежный человек. Был сильный дождик, и на другой день, когда мы ждали Володю, он не приехал. На следующий день была чудная погода. Утром мы выходили на двор и встретили Артема старосту, который прошел быстрыми шагами по коридору в кабинет папá, и мы слышали, как, войдя в дверь, он сказал: "У нас несчастье". Дверь закрылась, и в чем дело, мы не узнали. Ляенес уселся на балконе правого флигеля, а мы стали искать по газону и выкапывать корни только что тронувшегося цикория, одуванчика. Вдруг папá позвал

домой Ляенеса. Выходя из дому вместе с Артемом, он крикнул нам, чтобы мы никуда не уходили, что он скоро вернется. Он пошел с Артемом на скотный двор, и мы увидели, как он поехал на прошпекты верхом. Мы догадались, что что-то случилось, пошли домой, но папа послал нас опять на двор. Нас забыли, и мы, чувствуя что-то недоброе, шептались в догадках и ждали с тревогой, чтобы кто-нибудь сказал нам, куда поехал Ляенес. За завтраком папа сказал, что он просил Ляенеса съездить в Першино. Во второй половине дня только он вернулся, и тогда все разъяснилось.

Артем пришел сказать отцу, что, возвращаясь из Тулы, Федор Логачев подъехал к першинскому мосту через Упу, мост оказался залитым водою, он направил лошадей на мост, наугад, не попал на мост, а мимо. Лошадей и коляску утянуло водою, а Федор по лошадям как-то выбрался на берег и еле живой сидит в кабаке, и неизвестно, был ли в коляске Владимир Евгеньевич. Рассказ через людей со слов пьяного Федора был такой сбивчивый, что отец послал сейчас же Ляенеса узнать точно от Федора Логачева: вез он или нет Володю. Можно представить себе состояние отца, который в ожидании верных известий никому не сказал ничего. Ляенес допросил Федора, он не был пьян, только передрог в холодной воде и, отогревшись, обстоятельно рассказал, что брат Владимир не приезжал из Москвы, и, прождав несколько поездов, он решил, что дольше ждать нечего и поехал домой с вещами, которые было поручено ему привезти из Тулы. Проехал он в Тулу хорошо, а, как это часто бывает при спаде воды, ночью от дождя случился паводок, и когда он возвращался, мост оказался затопленным. Мост был низкий, без перил, на его краях был только навален камень, чтобы его не снесло водою. Федор попал на мост, но пристяжная оступилась и попала за край моста в воду

и утянула за собою всю четверню, сам он успел соскочить с козел, скинув кафтан, и выбраться по лошадям и вплавь на берег. К вечеру явился и сам Федор, который пришел в себя и подтвердил, что Владимир Евгеньевич не приезжал из Москвы. Через два дня он приехал на ямских. Через неделю и лошадей и коляску вытащили из воды мужики в Павшине, куда всю четверню притащило водой в запряжке. Все вещи в коляске оказались целы, среди них и был как раз ясеневый шкапчик для Мани к ее именинам, он и стал для нас историческим. Волнения, пережитые за это время, были, конечно, ужасные. Конечно, если бы брат Владимир был в коляске, он погиб бы. Федор соскочил с козел и спасся, а из глубокого сидения в коляске из-под кожаного фартука выскочить было бы нельзя.

Мне было десять лет, когда мы осенью 71-го года выехали из Поповки. Таинственными нитями душа была уже срощена с глубинами русского. Корни мои переплетались с корнями народной жизни. Штамб уже вытянулся — "Формуй жизнь крону как хочешь, штамба уже не переформируешь". Пикировка на десятом году жизни, пересадка с полевой земли в белокаменную Москву, как в песне поется, "диким камнем выстланную, желтым песком сыпанную", не могла уже изменить сердцевину. Всегда поминаю с благодарностью родителей за то, что выдержали они нас до юности в деревне, что там на вольном просторе первые корешки напитала мать российская земля.

У старших братьев был учителем Иван Васильевич Янчин. Он ездил с ними за границу, затем учил их в Туле, жил некоторое время с ними и в Поповке. Но я его у нас в доме почти не помню. Он был учителем в Тульской гимназии. Покинув наш дом, он вступил в компанию с Львом Ивановичем Поливановым, который открыл в Москве свою частную гимназию с правами казенных. Вот ввиду того, что Иван Васильевич Янчин был одним из основателей этой гимназии, было намечено отдать нас в нее. Ляенес не мог вести наше учение дальше 1-го класса, продлить учение в деревне было невозможно, но отец не хотел выпускать нас из семьи и отдавать нас в пансион, и потому, как это ни трудно, было решено переехать жить в Москву.

Как мы подготовлялись к этому переезду, я не помню. Мы не представляли себе, что нас ждало в Москве, и не волновались. Почти не помню путешествия по Курской железной дороге. Ехали ночью. Но отчетливо помню дорогу с Курского вокзала через Кремль на Плющиху в дом Шундера. Братья долго смеялись надо мной, что больше всего привлекли мое внимание ястреба, которые парили над Кремлем и Замоскворечьем. Они мне указывали на кремлевские соборы, на дворец, а я свое: "Нет, ты посмотри, сколько ястребов". Глаза мои были деревенские.

Дом Шундера оказался очень уютным и довольно просторным. Внизу был зал, столовая, гостиная, спальня мама, кабинет отца, наша детская и рядом сестры Мани с гувернанткой Mlle Cousin, а наверху, в мезонине, в двух комнатах жили братья. Кухня была соединена с домом коридором. С нами приехали и Гаврила, и кухарка Елена, наша алексинская родом. При доме был довольно большой сад хозяйский, но нам разрешено было им пользоваться, там были яблоки и ягодные кусты, и в нем стоял маленький желтый флигелек в три комнаты. У ворот стояла сторожка дворницкая со старым дворником Ермолаем, который скоро стал нашим другом.

Из дома Шундера открывался перед нами новый мир. Городская жизнь, гимназия, родственный круг, знакомые должны были раздвинуть узкие деревенские горизонты и обогатить содержание жизни. Но внут-

реннее ощущение мое было обратное, точно с воли попал в клетку. Душа болела по Поповке. Кроме ястребов над Кремлем и голубей у Василия Блаженного, я не находил в Москве ничего родного. Напоминали Поповку и то отдаленно, как типы — водовоз в красной рубахе и фартуке, который каждое утро подъезжал к кухне с большой зеленой бочкой и сливал воду в кадку; он так ловко вытаскивал штырь, подставляя ведра, что не проливал ни капли воды и напоминал работой бондаря Константина; торговцы с лотками на голове в жилетках поверх красных рубах и в фартуках, которые выкрикивали: "Пильцыны, алимоны", приложив левую руку к уху так же, как делают бабы-запевалы. Я все всматривался, не попадется ли кто из наших; торговец клюквой и орехами так громко кричал "клюква, орехи", что казалось, он кричит не в Москве, а в лесу.

Когда нас повели к Янчину в Поливановскую гимназию, которая помещалась в доме Заливского в Всеволожском переулке, там меня смутил толстый господин, кажется актер, Рубцов. Узнав из рассказов братьев, что я обладаю талантом звукоподражания, он встал, подошел к окну и стал платком ловить на стекле пчелу и так искусно жужжал, что я был уверен, что взаправду ловит пчелу. Я не мог так жужжать, и это было обидно и досадно.

У Янчина нас слегка проэкзаменовали и приняли обоих во 2-й класс. Я был слишком мал для 2-го класса, мне было всего десять лет, но приняли меня в него, чтобы не раздружать первое время с братом, с расчетом задержать меня на лишний год в одном из следующих классов. Так и сделали. В 3-м меня оставили на второй год, а брата перевели в 4-й. Но я догнал его. В 5-м он провалился на переходных экзаменах в 6-й. Два года мы провели вместе в 5-м и 6-м классах, но на

экзаменах в 7-й провалился я. Родители не смогли больше продолжать жить в Москве — это было выше средств, и они остались с сестрой в Поповке. Тогда брат решил бросить гимназию и заняться хозяйством и семейными делами, так как ясно было, что отцу с ними не справиться. Меня отдали в пансион Янчина, в котором я и пробыл 3 года, оставаясь один без семьи.

Во 2-м классе было 42 человека. Мальчики мне не понравились, никто не напоминал наших друзей — ребят в Поповке. Многие из них показались мне просто противными, особенно щеголи-форсуны — Бороздин с большими локонами и белым бантом, Шумский, сын знаменитого актера, в какой-то особенно нарядной куртке. Я был самый маленький в классе, все были старше меня и давали мне это чувствовать. Странно, но чувство, вытекавшее из того, что я действительно был меньше всех, осталось у меня на всю жизнь. Всегда я чувствовал, что все старше меня и я до них не дорос. Учителя мне тоже не понравились. Единственно, что мне нравилось в гимназии, это старый пруд в саду, превратившийся в болото, но туда нас редко пускали, и игра в лапту, в которой несколько мальчиков старших классов поражали меня своей силой и ловкостью, особенно Сухарев и Щепетов. Я все сравнивал их с Пашей — мальчиком, который был помощником сторожа в яблонном саду у нас. Он представлялся мне исключительным по силе. Я не мог докинуть камешка до половины нашего пруда, а он без промаха легко перекидывал на другой берег. Паша был природный силач, сутуловатый, широкоплечий, спокойный в движениях, ему все было легко. Он был из тех типов, что встречаются среди пароходных матросов. Сядет пароход на мель, спрыгнет такой дюжий парень в воду и затянет дубинушку: "Скидавай портки, Ванюха, выручай господ, Ванюха", и начнет рычагом раскачивать пароход,

и сдвинет его с мели. Сухарев и Щепетов были, конечно, совсем не то, не природные силачи, а гимнасты, достигшие ловкости и силы упражнениями, но все-таки они были интересны и составляли гордость всей гимназии. Они бегали на руках, как на ногах, делали сальто-мортале и достигли большого совершенства в акробатстве. Учились они плохо, оба не кончили гимназии, Сухарев кончил цирком.

От гимназии всегда ждут и требуют больше, чем она может дать. Поливановская гимназия считалась лучшей в Москве. Сам Л. И. Поливанов пользовался славой одного из лучших педагогов, и тем не менее, что могла дать она, кроме аттестата зрелости на поступление в университет, чем иным могла она быть, как не учебным "заведением". Мое время было временем интенсивного проведения в жизнь программы графа Толстого, задержки общего развития путем вдалбливания в детей латинской и греческой грамматики, без надлежащего ознакомления их даже с древнеклассической литературой. За отсутствием своих учителей были выписаны партии чехов, которые не за страх, а за совесть исполняли свою службу. Два часа уроков и по крайней мере четыре часа приготовления к ним уходило ежедневно на грамматики латыни и греческого языка в ущерб всем остальным занятиям. Где уж тут было задаваться воспитательными и педагогическими задачами. Они не вмещались в программу толстовского механического заведения.

Поливановская как частная гимназия пыталась вносить коррективы в такую постановку дела. Л. И. Поливанов создал шекспировский кружок и привлекал к сцене учеников старших классов, стараясь развить в них любовь к художественному миру. Но в кружок попадали, конечно, только те, кто мог выступать на сцене, а для остальных он был недоступен, и в конечном итоге перемены в общую гимназическую атмосферу он не внес. Мало того, он вызвал какое-то неприязненное к себе отношение в гимназии. Прямой связи с жизнью гимназии шекспировский кружок в сущности не имел, в него вербовались актеры из учеников, и только. Они становились в какое-то привилегированное положение сравнительно с другими, поступали в любимчики, а это уже всегда в воспитательном смысле дает только отрицательные результаты и для любимчиков, и для отверженных. Трудна задача воспитания детской массы, не менее трудна, чем воспитание масс вообще. Все методы воздействия оказывают на нее меньше влияния, чем общая жизненная обстановка со своим сложным комплексом всевозможных влияний. Так и меня воспитывала и развивала не столько гимназия, сколько жизнь вне ее.

Гимназия, ведь это завод моря людского, вечно волнующегося. Большие волны открытого моря, правда, не достигают ее, но она живет его приливами и отливами. Откатывается одна волна, прикатывается на ее место новая. Вода текучая; это не земля, в ней не укоренишься. Приедешь на лето в Поповку — там все на старом месте, на своем корню стоит: и старые березы, и коренастые дубы, и коренастые мужики, каждый на своей ниве работает, и Димитрия Евтеева и Ивана Сафонова на той же полосе встретишь, померли Димитрий Евтеев и Иван Сафонов — их сыновья по тем же бороздам ходят. А вернешься в город, в гимназию, там все переменилось, прошлогодняя волна откатилась, новая накатилась. Все под тобою зыблется, течет, и некуда корней пустить. Со мной из второго класса до восьмого дошел только один ученик, двое меня перегнали, а все остальные растеклись в разные стороны, так и не кончили гимназии, и никого из них я потом в жизни так и не встретил. А за восемь классов сколько было

прибоя и отбоя таких волн. Только свыкнешься, слюбишься с кем, глядь, его уже унесло волной и след простыл. Едва-едва наберу я десятка два поливановцев, окончивших гимназию, которых потом встречал я на жизненном пути. Эту текучесть людскую, слабое сцепление я почувствовал в городе сразу, и они проводили меня через всю гимназию. И с учителями тоже, даром что они не менялись, от первого до восьмого класса были почти все одни и те же, а никакой крепкой связи с ними не получалось. Многие из них были, наверное, прекрасные и достойные люди, но так уж поставлено гимназическое дело, что у ученика и учителя нет взаимного подхода друг к другу.

Учитель сидит на кресле в классе один против сорока малышей, вооруженный пятибалльной системой, злой — неизвестно почему, либо безразлично равнодушный, либо невыразимо скучный, либо явно глупый, а сорок малышей сидят против одного, как жертвы. Большинство сидит с чувством, как бы не попасться на удочку, и крестятся под курткой, когда учитель, осматривая класс, выбирает свою жертву, кого спросить. Не только веселого, но и добродушного настроения в классе за все десять лет в гимназии не помню. Учитель чужой, о нем ходят сказки, легенды, анекдоты, но, кажется, его внутренний облик, что он за человек, ученики не знают, общего между ними только отметки по успехам. Такое можно сказать механическое сцепление, без участия души, превращало гимназию в простое коммерческое предприятие в педагогической области, а учеников в руках директоров предприятия и служащих в нем в мелкую разменную монету.

Я не забуду никогда уроков Л. И. Поливанова по их грубости, резкому тону обращения с учениками. В пансионе Поливанова были братья Скоропадские, большие шалуны. Старший из них в чем-то провинился.

Никогда не забуду, как Л. И. в пустой зале, настигнув Скоропадского и приперев его к стене, кричал на него, ругал непристойными словами, называя его "Гетмановщина проклятая". Прославленная его хрестоматия, его авторитет — все пошло прахом, потонуло в моем негодовании и возмущении.

Учителя гимназии не могут воспитывать, они не педагоги, да и самый строй гимназии не дозволяет этого. Воспитание дается отчасти средой, в которую попадают ученики, их собственной семьей и кругом ее знакомых, связью с внешним миром. В исключительно счастливом положении те, у кого, как у меня, было такое восполнение, как Поповка с духовным семейным фондом. Но таких счастливых было немного. При разношерстности состава учеников найти по душе товарища трудно, все разного прошлого и разных интересов.

Пока я был в младших классах, у меня было только два товарища, более или менее близких по настроению, оба старше меня по классу, но тем не менее мы нашли друг друга. В их прошлом, наклонностях и вкусах было кое-что общее со мной. Сатин, у которого в Пензенской губернии была своя Поповка, которую он страстно любил, и мы рассказывали друг другу каждый о своей. Но он был в гимназии недолго, дружба наша была очень мимолетна. Также мимолетна была и другая дружба — с Александровым. Он был сын ямщика из Ярославля, содержателя ямского двора. Это был настоящий мужик, похожий на Пашу, добродушный, здорово пел народные песни и "пронзительные" романсы и был необыкновенной силы. Он не кичился ею, не форсил, как Сухарев, хотя был несравненно сильнее его. Однажды Сухарев был привлечен к ответу за то, что сломал гимназический шест. Учитель гимназии Павлов не поверил, что он сломал его нечаянно, пробуя свою силу, одной рукой, и усмотрел в этой по-

ломке злую волю. В доказательство того, как легко можно сломать шест, Александров продемонстрировал свою силу. Кулаком без размаха он отбил три палки на гимназической лестнице. Никто не поверил бы, что их можно отломить сухими ударами кулака, если бы это не было сделано на глазах у всех.

Сухарева простили, но он был окончательно посрамлен Александровым. Его слава первого силача померкла. Александров не мог ужиться в гимназической клетке. С волжского простора да от ямских лошадей ему было невмоготу терпеть ее. Он жил своей жизнью, вольно, вне ее и заболтался. В шестом классе он влюбился в сестру Каменского, тоже вольного волжанина из семьи известных пароходчиков. Александров и я, мы были в одном пансионе Янчина. Александров поверял мне свою несчастную любовь. Однажды вечером приходит ко мне горничная, которая убирала дортуар, и говорит: "Посмотрите, что делается с Александровым, бегает по коридору, как сумасшедший, а меня посылает вот в третий раз за спичками". Я пошел в коридор и нашел Александрова в исступленном состоянии, он весь красный бегал взад и вперед, размахивал руками и бормотал что-то, подошел к нему, он меня оттолкнул. Я пошел к Янчину и сказал ему, что, по-видимому, Александров отравился спичками. Он пошел в коридор. Александров закричал на него: "Не подходи" и обругал его. Янчин до смерти испугался и растерялся. Я ему сказал сейчас же послать за противоядием и молоком и взялся напоить Александрова. Послали за доктором, принесли какую-то белую микстуру и молоко. Я стал уламывать Александрова, завел его в уборную и там, не помню как, но убедил выпить молока. Он был уже в бреду и плохо понимал, что делает, стал пить стакан за стаканом. Его стало рвать и он ослаб, как ребенок. Спичек он поел несколько тысяч, совсем с деревом. Его увезли

в больницу. В гимназию он уже больше не вернулся, его не приняли, и он уехал на родину. Так трагично кончилась вторая моя дружба за время младших классов. Иного характера, уже не на поповской почве стали возникать дружбы в старших классах, когда жизнь в Москве расширила кругозор и я стал прикасаться к другим мирам.

Первыми, кто расширил нашу тесную жизнь семьи, были, конечно, родственники: семья дяди Федора Алексеевича Мосолова, брата матери, и семья тетки княгини Софьи Алексеевны Львовой, жены покойного старшего брата отца, Владимира. Две семьи совершенно различные по составу и по культуре.

Дядя Федор Алексеевич был болен сердечной болезнью. Он был крайне раздражительный и доходил до бешенства в своем раздражении, кричал на жену и детей так, что в доме все ходили в трепете, а старая полуслепая тетка жены его княгиня Волконская была прямо терроризирована им, она не смела слова молвить при нем. У него была парализованная нога, которую он волочил; заниматься он ничем не мог, но любил столярничать, комната его была полна столярными инструментами, но изделия его были плохи. Жизнь в доме у них была невыносимая. У него было два сына от первой жены, рано скончавшейся, — Алеша и Илюша, наши сверстники, и четверо детей: Ника, Федя, Соня и Сережа — все моложе нас, от второй жены. Она была настоящей мачехой для старших. Черствая, сухая, скупая, она сживала их из дома. Отец не питал ни к кому отеческих чувств, все его только раздражали, и старших сыновей своих он с малолетства отдал в учебные заведения. Они дома почти не знали. Уже к пятнадцати годам Алеша был вором и невероятным лгуном, его переводили из одного учебного заведения в другое, отовсюду его исключали, и уже не знали, куда

девать его. В доме родительском его не принимали, было приказано лакею не впускать его, когда он появлялся, все прятались от него, как от чумового. Он считался безнадежно погибшим.

Илюша был отдан десяти лет в техническое училище и проявлял удивительные способности и твердый характер. Ребенком он понял, что семьи у него нет, и без ее помощи усердным трудом и за счет собственного заработка закончил свое образование, пройдя все классы первым учеником. Он держался, когда появлялся к отцу, самостоятельно и с большим достоинством, не позволял ни ему, ни мачехе третировать себя, как мальчика. Мы на него любовались, жалели его и ласкали его. У нас в семье он находил сочувствие и отдыхал душой. Почти одних лет с нами, во многих отношениях он был жизненно опытнее нас и развитее. Он был прекрасным чертежником и каллиграфом, чем зарабатывал деньги, увлекался театром, знал наизусть "Горе от ума", "Гамлета", маркиза Позу, Уриель Акоста и много других произведений и ролей. Декламировал их и играл на сцене. Его разносторонние успехи развили в нем невероятную самоуверенность и высокое мнение о себе. Он мнил себя великим актером. Чрезвычайные напряжения детского возраста, а может быть, и наследственность дали себя знать в юношеском возрасте. Блестяще кончив техническое училище, он провел целое лето у нас в Поповке. Здесь в совершенно новой для него атмосфере мы почувствовали его тяжелый характер, ненормальность и маниакальность. То он плакал, то приходил в неистовый восторг, то в отчаяние. Через год он сошел с ума, попал в сумасшедший дом и там, выскочив из окна, разбился насмерть.

Брат его Алеша за это время познакомился с тюрьмой, и что с ним сталось, я так и не знаю. Младшие от второй жены дети были совсем неинтересны. Ника — слабоумный, Соня, вылинявшая, как цветок из старого гербария, Сережа — больной, с пороком сердца, один только Саша был бойкий красавчик, но страшно избалованный матерью. Мы с ними сойтись никак не могли. Ходили к ним по праздникам обедать или вечером играть — но ничего не выходило. Там бывали и чужие дети — сверстники. Среди них Маша Благина. Черненькая, черноглазая, бойкая, веселая, она пленила сердце брата Сергея. Это была его первая любовь. Мы были в мальчишеском возрасте и вечно дрались. Брат меня жестоко дразнил. Поймав мою слабость легко краснеть, он, в упор глядя мне в глаза, без конца говорил: "Красный, красный, красный", пока я не кидался на него с кулаками, но он был сильнее меня. Тогда я в защиту стал грозить ему выдать его тайну, и когда он приставал ко мне, вполголоса кричал: "Сережа любит Машу". Тогда он с яростью кидался на меня, и я уж кричал во все горло: "Сережа любит Машу". Приходила из соседней комнаты от сестры Мани Mlle Cousin и говорила: "Ne soyez pas si indiscret, Georges" [1], а брату выговаривала: "Il ne faut pas taguiner ainsi Georges" [2]. На этом мы успокаивались, но повторялось это так часто, что секрет брата стал общим достоянием, им потешались, и любовь брата потухла.

Мы ссорились и дрались с братом постоянно. Задорные, мальчишечьи отношения длились у нас очень долго. Он был сильнее меня, и мне сильно доставалось. Он колотил меня жестоко класса до пятого, когда силы наши сравнялись и я стал одолевать его. Папа постоянно приходил разнимать нас. Однажды в доме Померанцева он застал нас в совершенно неожиданной обстановке — мы сидели, каждый за своим столом, а между

---

[1] Не будьте так бестактны, Жорж (фр.).
[2] Не надо дразнить Жоржа (фр.).

нами была повешена через всю комнату простыня. На вопросы, что это означает, мы дали неожиданное для него объяснение, что не можем видеть друг друга, и каждый доказывал необходимость этой простыни, потому что брат воняет. Отец до слез смеялся над нами, рассказывая это потом за столом. Мы были пристыжены, и простыня была снята. Я всячески старался возместить свою слабость, где мог уязвить брата. В доме Исаева — я был уже в четвертом классе — мне подарили Тургенева. Брат первый прочел "Дворянское гнездо" и, очарованный образом Лизы, вдохновился и написал стихи:

О, Лиза, ты прелестное созданье,
Ты лучезарна, ты светла,
Как та далекая звезда.
Душа твоя полна любви и упованья,
Полна надежды и сознанья,
Сознанья истины святой,
Сознанья пустоты земной,
И ты идешь прямой тропою,
С крестом, с Евангельем в руках,
С святой молитвой на устах,
Своею мерною и верною стопою.

Я сознавал, что мне таких стихов не написать, но возмутился тем, что он написал их на самой книге, и сделал над ними надпись: "Глупо писать глупые стихи, да еще на чужой книге". За надпись эту меня подняли на смех и много раз потом вспоминали ее и смеялись надо мной.

Дядя Федор Алексеевич был страстным коннозаводчиком. Его лошади брали призы, которые стояли в особой витрине в гостиной. Знаменитый в Москве его гнедой рысак "Булат" был его любимцем. Он часто

ездил на нем по Плющихе, как говорил его наездник, "для проминажу", производя это слово от "проминать". Мы всегда в окна смотрели, как он пролетал мимо нас на Девичье поле. Раз он прокатил на нем нас, и тогда я впервые узнал, что такое рысак и почему у него такой бег. Рысаки не заступают задней ногой на след передней, а закидывают ее на поларшина вперед, а некоторые чуть не на целый аршин.

Семья тети Софьи Алексеевны состояла из шести дочерей. При ней жили три девицы — Саша, Анна и Елизавета, и еще жили в Москве три замужние дочери — Софья Оленина, Екатерина Гагарина и только что вернувшаяся из Англии Марья Волкова. Дядя Владимир умер за много лет до того, как семья переехала в Москву. Они много лет безвыездно жили в подмосковной, в селе Спасском, около станции Подсолнечной по Николаевской железной дороге. Оттуда и повышли замуж три старшие сестры.

Дядя Владимир был передовой по своему времени человек. Он служил цензором и был удален со службы за пропуск в печать "Записок охотника" Тургенева, которые считались революционными. И сам он был литератором, новатором в специальной детской и народной литературе. Его перу принадлежат "Серый армяк" и "Сережа найденыш" — рассказы для детей, пользовавшиеся большой известностью, и "Дядя Наум", книжка для народного чтения.

Алексей Толстой, Жемчужниковы были родственниками тети Софьи Алексеевны и часто бывали в Спасском. Тургенев тоже бывал в доме, младшая дочь, Елизавета, с его одобрения напечатала в "Вестнике Европы" повесть "Малиновка". Граф Л. Н. Толстой ухаживал за третьей сестрой Александрой и сделал ей предложение. Вообще вся семья была приобщена к литературному миру и к культурной среде. Особенно лю-

бимой всеми была сестра Маша. Она вышла замуж за старика С. С. Волкова, и говорили, что это была с ее стороны жертва для семьи, которая жила очень бедно, а браком этим она облегчала положение семьи. Волковы жили в Англии, где воспитывали своих двух дочерей Марусю и Соню. Из Англии они вернулись в Москву как раз в год нашего переезда в нее. Маруся и Соня были с нами одного возраста, но мы были — деревенщина, а они девицы высокого английского стиля. Они жили богато, мы бедно, они вращались, что называется в высшем обществе, мы нет. Мы сошлись с ними гораздо позднее, когда эти различия с возрастом потеряли значение.

Сестра Маша была замечательной доброты и очень ласкова до нас. Семья Сони Олениной была ближе к нам, она состояла из сына и двух дочерей, одних лет с нами. Впоследствии, когда я был в университете, я с ними был очень близок и подолгу жил у них. Семья княгини Гагариной Екатерины Владимировны стояла как-то отдельно ото всех, и мы с ними мало видались.

Из трех сестер, девиц, которые жили при матери, самой лучшей мы считали Анну, которая рано скончалась трагической смертью. Она была очень религиозная, мечтала в Спасском устроить женский монастырь, много хлопотала об этом и изучала монашеские общежития. С этой ли целью, или просто на богомолье, поехала она в Тихонову Пустынь — один из новых монастырей, который славился своим устройством и порядком. Там она захворала, и монахи, вместо того чтобы обратиться к доктору, стали купать ее в святом колодце и закупали ее насмерть. Поднялось дело. Оленин поехал в Пустынь и установил, что ее купали насильно несколько раз, когда она только что заболела и потом уже в бессознательном состоянии. По-видимому, у нее был тиф. Обратились с жалобой в Синод. Победоносцев замял дело. Колодезь был доходной статьей монастыря. Богомольцы тысячами стекались в Пустынь, чтобы искупаться в нем. О целебной силе его и чудесных случаях исцеления от всяких болезней ходили бесчисленные рассказы "очевидцев" и раздавались в Пустыни книжки. Опорочить его — значило погубить монастырь. Сестра Анна и стала жертвой этого источника монастырского существования. Все были охвачены возмущением. Бессилие перед властью, покрывавшею вопиющее дело, было оскорбительно и унизительно, но средств борьбы и защиты не было, и дело заглохло. Курбатов — родственник семьи Львовых, недалекий, но воинственный старичок — дошел до того, что, собирая улики, производил химический анализ воды святого колодца и серьезно утверждал, что по анализу никакой святости в ней не оказалось.

Сестра Саша — старшая из всех сестер — была на положении главы семейства за старостью матери, у которой болели ноги, она едва ходила, ее водили под руки. После смерти матери она поступила на службу сперва начальницей гимназии в Пензе, а потом начальницей Николаевского института в Москве. Младшую — Елизавету я не очень долюбливал за ее, как мне казалось, высокомерное отношение ко мне и покровительственный, иронический тон. Она называла меня почему-то сыроежкой и подтрунивала надо мной, как над мальчишкой. Она имела несчастье влюбиться в кучера Ивана, уехала с ним на Юг, жила долго в Одессе, потом в Киеве. Хотела жить независимо и самостоятельно литературным трудом, писала, но неудачно, затевала коммерческие предприятия, хозяйство и садоводство и прогорала. Сестрам приходилось постоянно выручать ее и оплачивать ее долги. Они мучились за нее и много лет скрывали ее положение. Она всех их пережила, и я видел ее в Киеве во время войны уже ста-

рой старухой, больной с больным стариком мужем — Ваничкой, бывшим русым красавцем, с которым она обвенчалась уже на старости лет. Детей у них не было.

VI

Московский родственный круг наш дал и положительные и отрицательные жизненные образцы. Постепенно с ними вырастало представление о сложности жизни, предстоящих трудностях в ней, необходимости борьбы, труда и достижений и опасности отстать от людей при недостаточности развития. Илюша Мосолов, двоюродные сестры, племянницы Волковы были много впереди. Они поражали своими знаниями в литературе, истории, музыке и общим развитием и просто разговорами, захватывавшими темы, совсем мне незнакомые.

Между тем гимназия отнимала все силы и все время, читать было некогда. И в третьем и особенно в шестом классе я застрял исключительно от того, что стал читать, отнимая время от приготовления всегда непосильных уроков. Латинская и греческая грамматики прекрасно исполняли задание толстовской программы. Всякая попытка выбиться из-под их гнета жестоко наказывалась. Зачитал в 3-м классе, провалился на экзаменах, потерял год, добрался до 6-го класса почти без чтения, в 6-м не вытерпел, зачитал запоем русских классиков и провалился, потерял другой, но к этому времени у учеников и некоторых учителей выработались методы обходного движения против натиска классической программы, которыми достигались и формальное удовлетворение ее требований и удовлетворение духовных запросов юношества.

Средняя молодежь, протестовавшая в душе против “классического” гнета, выбиралась на жизненную дорогу, первые же ученики, ретивые и пунктуальные исполнители толстовской программы, были настоящими ее жертвами. Тут же на глазах, в гимназии, они превращались в будущих образцовых чиновников. Выслуживались перед учителями и обращались в сухостой, не годный на дело. Все живое в них вытравливалось. Беда усугублялась еще провалами на переходных экзаменах.

Оба мы с трудом одолевали древние языки, т. е. не языки, а их грамматики, проваливались на экзаменах, и надо было держать переэкзаменовки осенью. Это было одно отчаяние. Все лето отравлялось. Вместо свободы и отдыха — репетиторы и уроки. Это было какое-то преследование, и в Поповке не уйдешь от них, да и самую Поповку они портили. Первое лето был репетитором Тарабаника — хохол, добродушный и ленивый, второе Цветков — Александр Евгеньевич, третье чех, не помню фамилию, четвертое Гиппиус, впоследствии небезызвестный детский врач в Москве. Один Цветков по-человечески понял, что мучить нас лето грамматиками нелепо, все же остальные репетиторы мучили нас не за страх, а за совесть, не считаясь ни с чем. Цветков был один из любимых студентов Цингера, профессора математики и ботаники. Цингер поручил своим студентам, где бы они ни были за это лето, собирать гербарии. Цветков увлекся этой задачей и привлек к делу нас. Отец как ботаник очень поощрял это. В поисках редких растений делали экскурсии, одну большую сделали на берега Оки. Это была чудесная прогулка, давшая блестящие результаты. Мы нашли близ Оки какие-то редкие растения, не соответствующие флоре средней полосы России. Цингер, когда Цветков привез ему наш гербарий, пришел в восторг и приезжал к папа́

благодарить за наши удачные находки. Мы были страшно горды.

Выход брата Сергея из гимназии и мое поступление в пансион Янчина ставили передо мною определенные задачи. Надо было заняться самообразованием, обойти препятствия, которые ставила этому гимназия, получить диплом, выполнить долг семейный, помочь брату и самому стать на ноги.

С шестого класса завязались и более близкие отношения с некоторыми из товарищей одноклассников. Образовался кружок, который не рассыпался и после гимназии, в университете: Трескин, Лопатин, два брата Олсуфьевы. Все они были в дружеских отношениях с Толстым, и так как моя семья издавна была знакома с Толстыми, то мне легко было присоединиться к ним. С Трескиным дружба началась еще раньше 6-го класса. Он жил с нами наискосок с угла на угол, на перекрестке Дурновского и Трубниковского переулка. Наш дом Юрьевой, потом Баумгартен, увековечен Поленовым, который тоже жил в нем, в его картине "Бабушкин сад". Старушка — это Юрьева, а ведет ее под руку замужняя дочь ее Баумгартен. Угловое окно — это окно моей комнаты. Другое окно мое выходило в Трубниковский переулок, и Трескин влезал всегда ко мне в комнату через это окно. Мы оба читали тогда "Войну и мир". Это был не только новый мир, это было объяснение всего окружающего прошлого и настоящего и будущего. Это было как толковое Евангелие — толковое бытописание. Изображение жизни в нем живее самой действительной жизни. К действительной надо подходить, разбираться в ней, постигать ее, а тут сама жизнь подходит к тебе, перед тобою, как сочный луг с пестрыми цветами, и так захватывает, что живешь ею целиком, всем существом; сердце ширится, бьется и слезы льются сильнее, чем в переживаниях своей собственной жизни. Несравненная художественность и правдивость творения Толстого сразу заполнила пробелы понимания жизни, задернутой пеленой всяких условностей и заглушенной творением другого Толстого, программой классической гимназии. Это был своего рода выход из душного помещения на вольный простор, в чистое поле, которое сходилось межа с межой со своим, поповским полем. Трескин был страстный любитель поэзии. Он знал наизусть чуть ли не всего Пушкина, Лермонтова, А. Толстого, Майкова, Фета, Хомякова, Тютчева и т. д. Память у него была изумительная. Он был в гимназии на плохом счету, учился плохо, но его выручала память. Был необыкновенно жизнерадостен и вместе с тем легкомыслен, но мне он давал много своей живостью, увлечениями и своей искренней дружбой ко мне. Я был конфидентом всех его увлечений и романов. После университета я с ним переписывался, но виделся только два—три раза. Судьба занесла его на службу в Прибалтийский край, где он женился, и только во время войны добился перевода своего в Москву, куда прибыл уже с большой семьей.

Дольше всех длились близкие отношения с Лопатиным. Мы служили вместе в Туле, в Москве, а затем, хотя пути наши разошлись, мы жили и работали одновременно в Москве и часто видались. Семья Лопатиных принадлежала к высшей московской интеллектуальной среде, жившей традициями 60-х годов, проникнутой духом эпохи освободительных реформ Александра II. Дом Лопатиных был типичным выразителем уклада московской жизни второй половины 19 века в ее прогрессивном и либеральном течении. Старик Михаил Николаевич, председатель Московской судебной палаты, уважаемый и маститый представитель судебного ведомства лучших его времен, сумел создать в своем доме уют всему, что было в Москве передового в

области научной, литературно-художественной и философской. По средам здесь можно было встретить — Писемского, Шеншина-Фета, Юрьева, Грота, Соловьева, Ключевского, Огнева, братьев Трубецких, Иванцова и других профессоров, артистов, певцов и пр. Тут же молодежь Поливановской гимназии, товарищи братьев Лопатиных. Едва ли в Москве можно было найти второй дом, в котором можно было провести время так поучительно, интересно и весело. Горячие споры, музыка, пенье русских народных песен, философские дебаты, исторические рассказы всю ночь до утра. Расходились, когда было уже светло. Вся Москва знала маленький особняк Лопатиных в стиле ампир в Гагаринском переулке, один из немногих уцелевших от пожара 12-го года, с колоннами и фронтоном, с каменным крыльцом, несоразмерно большим, и крошечным палисадником. Фотография его была помещена в художественном издании И. Грабаря. Внутри дома сохранились прекрасные карнизы в зале, камин ампир в кабинете Михаила Николаевича и разрисованный потолок в столовой, которая, как говорили, служила когда-то масонской ложей. В малюсеньких комнатах в мезонине помещались братья: Лев Михайлович, профессор философии, Николай Михайлович, служивший податным инспектором, который вместе с Прокуниным и Лавровым собрали и издали сборник старинных русских песен, и мой Володя. Он больше всех братьев напоминал отца добродушным юмором, добрым сердцем, складом ума. Талантливый актер, он не пошел на сцену против воли родителей и удовлетворился любительскими спектаклями, но и этими редкими выступлениями на сцене успел приобрести известность в театральном мире. Он считался творцом третьего мужика в "Плодах просвещения". Когда ставили первый раз "Плоды просвещения" в Ясной Поляне, он своей игрой восхи-

тил Льва Николаевича, который переделал третьего мужика соответственно тому, как его изобразил Владимир Михайлович на репетициях. Уже после смерти родителей он поступил на сцену Художественного театра, заступив на ней место умершего первоклассного артиста Артема.

Там, наверху, была своя, профессорского, студенческого типа, жизнь. Всегда шумно от споров, криков, хохота, густо и табачно. Спать ложились, наспорившись и накричавшись под утро, поэтому вставали поздно, во второй половине дня, и после обеда отдыхали. Нередко приходили наверх гости после 12 часов ночи, и это не считалось поздно.

Внизу жили старики с дочерью Екатериной Михайловной, младшей в семье. Высокого роста, в очках, тихо плавала по дому старушка Екатерина Львовна, всегда приветливая, радушная и сберегавшая тишину в доме, пока выспятся не в урочные часы сыновья. Она наслаждалась и радовалась их жизнью, для них все — и день превратить в ночь и ночь в день — было радостью, дети были ее гордостью и счастьем. В доме царила духовная культура и патриархальная простота и семейная любовь. Екатерина Михайловна всегда в мужской компании братьев и товарищей их профессоров, ученых, литераторов, артистов с детства напитывалась культурными интересами в живом, непосредственном общении с ними. Влияние их сказалось на ней как-то скученно. Она была в равной степени насыщена всеми интересами, которыми был полон дом, и отношение ко всему было у нее равно повышенное — и восторгалась, и ужасалась, и восхищалась, и возмущалась, где было нужно, в одинаковой степени, как-то от интеллекта больше, чем от души; она была больше Лопатиной, чем Екатериной Михайловной. Все было заполнено извне настолько полно, что своему личному оставалось мало мес-

та, и потребность проявления личности получала совершенно неожиданные, несоответственные лопатинскому стилю формы. То она увлекалась ружейной охотой, то верховой ездой, то выводкой породистых собак, то литературной работой, то религиозными вопросами, то учением мормонов, то католицизмом, то соединением церквей. Личная жизнь ее сложилась поэтому довольно пестрой, с перескоками, но она выявила в ней родовые лопатинские черты. Оставшись в девушках, после смерти старшего брата своего (он умер душевнобольным) она поступила в общину сестер, посвятивших себя уходу за душевнобольными, и много потрудилась в этой области. Работа ее типично интеллигентная, при полном отсутствии практических жизненных знаний и опыта, была проникнута идейностью, принципиальностью, упорством в достижении целей, культурностью и добротой. Неоднократно в жизни приходилось мне помогать ей в разных обстоятельствах. С деловой точки зрения всегда трудно было понять, что, в сущности, нужно и для чего, но всегда была полная уверенность в благих целях, в добрых побуждениях. Явная личность общекультурного лопатинского духа всегда говорила за дело больше ее деловых аргументов. Совершенно в ином роде была семья Олсуфьевых.

Графиня Анна Михаловна, типичная bas bleu [1], говорила с увлечением о французской революции, о Луи Блане, разыгрывала роль хозяйки политического салона, которого у ней не было. Она жила в высших сферах и, как говорила, владела абстрактом. Муж ее, Адам Васильевич, прекрасный человек, был далек от этих интересов. С серьгой в ухе, как и все Олсуфьевы, и постоянным посвистыванием, он производил впечатление постороннего человека в доме. Главою в доме

[1] "Синий чулок" (фр.).

была графиня, а руководил ею и жизнью в доме доктор Дубров Илларион, прекрасный, как говорили, человек, ставший жертвой исполнения своего врачебного долга. Он заразился дифтеритным ядом. Тогда еще не знали прививок Пастера — и, спасая больного ребенка, он высосал у него трубочкой дифтеритные пленки.

Двое сыновей, оба мои одноклассники, и дочь Лиза привлекали своим добродушием, особенно старший Михаил. Сестра Лиза, прелестная, простая, умная и веселая, умерла очень молодой, когда мы только что стали бывать у них в доме. Дом Олсуфьевых давал мне больше развлечения, чем духовной пищи. У них были свои верховые крымские лошади, и мы катались верхом все вместе в окрестностях Москвы, делали большие прогулки, а по вечерам собирались у них и играли в карты, которых я терпеть не мог, не мог выучиться играть, а принимал участие в игре только, чтобы провести с товарищами вечер. С окончанием университета моя связь с ними почти прервалась, хотя и встречались в Москве со старшим Михаилом на губернских земских собраниях — он был Предводителем дворянства Дмитровского уезда Московской губернии, с младшим Димитрием сначала на земском поприще, он был председателем Саратовской губернской земской управы очень краткое время, а затем был членом Государственного Совета по выборам. Но общественные и политические пути наши оказались различного направления. При постоянных приливах и отливах моря людского волна прибивала в гимназическую заводь немало житейской пены и грязи, но ярко отрицательные элементы держались в ней недолго, их приносило, точно напоказ, и уносило обратно. Я счастливо миновал соприкосновения с ними, до конца я считался малышом, меня звали "Цыцка", и даже сами обладатели грязи житейской сбе-

регали меня от нее, считая меня еще недостаточно зрелым, чтобы посвящать меня в их тайные познания.

Разнообразного жизненного материала набиралось все больше и больше. Соответственно расширялось и жизнепонимание. Оно складывалось и росло уже не на одной только поповской почве. Жизнь сеяла семена, которых в поповских закромах и в заводе не было. Вместо одного поповского поля появилось многополье. Однако того, что было засеяно Поповкой, они не заглушали. Напротив. Каждую весну после экзаменов мы ездили на лето в деревню, набирались там свежего духу от земли и перегоняли в нем набранное в Москве. Озимый урожай московского поля каждое лето пропускался в поповские веялки и сортировки и получал отделку заподлицо с поповским. Но московское поле давало хлеб, вроде как с арендной земли, в нем не было того якоря, что был в хлебе со своего поля.

Богатый мужик, кряжистый хлебороб Патрикей Иванов села Ивлева Богородицкого уезда, которому я продал нашу землю там, убирал своей семьей, а семья у него была 24 человека, более 200 десятин арендной земли, арендовал у нас землю, и каждый год, возобновляя аренду, говаривал: "Нет моей охоты рентовую землю пахать, будя рентовать, продавали бы в вечность. Чужой хлеб веять только глаза сорить. Сколько ни перегоняй его, все равно до своего не дойдет. Амбар завозишь, а в один закром со своим не ссыпешь". Так и я, амбар свой завозил, но в один закром не ссыпал, рентовую московскую рожь со своей поповской не мешал. Свое зерно якорное берег в отдельном закроме, а которое со стороны — безъякорное, не то взойдет, не то невсхожим окажется — ссыпал особо.

Словом, жизнь ткала свою ткань. Челнок усиленно бегал со стороны на сторону, то в Москву, то в Поповку. В набивку шел самый разнообразный материал, но

основа не менялась. Каникулы в Поповке из года в год приближали к действительной жизни, к хозяйству, к мужику. В гимназические годы, т. е. за время пребывания в Москве, Поповка переживала смертельный хозяйственный кризис. С закрытием винокуренного завода был распродан скот, уменьшилось количество навоза, поля отощали и все пошло книзу. Лошадей не хватало, и они были плохи, инвентарь без ремонта истрепался, его не хватало. Хозяйство вели управляющие наемники со стороны — пьяницы, тунеядцы и воры.

Сочувственная критика мужиков в постоянных разговорах с ними насчет упадка хозяйства западала в душу как упрек личной несостоятельности и раскрывала глаза на суть вещей. Началась критика и более вдумчивое отношение к окружающему. Трудности и стесненности, которые испытывали родители, придавали всему серьезное и деловое освещение. Все принимало постепенно новое значение и новую ценность — деловую, и люди и дела начали получать оценки по их хозяйственности и трудолюбию. "Без хозяина и дом сирота", "дом яма, гляди прямо", "дом не велик, а сидеть не велит" — все эти хозяйственные поговорки доводили до самой деревенской сути. Земля и труд сливались в одно представление.

Вся красота и прелесть, воспринимаемые от природы и земли, непосредственно получали новый добавочный смысл в их связи с трудом, когда стало ясно, что поля, луга и леса и все от них живущее требуют неустанного труда. Каков этот труд, знают только те, кто живет от земли, ею одною, кто в прямом смысле слова кормится от нее. Только те, кто сбирает собственными руками хлеб, знают, что такое в поте лица добывать его. Что труд их есть основной труд, которым кормятся все люди, что земля есть общая кормилица всех — кто ее пашет и кто ее не пашет, знают все, но непосред-

ственно чувствуют это только те, кто ее своими руками ворочает, поэтому-то в них и живет сознание, что земля "по-Божески" должна принадлежать только тем, кто ее действительно ворочает, балует и выхаживает ее своими руками, а которые на ней блажничают, от тех она все равно отойдет не нынче, завтра, потому она "не к рукам" у них.

Город знает теоретически, что земля тяжела, но не знает практически, что это за труд и что такое земледелие. Везде земля тяжела, а у нас в России климат, пространство, социальное положение делают земледельческий труд особенно тяжелым.

Едва ли в какой-либо другой стране земледельцы знают такой труд, как русские. Да и не только рядовые земледельцы, но и колонисты на новых диких землях, труд которых превышает обычные нормы, и те не сравняются с рядовым русским мужиком. Я видел жизнь земледельца в Европе, в Америке, Японии, Маньчжурии, колониста в Канаде, в канадской тайге, знаю работу русского мужика во всех частях Европейской России, Западной Сибири и на Дальнем Востоке, и впечатления юных лет и последующие в ближайшем соприкосновении с мужицкой работой и в личном участии в ней говорят одно: такой тяжелой работы, как у нас, нигде нет. Лучше всего изображена она в былине о Микуле Селяниновиче. Размеры поля, богатырские ухватки и приемы работы, весь облик этого мужицкого родоначальника пахаря, ратайратаюшко, являют живые и до сих пор основные черты мужицкой работы во всех ее видах, ее масштаб и спорость при степенности и неторопливости.

Я знавал таких Микул, которые обрабатывали по 200 и 300 десятин земли одной своей семьей. Что это за работа, какие нужны для нее силы, выносливость и терпение, можно представить себе, только проследив ее шаг за шагом, тогда только и поймешь, как вращи-

вает она мужика в землю. Всеми корнями своими сидит он в ней, вся жизнь его неразрывна с нею, на ней вырос весь мужицкий быт, выработался характер, сложился весь склад и дух русского народа. Пашенная борозда — его жизненной путь от люльки и до гроба. Ни у одного народа нет былины, подобной Микуле Селяниновичу, нет и нашей "страдной" поры. Проникнутая всеобщим сознанием, что день год кормит, страда наша могуча и красива своим высшим напряжением сил, своим масштабом Микулы, но, в сущности, весь год наполнен такой же работой, только врастяжку, и всякая работа, за какую ни возьмись, характером своим напоминает работу Микулы.

Жил у нас лет пятнадцать работник Янатка (Ананий) — работал он, как охотник стреляет дичь без прицела "со вскидки". Всякая снасть в его руках приобретала какую-то легкость. За ним было наблюдение запряжки лошадей у поденных, чтобы хомуты и сиделки не набивали плеч, спин, — так у него дуга сама как-то вспрыгивала в гужи, и засупонивал он без помощи ноги, точно закидывал аркан на клеши хомута. У кого что не ладилось, подойдет, возьмет в руки соху ли, косу — все идет у него ладно. И лошадь у него работает не как у других. Люди кнутом, а он с ней разговором оборачивается, у людей лошадь намучается в работе, вся потная, у него сухая. Когда он шел передом на покос, вся артель из сил выбивалась, догоняя его, у всех спины белые от соли потной, а у него сухая. "Янатто, гляди, словно кашу ест, чтобы ему подеялось" — трунили над ним и над собою задние ряды. Как настоящий Микула, он шел не торопясь, степенно, а за ним не угнаться никак. Стога мечут — вершить без Янатки никогда не завершат как следует. Он вскидывал шапку наверх, точно вправду себе на голову шапку надевает, так и ляжет куда надо, покроет макушку.

В уборку хлеба всегда удивляет, как громадные волнующиеся поля невидимо ложатся в ряды и встают в копны. Редко, кое-где, рассыпаны копны, кое-где виднеются согнутые бабы, пройдет неделя, и уже возят, и как возят, когда управляются с возкой тоже незаметно, а на задворках, глядь, выросли новые слободы скирдов. Работают не по 8 часов в день, а по 20, не днями, а сутками. Когда бывала неуправка из-за погоды или недостатка рук, у нас брались за двойную плату по ночам. Васька Хромов и Антон Хохол кашивали овес и гречиху по две десятины в сутки — днем десятину, а ночью другую, передохнут полдня и опять за сутки по 2 смахнут. Наберется таких Микул человек 5—10, и не видно, когда кто поле убрал. Да не только в полевой работе, и во всякой, вглядишься, увидишь микулинские черты. Грабари калужские и смоленские — заурядные — выкидывают по кубику в день тяжелой глины. Полевая работа перемежается, нынче пашня, завтра покос, там уборка хлеба, молотьбы, а грабарь без перемежки от вешнего Николы до Покрова знает одну лопату да тачку. Здесь нужна громадная втяжка, нужны и особые харчи. Кто кубик выкидывает, тому надо в день полтора фунта сала свиного, круп полфунта, хлеба до отвала, а кто есть не может столько, "не съедобен", тот и не выкидает кубика. "Что полопаешь, то и потопаешь". Без свинины копачи, резчики, пильщики, кирпичники не работники. Люди превращаются на этих работах в паровые машины, сколько нагонят пара, столько и подымают.

К нам приходил из года в год копач рядчик Семен Трошин села Плохина Калужской губернии, знаменитой грабарями на всю Россию — они работали на всех линиях железных дорог. Он ходил сам-четвёрт со своими тремя сыновьями и брал подряды как раз по силам своей семейной артели. Они съедали по 10 фунтов свинины в день и выкидывали вчетвером до 5 кубов в день, за лето зарабатывали чистыми до 3000 рублей. Иван Сафонов выбивал кирпича чекмарем, как он говорил, в пропорцию по харчам и доводил до 1200 кирпичей в день: кто больше съест свинины, тот и кирпича выставит больше. Поначалу такую порцию не выбьешь и харча соответственное количество не съешь. После зимы сразу кишка не примет, а исподволь надо въедаться. "Харчи работу загоняют, без харча позаришься на нее, она тебя и съест", "и лошадь везет не кнутом, а овсом". Втянувшиеся на хороших харчах работники работают всегда споро, красиво, чисто, из-под рук у них наработанное выходит все нарядным, отчетливым, у каждого своя рука в изделии видна, и по руке в изделии можно узнать, чья работа, как в художественном произведении. Работают так, чтобы каждое движение к делу шло, время и сила не пропадали бы даром. Сноровка и ухватка особенно ценны в крупной работе, где силы много надо, тут если "шалтай-болтай" да рука неметкая, то живо прохарчишься. Оттого микулинская работа и художественно красива.

Зимой, когда в глубоком снегу резчики валяют лес, работа производит, может быть, еще большее впечатление богатырской, чем летом на поле. Белые березы, покрытые инеем, дрожат, клонятся под пилой и топором, ухают на землю и ложатся покорно в ряд, как трава под косой. Лес валить, как землю выкидывать, работа затяжная. На морозе резчики в одних рубахах, мокрые от пота, как на покосе под жарким солнцем. Иван Иванович Подолинский с Самойлой выгоняли в день по кубику березовых дров. Свалить с корня, очистить, распилить, наколоть и поставить кубик березовых дров в шкалики и ряды считается предельным уроком, и немногие на это способны, но настоящие резчики делают это играючи, пила звенит, как коса жужжит,

топоры тяпают — музыка в лесу и на постати; у хороших резчиков саженки выстраиваются, как копны на поле. Тут не в руках одних только дело, не в харчах, а в знании и сметке. К каждому дереву надо подойти умеючи, и свалить, и разделать его знаючи, иначе проковыряешься над ним, запутаешь его с соседними, заплетешь его ветками и хворостом, и время зря пройдет.

Еще труднее валка сплавного леса, выборочная, вывозка его по лесу иную зиму по снегу в два—три аршина глубины, без дороги, промеж дерев к берегу сплавной речки, вязка его березовыми вицами, сплотка на воде и самый сплав. Я видел такую же работу в Канаде, там пилы работают от мотора, подымают дерева блоками, а у нас с рогачами в руках и с своеобразными приемами Микулы ухитряются парой за зиму вывести до 2000 дерев и сплавить их полой водой за тысячи верст. Плотовщики все один к одному — "ухари", потому что управка с плотом действительно требует держать ухо востро. Здесь имеешь дело с другими стихиями — с лесом и водою, и там и тут работа требует необычайного напряжения сил, весь аллюр и масштабы ее микулинские.

А извоз? Всероссийский зимний труд, до последних лет конкурирующий с железными дорогами на тысячеверстных расстояниях. Я знал в Сибири 80-летнего татарина Кармшакова, который всю жизнь свою, каждую зиму делал по нескольку раз концы от Ирбита и Кяхты до Москвы. Он рассказывал, что это такое. Шли безостановочно день и ночь, суток до сорока, привалы только для кормежки лошадей. Лошади на привале ложились и спали так, что по ним ходили, заготовляли корм, они не слышат; как отойдут, сей час в запряжку, люди жили по лошадям, что лошадь выдерживает, то и человек, только что не везет, но зато за ним углядка за возом, выправка на ухабах, уборка и корм лошадей. Сорок дней и сорок ночей в пути, не

раздеваясь, в морозы, в метели, с короткими стоянками в курницах, где спать ложились на час, на два, вповалку, как их лошади, — выдерживать такую работу поистине надо быть богатырем.

Да и в Средней России у нас извоз не легкая работа, только что концы короче. Зенинские мужики, от Поповки в 8 верстах, испокон веку занимались извозом леса из калужских засек, с пристаней Оки в Тулу, это всего 60—80 верст, но они оборачивали до трех раз в неделю. Им путь лежал через Поповку. Они всегда проезжали мимо нашего дома большим обозом в тридцать—сорок лошадей с громадными деревами, которые лежали концами на подсанках, всегда с песнями, и казалось, работа обыкновенная, и говорили, что зарабатывают они очень хорошо и живут заживно. "Ну как,— спрашиваю приятеля Михалева,— нынче извоз, здорово выручились?" "Да, здорово,— говорит, показывая свои руки, пальцы у него, как толстые палки,— вот оттащишь раз-другой завертки в руках, так узнаешь, как здорово". Он был, как индеец, бронзовый от морозных ветров, и голос у него был, как из бочки, от вечного крика на лошадей. У него ходило в упряжке пять лошадей, надо было сдружить их и сладить так, чтобы одному управляться с ними. Лошади у извозчиков так свыкались со своим чередом, что сами не давали обойти одна другую, закладывали уши и, оскалив зубы, кидались на пытавшихся перегнать. Они шли, как в строю, как журавли в веренице, а передовая в обозе командовала, устанавливала темп шага и стоянки. Возчики сживались с лошадьми и жили по-лошадиному. Вся жизнь из лета в зиму с ними денно и нощно, и любят они их, как Микула кобылку свою соловую, и гордятся каждый своей, как он.

И домашняя жизнь у печки, у двора такая же, с теми же чертами. Бабы ночи сидят за прядевом и хол-

стами, вздувают огонь в печи до свету, к скотине выходят по нескольку раз за ночь, спят только ребятишки, а хозяева, что называется спят-не спят, ночь коротают. Летом в ночном, а зимою за скотом, двором да гумном. А которые в промыслы ходят, так у тех за правило ночь только со вторых петухов до света. Ночные часы нагоняют потраченное время на проходку от места до нового места работы. Валяльщики валенок валяют, на катеринке шерсть бьют всю ночь напролет, чтобы волна готова была к утру, к затопу печки, а сапог вываливается днем, чтобы готов был к вечеру в печку, когда начисто выгребут ее. На лесных промыслах у санников, обечайников[1], кадушечников всегдашнее положение — до петухов, либо зимнюю ночь на летнюю поворачивать, либо с вечера до света при кострах работают. Кустари, что дома работают, на сторону не ходят, у них легче, но и они тоже захватывают ночи. Особенно мало спят бабы. У них отношение к ночи такое, как будто она им только помеха. Только прикорнут и опять вскакивают, прямо удивительно, как легко обходятся они без сна.

Вообще, ночи с регулярным сном деревня не знает. Она всегда с перерывами, всегда сокращенная, или ее вовсе нет, как в извозе, либо в полевой страде. Тот же микулинский характер работы и у баб, не хуже мужиков. Бабья работа бывает еще затяжнее мужицкой. Когда рожь хороша, "не в прорез", жнут до запала, иная баба до пяти копен в день нажинает. Лукерья, садовница наша, такая же, как Янатка, на все работы ухватистая, жинала вдвоем с Федосьей Пармёновой в двое суток десятину, по двадцать копен ставили снопы не в обхват, да еще выжидали, когда роса сойдет, у них не было и по 20 часов в сутки, руками время нагоняли.

---

[1] Изготавливающий обечайки — ободы из дранки.

Есть деревни и целые волости, где все полевые работы на бабах. Где мужики, как штукатуры и каменщики, работа которых требует теплого времени и идет в городах с ранней весны до Покрова, там все работы остаются на одних бабах — они и пашут, и косят, и убирают и в то же время в доме с лошадьми, скотом и с печкой управляются. Многие из них заправские Микулихи, да они еще скопидомы и вносят в свою работу особый отпечаток домовитости и аккуратности. Бабы вообще в деревне служат за сберегательные кассы. У них сундуки, холсты, в холстах деньги закатывают, они добро берегут. У богатых мужиков они за банкиров служат. Патрикей Иванович Богородицкий, что у меня землю купил, деньги платил мне бабьими руками: "Ну-ка, Марья, подай банку", и Марья, старшая баба в доме, что заведовала печкой, выдвинула в загнетке кирпич и из долбленого белого камня, что был вделан в ней, вынула серии и подала старику. "У нас дома своя банка, к своим рукам поближе, надежнее; городские банки, послышишь, тут лопнули, там лопнули, а почему, потому деньги липкие, в чужих руках им никак находиться невозможно, а своя банка в своих руках. У печки постоянно свои люди без отхода. Ежели греху быть, так живем по милости Господней. Деньги — голуби — нынче на одной крыше, а завтра, глядь, на другую сели. Это все по воле Божьей".

Есть деревни, в которых на обороте все бабы уходят на сторону на полевые работы от Пасхи и до Покрова, оставляя на мужиков всю домашнюю работу. В Белевском уезде Тульской губернии целая волость Манаенская отправляет баб на батрачество. Вся Средняя Россия знает манаенок. Они известны также, как специалисты по лычному делу. Это своеобразный лесной бабий промысел. Манаенки монополисты его, у них нет конкурентов. Работа эта непродолжительная,

начинается с Петровского поста, с покосного времени, когда молодая липа в полном соку, и кончается, как сок перестанет играть, потому-то работа эта спешная, горячая и тяжелая. У нас в Поповке много раз драли лыко. Приход манаенок бывал большим событием. Артель баб в 30 — 40 человек, здоровенных, как на подбор, производила всегда сильное впечатление. От села Манаенки до нас, верст пятьдесят, они шли пешком, все время с песнями. Издали слышно бывало, когда подходили, "словно ветер поднимается", шутили наши бабы. И правда, что-то мощное слышалось в этом громадном бабьем хоре полевых напевов. "Ну и бабы, как лошадье, ноги-то, ноги какие, глянь на ноги-то". И действительно, обутые в лапти тонкого плетения, ноги у них были непомерно толстые от навернутых в несколько ряднин онуч. Такая обувка была у них модой и подходила как-то к осанке рабочей силы, выражая особую солидность и статность.

Под Лебедянью, где бабы тоже за мужиков работают, такая же мода. В праздник, когда они наряжались в белые широкие шушуны, в платки, своеобразно повязанные на голову, и навертывали на ноги белые онучи или надевали белые шерстяные толстенные чулки, и ноги у них получались, как столпы, они вызывали удивление и неизменные восклицания: "Ну уж и бабы, и впрямь лошадье". Манаенки раскидывали в лесу табор шалашей из липовых веток, разбивали лес на постати и управлялись с лыком, как с хлебом в поле. Весь инструмент их — маленький, легкий топорик, кочедык, которым лапти плетут, и зубы. Работа их артистическая и отчетливая, как бывает на совершенных машинах, из которых выскакивают готовые винты или папиросы. Подсекут под корень, очистят, зубами развернут лубок, кочедыком распорят, и белая лутошка летит в одну сторону, а лыко в другую, все это делается мигом, спорость достигается необычная. Вяжут лыки в сотенные, полусотенные и четвертные пуки, вытаскивают их на плечах на поляны, принимают счетом по биркам, расстилают для сушки на солнце и вновь, по просушке, вяжут в пуки, сортируя и окатывая пуки нарядным лыком, "наличманивая" их и складывают в скирды-ометы. Работа жаркая, бабы одна перед одной загоняют выборку, почти что бегут по лесу и вычистят его так, что после них ни одного лычка не найдешь. Порезать и вытаскать сотню пуков в день незабракованного лыка — работа очень тяжелая. Манаенки харчатся, как копачи, и мужики за ними в этой работе не уганиваются. Особая бабья сноровка в работе здесь подходящее мужицкой, производительнее. На вид будто она и легкая, как, впрочем, всякая спорая работа кажется легкой, но на самом деле она такая же богатырская, как и Микулова пашня.

Рабочий облик каждого народа вырабатывается веками и, естественно, служит выражением его характера и всей его жизни. Американская, европейская, русская, китайская — каждая работа типична. Как в народной песне, в одежде, в говоре, в ней выражен дух народа. Когда посмотришь, как китаец сеет свое поле гаоляна, выпуская из дудочки по одному зернышку, как он ведет на вершок глубины и ширины свою пашенную борозду, как тешет, словно ложечкой скоблит, дерево, как носят они на коромыслах в двух корзиночках землю и бегают с ними, суетятся, как муравьи, как возят грузы на двухколесных арбах, запряженных зараз лошадью, коровой, мулом, ослом. Иной раз в запряжке штук двенадцать и все еле-еле тянут, чуть не врозь, или как китаянки с козьими ножками, еле переступая, ходят по маковому полю, обирая червей, и сопоставишь их с нашими Микулами и Микулихами, то и почуешь разницу духа народов. Работою их вывесишь,

как на весах. Трудовая гиря самая верная для такого взвешивания.

Как считаю я за счастье для себя, что детство мое протекло в Поповке на земле, в условиях, созданных отцом, так за счастье считаю и то, что с юных лет та же Поповка дала мне в руки трудовую гирю для развески людей и их дел. С ранних лет, прикоснувшись к мужицкой деревенской жизни, я стал понимать, что такое трудолюбие, и привык уважать труд. Никогда в городе так воочию не увидишь, как труд ставит людей на ноги, подымает их достоинство, дает им независимость, устойчивость и всеобщее уважение. Мужицкий труд на виду, и результаты его всем видны. Трудящийся хозяйственный мужик пользуется гораздо большим уважением в деревне, чем нетрудящийся фабричный рабочий или даже интеллигент в городе. То, что называется в деревне "кредитный мужик", заключает в себе понятие не только материального, но и духовного содержания. Добрый хозяин пользуется уважением не за благосостояние только, а и за трудолюбие. Труд неразрывно связан с авторитетом. В общем, крестьянство несомненно трудолюбиво, оно не боится труда и никогда не жалуется на него. Жалуется оно на бедность, на малоземелье, а не на труд. Он жаден на землю, жаден и на труд. Земля без труда, своеручной работы на ней в его представлении не живет. Удельный вес мужика измеряется тем, кто сколько одолевает земли. Из века в век он зависит от нее и собственного труда на ней и ни на что больше не надеется, ни на что не уповает. Даже Господь Бог, и тот в мужицком реализме подчиняется труду. "Земля родить не хочет, унавожу — захочет. Навоз сильнее Бога". Этой психологией, глубоким сознанием своей зависимости исключительно от земли и своего труда и крепок мужик.

Поместное дворянство — помещики, земельные собственники оттого и не справились со своим положением после отмены крепостного права, что жили века чужим трудом. "Они только за обжи сошку вокруг вертели, а от земли сошки поднять не могли". Как взвесишь трудовою гирею какого-нибудь "столбового" Исакова и рядового Патрикея Старцева, так стрелка и покажет, всю историю разъяснит. Положить на одну чашку весов Патрикея, а на другую — всех наших соседей помещиков, они так кверху и вскочат. Да не только Патрикея, а любой Семен Трошин — копач, любая баба Микулиха перетянет их.

За тот же период времени, как дворянство в массе успело оскудеть, обнищать и сойти на нет, крестьянство успело стать на ноги и значительно окрепнуть, несмотря на то, что все время продержали его в черном теле. 20 лет после 61-го года крестьяне оставались временнообязанными своим помещикам, несли оброк и барщину, затем перешли на выкуп, платили выкупные казне так же, как и оброк помещикам, за круговой порукой, платежи были высокие, земля по ценности и доходности своей была значительно ниже ее действительности, чем сколько за нее приходилось платить. Несли государству задаром службу полицейско-финансового управления, обязанности, выполняемые государственными установлениями, полицией, органами государственной казны, местными властями. Оно не пользовалось при этом и той степенью самостоятельности, которая необходима для самоуправления. Управление это было в сильнейшей степени подчинено властям, с 90-го года получившим в лице земских начальников особо сильное влияние на все дела крестьянского управления.

Личность крестьянина была умалена, принижена, ограничена в своих правах, не была подчинена общему суду и закону, не пользовалась правами личной свобо-

ды, ее не уравняли с лицами других сословий. Так и жили мужики особым своим миром в исключительном положении. Не создали им прочного юридического положения, окончательной свободы они так и не получили, и тем не менее крестьянство в массе своей преодолевало все трудности, сумело расширить приложение своего труда в подсобных промыслах, в заработке по сторонам, пробираясь туда, куда ему были поставлены и законом и социальными условиями непроходимые препятствия, и в общем, в пределах своего надела, с ограниченными потребностями своего быта, жило, в сущности, в достатке.

Обиженные при наделе малоземельные миллионами переселялись на "вольные земли". Влекла их туда земельная стихия, и доставалась им там уже настоящая микуловщина. Изъездил я всю Сибирь, и Западную и Восточную, и знаю, что значит разделать целинную степь и превратить тайгу в пашню. Там не то что "сохой бороздки прометывать, коренья, каменья вывертывать", там вперед самую земельку-то под пашню расчистить надо, огнем-палом просвет сделать от леса, мошки да комара, пни, коренья, повыкорчевать, болота легкими своими повысушить, цингу, тиф перенести, тогда пахарем, хозяином заделаешься. Сибирь под силу только мужику, оттого-то, несмотря на ее богатства и приволье, несмотря на то, что правительство продавало там на самых льготных условиях дворянам свободные земли, ни одного случая переселения из дворянского сословия туда не было. Дворянство искало другое, что полегче.

Как на заре земли русской сила молодого Микулушки Селяниновича далеко превышала силы молодого Олега Святославича. Так и теперь сила коренной земщины, матерого крестьянства далеко превышает силу других сословий и разночинцев.

Глубокое негодование и чувство оскорбления за мужика охватило меня, когда впервые прочитал я стихи Некрасова: "Назови мне такую обитель — я такого угла не видал... где бы русский мужик не стонал... Волга! Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью народной залилась теперь наша земля! Где народ там и стон..." Я поздно познакомился с литературой печальников народного горя. Из-за латыни и греческого все некогда было. Познакомился тогда, когда хорошо уже был знаком с деревней, когда брат Сергей сменил уже учителей Поливановской гимназии на Иванов Рыжих, когда начались уже жизненные уроки.

Некрасов был в моде, его превозносили. "Назови мне такую обитель" декламировали, пели. Товарищи, Трескин и особенно Илюша Мосолов, читали их с пафосом, а меня они по сердцу резали. Никакого стона мужика я не слышал ни тогда, ни впоследствии, и мне казалось преступной ложью изображать народ стонущим от горя и скорби под тяжелым трудом. "В полном разгаре страда деревенская" изображается у Некрасова как горе — "мало слез, а горя реченька бездонная..." Эдакую-то красоту, да гордость, да радость да облить слезами. И от чего слезы, от того, что труд тяжелый. Да кто же в деревне на труд этот жалуется? Новинки покушать — самый счастливый день в году, поставить хлеб в старой квашне на старой закваске из новины — в каждой избе радость, как крестины в семье. В поле работают не стонут, хлеб жнут не плачут. Слезами жниц приветствовать, все равно, что Лутонюшко свадьбу встречал: "канун вам да ладан". Лукерья с Федосьей, бывало, на самом жнивье пляшут, серпами машут. "Бог хлебушка послал не в прорезь". Поди-ка попляши, коли на душе у тебя слезы. Верно, что руки зудят, болят, спина ноет, но не сердце. Отжавшись, со снопом домой

идут, песни играют величальные. Как лето встречают на Троицын день — венки завивают, так убравшись с поля, провожают его.

Жалуются не на труд, а на бедность, это другое дело. Бедность тяжела, ее в деревне немало, где ее нет? Но из нее выбиваются трудом, а не слезами. И впоследствии, когда я разобрался и понял, что Некрасов был не один, а была целая плеяда поэтов "гражданской скорби", вызванной политическими запросами современников, я все-таки не мог примириться с этим "нытьем", совсем не соответствующим духу крестьянства. В горячих спорах с товарищами доказывал, что они не знали народа, так же как не знают его поэты, народолюбцы и чиновники.

И действительно, не знали, да откуда узнать, когда врозь жили с ним. Подойдут к краю этого моря, поглядят — серо и дух тяжкий и отойдут, а чиновники — так те по бумажке, а на бумажке писарь волостной выводил, что ему нужно; статистику завели, так и та загибала, куда ей нужно было по политике, а где и хотели правду сказать, так до ней статистикой не доберешься. Где уж ей мужика учесть по описи, когда у него Марья-сноха банком в загнетке заведует. Патрикей Иванов зиму и лето ходил в большой шапке, никогда ее из рук не выпускал, в ней, говорили, весь капитал свой носил. Я спросил его однажды, правда ли это, а он смеючись говорит, потряхивая своей шапкой: "У меня все в сынах спрятано, я их шапкой крою, как под одной крышей, вот и выходит весь капитал мой тут". Вот и узнай его достатки. Жил, как и все прочие соседи, в двух связях кирпичных, ни в чем отлички не было, а пришли к нотариусу купчую на землю писать, а ему расплачиваться — распоясался и начал из себя тысячи вытаскивать-выкорчевывать, точно вросли они в него.

Томы цифр показывали многолошадных, однолошадных, безлошадных, по ним итоги подводили чиновники, какой у мужика достаток, а Семен Трошин, копач, говорил: "земля наша малая, на что мне лошадь, вот у меня лошади — и показывал на своих трех сыновей, сам-четвёрт с ними за табун выработаем". Писарь Колодезной волости Епифанского уезда на опросных листах, которые шли из губернии, а в них требовалось отметить число обеспеченных и необеспеченных, добросовестно отмечал "обеспеченных нет" и объяснял мне: "У нас, помилуй Бог, этого нет, народ исправно живет". Обеспеченными он называл тех, у кого не было печки, что называется ни кола, ни двора, бездомные. Волость исправная, а в губернское правление проходила она нищей, так и ехала нищей до Питера. По таким данным там и судили обо всей России. И вправду, диву можно было даться — все нищие, а как приналегнуть взыскивать, так все взыскивается, и в государственных росписях с удовольствием отмечалось, как мало недоимок. Печальники народные плачут, статистики свидетельствуют о хозяйственном упадке, а Питер опытом убеждается, что под прессом, выкупных ли, винной ли монополии или иной нагрузки, соки текут исправно, и давили. Соки действительно текли, но они не оборачивались обратно. Мужик как орудие производства в государственном хозяйстве не совершенствовался, самое ценное в стране — его трудоспособность не повышалась производительностью, и благосостояние его шло на убыль.

VII

Когда остался я в Москве в пансионе Янчина один, а родители с братом Сергеем и сестрой засели в Поповке, все, что переживали они там, переживалось и мною.

Но отдаленность моя от их жизни не только давала возможность, но невольно заставляла глубже вдумываться в нее. Я думал о ней в гимназической клетке, как в тюрьме думают о жизни на свободе. Многое становится яснее и понятнее, чем в непосредственном участии в жизненном процессе. Именно в это время я постиг все значение труда. Успехи брата Сергея по хозяйству разжигали во мне желание приложить руки к Поповке. Иваны Рыжие, Семены Трошины издали вырастали в идеалы. Поля, скотный двор, леса получили силу особого притяжения не только тем, чем были они милы в детстве, а тем, что с ними можно сделать. За латинскими и греческими уроками мечты уносились туда, и когда с накопленной за зиму жаждой я приезжал на каникулы в Поповку, я чувствовал прилив энергии и обидную отсталость. Брат уже втянулся в работу, захозяйствовал по-настоящему, не как барин, а как мужик. Вставал до солнца, ложился с солнцем и весь день был в работе. Подымал сам рабочих, снаряжал их и с ними проводил день в поле и успевал дома, что надо делать. Скотный двор и инвентарь скоро стали неузнаваемыми. Исподволь ремонтировано было все — и сбруя, и всякая снасть, и надворные постройки. Старое и хлам все обновилось, без затрат извне, оборотного капитала не было, а внимательным, кропотливым трудом, что называется за каждой малостью свой хозяйственный глаз.

Все вырастало из наличного материала. Свой лес, своя кожа, шерсть, овчина, пенька, лыко, хлеб, а как без оборотного капитала обернуться, как вложить и применить труд, научили мужики да рабочие — плотники, тележники, шорники, что ремонтировали, подновляли добро. Хозяйственная программа вырабатывалась с ними изо дня в день понемножку, как расчетистее сделать, когда что начать, чему какой черед в работе —

все это решалось по подсказу мужиков. Лучшей практической школы не найти, и это же вносило особый склад и задавало тон всей работе. Работали весело, дружно, "потому завсегда с самим хозяином", и хозяйский авторитет брата вырос быстро. Уже вторые мои каникулы, когда я увидел, как он распоряжается и как его слушают, я почувствовал в нем хозяина, пользующегося авторитетом и уважением. Я помогал в качестве пристяжной, но распоряжаться не мог и работать так не мог. В такую работу нужно втягиваться постепенно, а не прямо из гимназии, да начать вставать с солнцем, да до ночи работать — не вынесешь. Однако хоть и на пристяжке, хоть понемножку трудовую школу я проходил и что такое хозяйство ушивками да обрывками узнавал.

Возвращаться осенью в пансион Янчина на латынь и греческое было мучением. Поповка затягивала в жизнь, а гимназия отрывала от нее и на цепь сажала. Но садясь на цепь, у меня было над чем подумать. В гимназии я был "Цыцка", а в деревне "Егорушка" — и тут и там я был на положении младшего, отсталого. Брат Сергей ворочал делами, а я плелся еле-еле по классической лестнице, добираясь до аттестата зрелости, и чувствовал свою незрелость. Я учился с раздражением, со злобой и тем не менее шел только-только средним: все мне было трудно, давалось с большой натугой, и я страшно боялся экзаменов. Но я положил себе кончить во что бы то ни стало. И проскочил, но далось мне это с величайшим трудом. В 7-м и в особенности в 8-м классе на экзаменах выработалась особая система интенсивного прохождения предмета и проглатывания его.

Я был слаб по всем предметам, по математике же в особенности. Алгебра, геометрия, тригонометрия мне совсем не давались. Правда, преподаватель не умел придать им интереса и увлечь, он был сухой педант, и

уроки его были необычайно скучны и безжизненны. Я не мог никогда решить ни одной задачи, сплошь да рядом за ответы в классе получал колы и двойки и боялся, что меня не допустят до экзаменов зрелости. Однако допустили, и на торжественном выпускном экзамене я решил все задачи и даже, всем товарищам и учителю на удивление, подал свои листки с решенными задачами раньше других.

Нервная система так напрягалась, что за неделю, за 10 дней подготовки к экзаменам усвоялось то, что не усваивалось в течение целого года. Когда просиживая ночи напролет, проглатываешь учебники целиком, разрозненные годовые уроки как-то сливались в одно целое, удавалось схватить самую суть предмета, и сам собою вставал досадный вопрос: для чего же надо было тратить на это целый год. Конечно, это было неосновательное знание, но для экзаменов это было достаточно. Такому подъему сил и усвоению способствовало главным образом сознание необходимости во что бы то ни стало кончить, сбросить с себя толстовщину, как ярмо, которое резало и терло шею, страстное желание вырваться на свободу. Там, за гимназией, жизнь, в гимназии ее нет, гимназическая расходится с настоящей до мучительности. Никаких прикладных знаний, ни даже новых языков она не давала — ничего живого. Все только то, что надо сейчас же, по выходе из нее забыть, сложить, как рухлядь, в угол кладовой.

Я кончил экзамены не последним, мой аттестат зрелости оказался совсем приличным и на традиционном товарищеском ужине двенадцати человек нашего выпуска мне было доказано, что я должен, как то полагалось по-товарищески, напиться пьяным. Все были пьяны, и меня пьяного Лопатин привез под утро к себе домой, где, очнувшись, я понял, что это традиционное отпразднование, первое выявление полученной свободы есть рубеж, за которым начинается все другое, новое, а такого стиля проявление свободы совсем неуместное, и, действительно, это было первым и последним разом, когда я был пьян, и этим одним разом меня наградила гимназия.

Ни самое пребывание мое в гимназии в течение десяти лет, ни воспоминания о ней не вызывали, не вызывают и теперь во мне нежных чувств к ней. Как учебное заведение классическая гимназия с толстовской программой не готовила к жизни, не давала того, что она требовала от молодых людей, и, выйдя из гимназии, они чувствовали себя растерянными. Это была своего рода "заглушка" природным способностям и талантам, усиленная нивелировка всякого возвышения. Сколько сил и трудов было положено на эту нивелировку учителями и учениками, сколько убито в этой работе естества, как искажены были пути жизненные многих поколений — этого, конечно, не учесть.

Горячие сторонники классического образования отстаивают преимущество его не без оснований, но одно дело образование, другое — такая система преподавания, которая не дает ни образования, ни развития, требуя громадной затраты сил и труда. К безотчетному чувству в младших классах непосильности труда присоединилось в средних классах сознание никчемности его и какого-то насилия над тобою, какой-то кабалы и неизбежности рока, а в старших классах сердце заныло уже болью того отрыва от жизни, который произошел за прошлые восемь лет и который грозил усилиться еще за оставшиеся два года.

Я чувствовал этот отрыв больше моих товарищей-одноклассников, потому что ни у одного из них не было того прошлого, как у меня, ни у одного из них не было сзади своей Поповки. Все они были горожане, кроме братьев Олсуфьевых, но они были богатые по-

мещики, владельцы большой земли в Саратовской губернии, с которой не были связаны кровно, а жили в своей подмосковной, в Обольянинове Дмитровского уезда с великолепной роскошной усадьбой, как жили крупные наши помещики, господами без всякой связи с хозяйством и жизнью деревни. Они любили свою усадьбу как дачу и жили в ней так же, как жили в Москве, привозили ее с собою в свой деревенский дом и продолжали жить в нем по-городски.

Но и для всех товарищей моих, в разных степенях, гимназия была в некотором роде притвором жизни. Толстовская программа как будто возглашала юношеству "оглашенные, изыдите", и вся молодежь была удалена из жизни в притвор. Восемь лет в таком притворе, конечно, отрезали от действительной жизни, и когда ученики возвращались в нее с аттестатом зрелости и с удовлетворительными отметками по древним языкам, они оказывались не только незрелыми для жизни, а совершенно не подготовленными к ней. И чем лучше были отметки, тем больше было неподготовленности. Первые ученики буквально пропадали, тонули в жизненных волнах, как только выплывали в житейское море. У нас в гимназии были три брата Королевы, один из которых кончил со мной. Все они погодя поступали один за другим в приготовительный класс и до последнего все шли первыми учениками. Это было действительно удивительное явление. Им не ставили отметок за успехи, попредметно, а через всю книжечку писалось "отлично" — у нас была пятибалльная система, пятерка означала отличные успехи, четверка хорошие, тройка удовлетворительные, двойка слабые, единица дурные. За все года мой Королев не получил ни одной четверки. Способности ли или трудолюбие играли здесь первую роль, не знаю, он почти не разговаривал с товарищами, всегда был аккуратен, тетрадки каллиграфически красивы и

чисты, ответы в классе образцовы. Все братья были такие же и все, как только кончили гимназию, бесследно затерялись в житейском море, ходили слухи о старшем моем однокласснике, что он застрелился.

Нас, выпускных, было 12 человек, и ни у одного не было ясной жизненной цели, предопределенного пути. Вышли из гимназии, во все стороны дороги, и все незнакомые, и каждый выбрал себе наугад. И разговоров не было между нами таких, чтобы можно было судить, по какой дороге кто пойдет. И как было неожиданно, что Колабин, которого звали "гусыней" и который действительно был похожим на гусыню, оказался впоследствии акушером. Корноухов, самый старший в классе, бритый, с большими усами, оказался земским врачом, Щепетов, младший, всегда спящий, молчаливый, худой, длинный, как спаржа, бесцветный, оказался преподавателем математики в той же Поливановской гимназии, Олсуфьевы — старший математиком, а младший естественником, Лопатин, Трескин, Королев и я на юридическом факультете, Татаринов на математическом, Жданов и Мышаков исчезли куда-то в провинциальные университеты — на какую дорогу вышли, не знаю, но что все выбрали себе пути более или менее случайно, это было очевидно.

И мой выбор юридического факультета не был обоснован склонностью к юридическим наукам. Нисколько. Однако, пожалуй, у меня одного из всех он был обоснован, но жизненными соображениями практического свойства, был заранее обдуман, как наиболее соответственный для выполнения задач, выросших передо мною из моей же жизни. Возник было у меня вопрос, не следует ли поступить в Петровскую Академию — сельскохозяйственную, но я боялся в ней повторения гимназии, закрытого учебного заведения, отрезанного от жизни, да боялся вообще специализации и замкнутости.

Я искал свободы и выбрал юридический факультет как наиболее легкий, который должен был дать мне систематическое общее образование, более свободное время и более свободное распоряжение собою. С юридическим факультетом я надеялся соединить работу в Поповке, а диплом, надеялся я, даст мне более широкий простор выбора работы в дальнейшем.

Когда наш классный наставник Никольский, учитель латыни, торжественно объявлял нам результаты экзаменов зрелости, перейдя от официального тона учителя к ученикам, к разговору с нами как с равноправными с ним гражданами, и опрашивал нас, какой факультет каждый из нас избирает, никто не ответил определеннее меня и никто не озадачил его так своим ответом, к которому я присоединил выражение сожаления, что гимназия не знает, куда она готовит своих учеников, и спрашивает их, куда они идут, только после выпуска их. Он был добродушный человек. После гимназии я познакомился с ним и бывал у него. Это был труженик, содержавший уроками своих двух сестер, которые обожали его. Мы звали его "extempore"[1], потому что он допекал нас диктантами, которые назывались "extemporale", — он диктовал по-русски, а мы должны были писать, переводя текст тут же по-латыни. И когда я вспоминал с ним эти "extemporale", оба мы единодушно проклинали их.

Большой подъем общественных сил 60-х годов не сменился реакцией, но значительно увял. Одна часть общества считала дело преобразования недоконченным, не вполне совершенным, другая выражала недовольство даже тем, что было сделано. Оба эти течения развивались постепенно и ярко определились только в следующие десятилетия. Возбуждение общественной энергии шестидесятников, стесненное внешними условиями, в деятельной и развитой части общества вызывало пока чувства, близкие к унынию и подавленности. Как раз в эту эпоху зарождались в обществе и литературе новые герои, вызванные представлением о прошлой неправде, о злоупотреблениях крепостным правом, о тяжелом крестьянском труде и сознанием долга и обязательств перед мужиком. С этим народившимся покаянным чувством родилась и идея народничества, признания за народом его государственного и общественного значения и необходимости более тесного сближения с ним, что в свою очередь вызвало известные хождения в народ.

Образованная среда мало знала народ и по развитию своему стояла от него очень далеко, поэтому в значительной мере все мнения о народе были только отвлеченными суждениями о нем в связи со стремлением к созданию лучшего общественного строя. Встревоженная совесть искала успокоения в отречении от выгод и преимуществ барского сословия и в желании подойти поближе к мужику и послужить ему. Такое настроение общественной мысли было подготовлено отчасти деятельностью славянофилов, благороднейших представителей старого родовитого дворянства, принадлежность к которому отнюдь не выражалась в их учении защитой сословных и классовых интересов. Напротив, они имели в виду более широкое и объемлющее понятие — народ и основные начала народной жизни. Упреки в классовом характере славянофильства лучше всего опровергает их теория общинного быта и общины, где все члены равны и экономические интересы для всех одни и те же.

В соответствии с этим затишьем и вялым общественным настроением 70-х годов в гимназии политические интересы совершенно отсутствовали. Ни у кого

[1] Ex tempore — исходя из требований момента — (лат.).

никогда в руках не было ни газеты, ни книжки политического содержания. Отец был близок с Иваном Сергеевичем Аксаковым, А. И. Кошелевым, читал всегда пристально "Московские ведомости", издатель которых М. Н. Катков примыкал еще тогда к лагерю прогрессистов. В доме у нас были и "Русский вестник" и "Русская беседа", бывали разговоры, касающиеся политики, раздавалась и резкая подчас критика по адресу бюрократии. Царя Александра II отец чтил как царя-освободителя, и мы, дети, питали к нему высокие и восторженные чувства.

Я был в третьем классе, мне было, значит, 11 или 12 лет, когда в Москву приезжал царь. Не помню, по какому поводу приезжал он в белокаменную, первопрестольную, но это было великим событием — флаги, иллюминация, общий подъем настроения. Гимназисты получили неожиданные праздники, на несколько дней были прекращены занятия, и гимназисты были распущены. У нас на Плющихе — край города, под самым Девичьим полем, тогда это было на самом деле поле, и то расставлялись вечерами на тумбах плошки с салом, как это делывали у нас в Поповке на Пасху около церкви. Дворник Ермолай целый день заготовлял эти плошки.

Я никогда не забуду иллюминации Василия Блаженного, старых башен, которые стояли на месте нынешнего Исторического музея, Спасских и Никольских ворот и старых Московских рядов. Мы простояли там целой компанией от начала и до конца. Красная площадь была — море людских голов, и все как зачарованные дивовались и любовались, и, действительно, мне кажется, я никогда не видал после лучшей картины. Купола Василия Блаженного вырисовывались на темном небе как что-то сказочное. Ночь была темная, народ не шумел, и настроение в этой ночной народной тишине было не только торжественное, а священно-торжественное.

Мы с братом ходили всюду, где можно было надеяться увидеть царя, вмешивались в толпу народа, простаивали часы в ожидании, и, конечно, видеть нам его не удалось, но волнующее море народа, восторженное могучее "ура" необычайно подымали настроение. Самое большее, что удавалось, это видеть издали проезд поезда экипажей и слышать разные комментарии и догадки толпы, в какой именно коляске сидел царь. Лучше всего удалось видеть царский проезд случайно, когда его и не ждали, — у Иверских ворот, от Александровского сада, где народа собралось мало, потому что место там ниже Иверской, а мне удалось влезть высоко на решетку сада.

Возбуждение мое после этого успеха было так велико, что я решил во что бы то ни стало проникнуть в Кремль на так называемый царский выход. Не помню уж как, один ли я или с братом, но как-то я прошел, никто не остановил меня, через Боровицкие ворота и очутился перед дворцом. Перебегая с одного места на другое, добрался я до Чудова монастыря, где, говорили в толпе, непременно будет царь. Но народу оказалось там немного. Против колонн паперти Чудова монастыря стоял забор сизого цвета — там производился ремонт дворца, в котором родился Александр II. Забор этот утыкался в край паперти, и в этом углу стояла коляска, на козлах ее сидел великолепный кучер с большими медалями на груди, толстый, громадный, с белой бородой лопатой. В толпе делали замечания насчет лошадей и кучера и говорили, что царя сейчас в Чудовом нет, а царский кучер стоит здесь только в ожидании, куда его вызовут. Кучер и лошади вызвали во мне такой интерес, что я захотел непременно подойти к ним поближе. Несколько раз пытался перебежать с решетки Ивана Великого через дорогу, оцепленную городовыми и верховыми жандармами, и выскакивал

из-за натянутого каната, но меня загоняли назад. Наконец, как-то я бросился под канат и добежал до половины дороги, а полицейский крикнул и погнал меня именно на ту сторону, на которую я стремился, — и я очутился у самой царской коляски и стал рассматривать сбрую и лошадей. Особенно поразили меня замечательные, аккуратные, на низеньких шипах, подковы, которые блестели, как серебряные, и копыта лошадей, черненые, как сапоги, ваксой.

Я стал у самого забора. Место было безопасное, и я решил здесь ждать. Толпа становилась все более и более густой. Вдруг она заволновалась, загудела и заколыхалась, ее относило то в одну сторону, то в другую, а я оставался сзади коляски. Прошло несколько минут, зазвонили в колокола, толпа сорвалась с места, ринулась вперед и, скинув шапки, заревела "ура". Царь вышел из Чудова и остановился на паперти. Кучер не мог тронуть лошадей, их с коляской сдавила толпа, и пока она отхлынула, прошло несколько секунд. Народ неистово ревел. Меня придавили к самой ступеньке коляски, и когда царь сел в нее, я очутился уже на ступеньке и кричал "ура" в упор царю. Он сделал какой-то знак, не то тронул меня за плечо — не помню, но лошади тронулись, и я поехал вместе с царем, стоя на подножке. Я понял, что он это разрешает и не велит соскакивать, да и соскочить на ходу было уже нельзя. Что-то он мне сказал, но что не помню, я совсем обезумел, и когда коляска остановилась у подъезда дворца, и я соскочил, меня обступил народ, что-то спрашивали, но я никого не слушал, никого не видел. Я был на седьмом небе от восторга, от царя, от своего геройства и понесся без памяти домой.

С тех пор отношение мое к царю как к символу сменилось личным чувством к нему как к человеку. У меня с ним были уже свои личные, интимные отно-

шения. В этот свой мир я никого не пускал, жил в нем как очарованный, и, вероятно, это было главной причиной, почему я провалился на экзаменах и остался на второй год в третьем классе. Когда нас повезли в первый раз в оперу "Жизнь за Царя", я никак не мог примирить театральную условность с подлинной жизнью. Сердце прыгало от патриотических чувств, и в то же время казалось: все, что происходит на сцене, — полправды и никто в театре и сами актеры не знают того, что пытаются изобразить на сцене. Мужики и девушки и их песни совсем ненастоящие, а чувства к царю — настоящих чувств ни у кого нет, они только у меня, я один их знаю, так же, как знаю по-настоящему царя и настоящих мужиков и деревенских девок и их песни. Мое патриотическое чувство было оскорблено неполнотою и ложностью изображения жизненной действительности.

Театры были нам недоступны, мы попадали в них, только когда нас приглашали двоюродные сестры в литерную министерскую ложу, которую они иногда получали по каким-то связям с дворцовым ведомством, или когда Мосоловы считали необходимым для этикета, как московское купечество, на праздниках съездить в театр и брали нас с собою в ложу. Это бывало редко, но благодаря этому мы видели "Ревизора", "Горе от ума", несколько драм Островского и даже бывали в итальянской опере. Театры раздвигали рамки, в которых укладывалось мое представление о русской жизни, но они тогда не увлекали меня, и страсти к ним я не питал и не понимал ее у других.

Гораздо большее впечатление производила на меня живая общественная жизнь. Как-то И. С. Аксаков пригласил отца на торжественное заседание Общества любителей российской словесности. Отец взял нас с собою. В университетской библиотеке на эстраде сидели

литературные знаменитости. Заседание было посвящено графу Салиасу, который читал отрывки своего нового произведения, кажется "Пугачевщина". И. С. сказал вступительную речь, говорили еще несколько ораторов. Сама библиотека, заседание, торжественная речь и густой голос И. С. Аксакова произвели на меня громадное впечатление. Тут было какое-то важное жизненное действо, серьезное дело в совершенно новой области. И. С. говорил о задачах русской литературы, о заслугах ее, о ее великом значении в жизни, и мне открылось что-то новое и высокое, о чем ни Поливановская гимназия, ни даже чтение не давали представления. Здесь впервые я понял, что такое культурная работа, почувствовал значение культурного труда. Хлеб насущный ешь, не думаешь и не связываешь его ценность с трудом. Хлеб и труд, на него положенный, каждый имеет свою особую ценность. Так и в духовной пище. Наслаждаешься произведениями духовной работы и не связываешь их с трудом. Труд, производящий их, — это особая область, и ее можно оценить и понять, только когда подойдешь к ней, как к пашне. И. С. Аксаков впервые приподнял передо мною завесу и показал пашню духовную, трудовую, культурную ниву и раскрыл тайную ценность культурной работы.

VIII

Когда началась Турецкая война и идея освобождения братьев славян высоко подняла общественное настроение, мы с братом были не малыши, а взрослые мальчики, и нас захватили высокие национально-патриотические чувства. Брат втайне задумал идти на войну добровольцем. Конечно, это было неосуществимо, но порыв этот находил сочувствие в окружающих. Общее

настроение было таково, что возражать ему было нельзя, и все одобряли его, зная, что все равно это неисполнимо. У меня не возникало таких мыслей, но я горел так же, как и он. Мы бегали каждый день за газетными листками, которые выпускались тогда днем, как раз ко времени окончания занятий в гимназии, на Арбатскую площадь и приносили с собой свежие вести домой. Отец читал и пояснял их. У него была карта военных действий, сделанная им самим. Карты театра войны тогда в продаже не было. Она появилась под самый конец войны. Это было первым делом И. Д. Сытина, с которого он и пошел в гору.

И. Д. Сытин, уроженец села Соломенного завода нашего, Алексинского уезда, занимался коробейничеством. Все село занималось коробейничеством и коновальством — ходили работать на Балканы в Сербию, Болгарию и в Турцию, возили туда лубочные картинки и лубочную литературу и занимались там коновальским делом. Талантливый, умный и сметливый коммерсант И. Д. Сытин догадался первый напечатать и выпустить в продажу карту театра военных действий и нажил на этом капитал, с которым и начал свое печатное и издательское дело.

В день взятия Плевны на Арбатской площади у булочной Савостьянова было большое оживление — расхватывали выпуски газетных листков с телеграммами о взятии Плевны. Мы забежали с ними в Староконюшенный переулок к двоюродным сестрам. Там уже знали о победе, они позвали нас к себе на вечер, когда ждали кого-то, кто должен был сообщить подробности. После обеда побежали к ним, но кого ждали, тот не пришел, а была у них старушка Майкова, родная сестра Аполлона Николаевича, поэта. Она была слепая, обладала, как и брат, выдающейся художественной натурой и тонким эстетическим чутьем и была удивительная музы-

кантша, импровизаторша. Сестра Лили попросила ее сыграть что-нибудь по поводу взятия Плевны. Через несколько минут, словно на нее нашло наитие, она встала, Лили подбежала к ней и под руку повела ее в темную, неосвещенную залу к роялю. Все умолкли, она заиграла импровизацию марша, и мы все в темноте плакали, особенно растрогалась старушка тетя Софья Алексеевна — сестры увели ее в спальню. Я был взволнован до чрезвычайности. Первый раз я слышал такую музыку, импровизацию, связанную еще с подъемом патриотического чувства. Она играла, точно не касалась клавишей, фортепьяно пело, как живое. Мы все перенеслись в Плевну, в армию, в освободительную войну, в тайны русского духа — нельзя было удержать слез.

Весною, еще не сошел снег, приезжал в Москву царь. Москва в это время бывала очень грязной, на улицах скалывали черный лед, кучами складывали его по бокам улиц. Где ездили на санях, а где на колесах, но весеннее время все скрашивало. Я целые дни бегал по Москве по грязи, чтобы где-нибудь увидать царя. Иду раз по Моховой к Охотному ряду и слышу с Театральной площади крики "ура", бросился вперед и вижу необычайное волнение в Охотном, говорят, сейчас проедет. Остановился у церкви Св. Параскевы, чтобы осмотреться, народу немного, только суета, очевидно, не знали наверное, как вдруг рядом, около Дворянского Собрания опять крики и неожиданно показалась кавалькада верховых — впереди царь. Я его сразу признал и бросился к нему. Он ехал тихой рысцой, народу было немного, бежали рядом с ним, и я добежал с ним до поворота к Иверской. Он был, показалось мне, худой, бледный, старый и грустный. Я кричал изо всех сил, и у меня мелькала мысль: вдруг он меня узнает и сделает мне какой-нибудь знак, как знакомому. Но этого не случилось, конечно, и мне стало жаль его — так он

постарел и вид у него был такой усталый. В этот приезд обстановка была уже более строгая. В Кремль пропускали только по билетам. Так мне больше и не удалось повидать его.

Идеализация царя-освободителя, начинавшая было ослабевать в конце 70-х годов, вновь усилилась с освободительной войной. Славянофилы во главе с И. С. Аксаковым, под влиянием которых в значительной мере была предпринята эта война, были в чести. Их имена гремели в Москве, их слова передавались как самые авторитетные. Они прославляли героев — генерала Черняева с добровольцами, генерала Скобелева, русскую армию и русский народ с царем, олицетворяющим идею освобождения угнетенных младших братьев из-под турецкого ига. Я прочел в это время А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, Константина Аксакова и добрался до братьев Киреевских. Особенно увлекся я А. С.Хомяковым. Он отвечал моим чувствам и настроению. Русский народ — богоносец, залог лучшего будущего России в общении передовых слоев общества с народом и в возрождении его прежних идеалов: "Народу — сила мнения, царю — сила власти". Русское государство — это союз народа с властью, земли с государством, все корни его в первобытной общине, где все члены равны и где впервые волею общины власть была предоставлена государю в качестве представителя общины. Полная противоположность родовому быту Запада, способствовавшему развитию аристократии, знати, а у нас ее не было и не должно быть. Все эти и другие основные положения теории славянофилов глубоко залегли в мою душу, подготовленную к их восприятию всем моим детством. Так уж сложилось в исторической последовательности событий, что мне довелось проникнуться оценкой прошлого и настоящего России, познакомиться с объяснениями исторического развития, сперва со славянофиль-

ской точки зрения, а потом уже, гораздо позднее, с точки зрения школы западников. Чаадаева я прочел только студентом, но Белинского и других западников, вводивших читателей в круг интересов западноевропейской жизни, приводивших в ясность и в поэтических образах и в публицистических произведениях общественные недостатки и требовавших улучшения различных сторон русской общественной жизни, проглотил с увлечением еще в гимназии.

Крайности славянофилов, их утверждения, что Запад гниет и разлагается, не вызывали во мне раздражения своею несправедливостью. Они касались не своего, чужого. Напротив, крайность западников, отрицание значения русской исторической жизни, самостоятельности культуры, общенародного животворящего духа, побуждающего работать для блага всего человечества, огульное осуждение, выведенное из односторонней оценки прошлого и настоящего, вызывало во мне чувство глубокого оскорбления своею несправедливостью. Западники только укрепили во мне славянофильские взгляды. Они бесили меня отсутствием русского чувства. Но они раскрыли зато односторонность и крайность славянофилов в их оценке Запада. Они научили ценить громадную затрату сил, положенных на создание западного просвещения, образования и плоды их — уважение к правам личности, святость закона, равенство перед ним всех, идеи долга, права и, наконец, стремление к прогрессу. В Чаадаеве я нашел потом равнодействующую между крайностями славянофилов и западников. Все это западное — общечеловеческое достояние — принадлежит и нам, при условии, что мы, русские, не будем ревнивы к своему варварскому прошлому, что не будем хвастаться веками своего невежества и что наше честолюбие будет состоять в том, чтобы, оставаясь самими собою, русскими по природе, усвоить себе труды

всех народов, богатства, приобретенные умом человеческим на всех широтах земного шара. И славянофилы, и западники разными путями, но в одинаковой мере теоретически обосновали во мне любовь к своему русскому и укрепили то, что сидело во мне самородно, но западники, кроме того, сделали прививку идей гражданственности, широкого равноправия и прогресса.

С такой подготовкой, которую дала мне не гимназия, а действительная жизнь и литература, вступил я в новый, университетский период жизни. Общественно-политическое воспитание и образование соответствовали общей вялости общественно-политической жизни того времени. Она не обладала актуальностью, не прорывалась еще из области теоретических рассуждений в действенный мир.

Негодование и возмущение против нарастающей реакции накоплялись в глубинах, в скрытых недрах. О подпольном революционном мире я не имел ни малейшего представления, не подозревал о нем. И когда он обнаружился в акте убийства Александра II, я был поражен его несоответствием тому миру, в котором мы жили. Убийство царя-освободителя повисло над всеми, как зловещая туча. Все кругом потемнело, подавленно притихло в ожидании чего-то страшного. Зловещая туча все распухала, надвигалась и разразилась, наконец, крутой реакцией.

Я приехал в Поповку после выпускных экзаменов торжествующим, с чувством удовлетворения исполненного долга и радостного сознания свободы. Долго не мог я привыкнуть к этой свободе. И во сне и наяву нет-нет подымалась надо мною гроза экзаменов, или охватывал страх перед чем-то совершенно непреодолимым никаким напряжением сил. Очнешься, как от кошмара, с отрадным сознанием, что ничего страшного перед тобой нет, все это навсегда позади, кончено.

Я бросился в работу, помогать брату. Он уже окреп в деле, знал, что делает, и держал в своих руках весь строй дома и все дела. У него уже выработались планы хозяйственного строительства. Я с жадностью глядел на его работу, с горечью сознания, что она для меня недоступна. У меня впереди университет — предопределенная дорога, я отстал, да и двум хозяевам в деле быть нельзя. Хозяйская ответственность и право на нее, право на распоряжение было уже им завоевано и всеми признано. Результаты двухлетней работы говорили сами за себя. Все было приведено в порядок, хозяйственное колесо вертелось ладно, единственная беда была в том, что не было оборотного капитала. Без него нельзя было пустить машину полным ходом, усилить продуктивность работы. Надо было его создавать терпеливым накоплением, медленным неуклонным расширением дела.

Ничто так не вырабатывает спокойного терпения и выдержки, как земля. На ней не поспешишь. Всему свое время и свои часы. Ее не подгонишь — как прикажет, позволит она. Пашенная борозда научает не спешить. Как поспешишь, так огреха, а где огреха, там хлеба нет. Всему свои сроки землею положены, и их не перескочишь, как того ни хочешь. Раньше времени хлеба не посеешь и раньше положенного времени он не поспеет. Две недели трубку гонит, две недели колосится, две недели цветет, две недели наливается, две недели зреет, и роста этого не сократишь, а терпеливо дожидайся. Кипятиться, горячку точать бесполезно. От погоды тоже не уйдешь. Что Бог послал, то и есть. Стоит вёдро — радуйся, полил дождь — тужи не тужи, а больше ничего не сделаешь, как дожидайся погоды. “Кто намочил, тот и высушил”, а ты, хоть из себя выходи, ничем этим делу не поможешь, а только себя оскорбишь. Потому-то мужик, из века в век поколениями враставшийся в землю, и выработал такое спокойствие и терпение. Он живет во власти природы больше, чем кто-нибудь, на нем и отпечаталась она больше, чем на ком-либо. Кто хозяйствует, сам землю не работает, за делом не ходит, а плантует, распоряжается да на барометр смотрит, тот в постоянном волнении, в горячке и в нетерпении, а кто сам в работе, тот выламывается, приобретает спокойствие, неторопливость и подходит заподлицо общемужицкой величавой, спокойной покорности.

Не всякому это дается, брату далось. Он сам никогда не торопился, никого не торопил и суеты не любил. Василий Лопухин, николаевский солдат — плотник, которого специальность была не строить, а ломать старые постройки, который больше всего в работе уповал на рычаг — “рычаг все разворочает”, в самом разгаре своего разворачивания неожиданно останавливался, снимал картуз, вытирал рукавом пот со лба и спокойно говорил: “Не суетись, человече, а одумайся, сказал Соломон”; хотя Соломон никогда этого и не говорил. Брат всегда одобрительно приговаривал: “Правильно, Петрович”. Старик Петрович, редкий тип из оставшихся в живых николаевских солдат, был ярким примером выносливости и мужицкого долготерпения. Двадцать четыре года прослужил он солдатом на Кавказе, как “николаевский” не имел земли и жил до глубокой старости топором и рычагом. Плотник он был совсем плохой, все у него выходило косо и криво. Он не признавал ни правила, ни отвеса — “мой глаз сам ватерпас, что ж, что криво, прости Господи, глаз вытерпит”. Зато он работал скоро и дешево. “Ну, расскажи, Петрович, про Кавказ, что ты там делал, как жил?” — “Ну, что Капказ — горы и все тут, а что делал, прости Господи, Шамиля брал”. — “Так ты двадцать четыре года все и брал Шамиля?” — “Двадцать

четыре года мучился, прости Господи, а за мученье получил от царя награжденье — еще двадцать четыре года мученья, прости Господи. Домой вернулся, - муравьиной кочки не дали, сесть бы где. Вот он батюшка, его давно бросить пора, а он мне и дом и хлеб и мать и отец", — говорил он, показывая топор. На девятом десятке он все еще ходил по людям с топором.

Все упования брат полагал на клевер. Земля наша, суглинок, давала прекрасные урожаи клевера. Переход с трехполья на севооборот с травосеянием требовал нескольких лет — в хозяйстве что ни задумай, на все надо несколько лет. Но до правильного многопольного хозяйства Поповка нуждалась в какой-то усиленной эксплуатации для создания оборотного капитала. Леса были вырублены, из молодняка, кроме лык, ничего извлечь нельзя было, надо было выдумывать другие способы. Брат задумал пустить всю землю сразу под клевер не на сено, а на семена. Клеверные семена в те поры были очень ценны — доходили свыше 29 рублей за пуд. Спрос на них только что начинался и в частных хозяйствах и в земствах, которые проводили замену трехполья четырехпольем на надельных обширных землях. Хорошие семена красного клевера шли в Россию из Швеции, а русские были только вятские, но они были плохо очищенные.

Как товар клевер был замечательно заманчив, нарядный и уютный. Мешок клевера в 5 пудов стоил в среднем 75 рублей, тогда как такой же мешок ржи, хотя бы и семенной, стоил не более 5 рублей. Хорошо отделанный товар высоко ценился. Первый пуд шведского клевера был куплен братом у Иммера за 30 рублей. Пуд этот и был переворотным для всего Поповского хозяйства, с него пошел, что называется, новый постанов всего дела. Ну уж и научил он терпению и выдержке. Против хлеба ему нужно втрое больше времени и работы над ним надо во много раз больше. Самое важное для него влага в первые дни произрастания. Ему нужен покров от солнца, поэтому его сеют по овсу или по ржи. Мы сеяли его по ржаному полю, прямо по снегу, да по льду, утренниками, пока снег не рассолодел и утренний ледок не растаял. Семечко на солнце разогреется, протает снег, втянется в мокрую землю и захватит так всю весеннюю влагу. Рожь поспеет, клевер вытянется в нем до полроста ржи. Жнивье с клевером косили на корм — вторая уборка на том же поле шла. На другое лето он вырастает буйный, на семена не годный — батится, головка не наливается. Убирали его на сено, и только на второй год его можно убирать на семена, а бывает, что и на второй год не нальет как следует — все батеет, так надо еще год ждать. Если не убирать на семена, так до 6 лет дает хороший укос травой. Первый пуд дал счастливый урожай — вдвое против обычного, взяли, помнится, 32 пуда. На уборке, молотьбе и отделке его и выучились, как с ним управляться.

Долгий оборот дела с ним не смущал. С каждым годом росли надежды и настойчивость. Хлопот за ним, работы было пропасть — круглый год, но она была веселая, ободряющая, с ранней весны, с Благовещенья еще ловили дни, как бы не упустить хорошего посева. Это первая полевая работа еще на снегу в такую чудную пору была просто очаровательна. Часа за два до солнца сбирались человек двадцать — все лучшие севцы со своими севалками к нашему крыльцу — клеверные семена хранились не в амбаре, а в доме, шли на поле, там отсыпали каждому меркой поровну фунтов по пять семян, не больше. Семечко мелкое, как маковое, рассеять его ровно трудно, потому поле крестили — половину рассевали вдоль, другую поперек. Брали семена щепоткой в три пальца. Чтоб высеять ровно

пуд на десятину, надо большой опыт и примерку руки к глазу. Выстроятся, как на покосе, вереницей и начнут благословлять. Солнце еще не встало, снег, ледок крепкие, держат, ноги не тонут. Жаворонки заливаются, встречают весеннее солнце, тетерева токуют — сейчас солнце взойдет, перестанут, они зорю утреннюю любят, а днем замолкают. Всходит солнце, снег начинает солодеть, вода подо льдом пузырится из земли, ноги начинают тонуть в снегу и в грязи, но часов до семи можно еще ходить. Никакая другая работа не подымает так чувства весны. Эта встреча с ней на тающем снегу с семенами так и обдает дыханием молодой возрождающейся жизни. Земля дышит полной, освобожденной грудью, так и опалит она тебя своим горячим дыханием. Все враз загорают, ходят черные.

В уборку напрягали все силы, клали не в копны, как сено, а крестцами в снопах, чтобы слабая головка не осыпалась и на случай запоздания с возкой не запревала бы под осенними дождями. Как кончали молотьбу хлеба, приступали к клеверу и возились с ним месяца три-четыре. Тогда не было еще у нас специальных молотилок и машин терок, выписка из-за границы была недоступна, и молотили и терли его простой молотилкой рязанской, по нескольку раз пропуская в обшитый наглухо барабан. Терли день и ночь, ночная работа лучше, мороз крепче и вытиралось чище. Иван Небалуев ответствовал — ни одной ночи не пропускал. Стоит в тулупе, весь пылью засыпанный, заиндевелый, посовывает в барабан. Так приладился, что ему ночь милее дня. Плата двойная, днем спит, и выходит ему в сутки два дня работы, а сна столько же, убытка в нем не терпит. Главный расход в работе — овес лошадям. Хлеб молотят — невейку едят, не видно расхода, а тут чистый овес надо, работа трудная. Овса поэтому не продавали, весь на клеверную молотьбу и терку

уходил, и расчет большой был. Просевали тертую мякину девки на больших подвесных решетках. Тоже ночная работа, двойная плата — отбоя не было, чередовались в этом счастье. Мы за ночь раз пять, бывало, сходим на гумно работу проверять, а главное, лошадей соблюдать. Залогу при себе сделаем, приберем, заметем и лошадей подкормим. Зерно ссыпали не в амбар, а в дом — в гостиную, где мы уже с братом вдвоем вскруживали его на решетках и просевали в мелкие сита. Всю зиму работали, добро получалось, прямо золото. Хлопотно, копотно, но специальной клеверной сортировкой Робера такой отделки достигнуть нельзя было, как на ручных ситах. Иммер расценивал наш клевер как первоклассный и платил выше рыночной цены.

Превращение гостиной — стиль ампир — в амбар, решительная победа нового мира над старым знаменовала собой полный переворот. Хозяйственная атмосфера, созданная братом в Поповке, не касалась дома, в нем оберегались традиции старого строя жизни, насколько это было посильно, щадились старые привычки, уважалось вообще положение престарелых родителей. Занятие гостиной — это было уже вторжение в старую, почтенную обитель новых, претворенных в жизнь понятий и идей. До тех пор их наблюдали, критиковали и любовались ими из дома, как с острова на море, теперь волна новой жизни ворвалась внутрь самой тихой обители. Конечно, произошло это не без борьбы, и сдача старых позиций домашнего строя прошла не без сопротивления, но борьба эта была умилительная и трогательная. Старики родители с трудом примирялись с таким переворотом, они возмущались, но в то же время любовались проявлениями молодой жизни, отдавали должное настойчивым трудам в борьбе с тяжелым положением наших дел и умилялись энергией. Мы, ко-

нечно, в своем увлечении доходили до крайностей, были подчас жестоки и неумолимы, заставляли их подчиняться, недостаточно считаясь с тем, как это им тяжело, хозяйственной целесообразности.

В старом нашем амбаре пол был неровный, весь в щелях, и нам казалось совершенно естественным воспользоваться хорошим полом в пустой гостиной. Гостиная и столовая — две большие комнаты с колоннами не отапливались, и из гостиной была дверь на балкон, так что можно было ссыпать туда клевер и ворочаться с ним, совсем не затрагивая жилой части дома. Дело было в принципе. Принцип не устоял. Мы заклеили газетной бумагой все щели дверей, чтобы пыль не проникала в соседние комнаты и с увлечением предались работе. Нам нужно было непременно все самое лучшее. Мы брали из кухни сита и решета, брали щетки и посуду и дошли до необходимости в простынях, чтобы подстилать их под клевер вместо веретей. Сперва все это вызывало возмущение и сопротивление, а потом мама сама со слезами умиления давала нам простыни, а папа отбирал у себя за письменным столом по семечку лучшие клеверные семена, любовался на них в лупу и завертывал в особые пакетики для образцов.

Наконец дело было доведено до конечной цели. Почти вся земля была засеяна клевером. Запольная земля, никогда не бывшая под пашней, была распахана, засеяна рожью и по ржи клевером. Собралось под ним больше сотни десятин. В этот год урожай его был не особенно блестящий. Бывали года, что брали свыше 20 пудов с десятины, а в этот — в среднем прошло пудов по 18. И цена его уже несколько понизилась, но, помнится, продали его по 16 руб. за пуд. Конечно, ни при каком другом использовании такого дохода земля дать не могла. Нормально рожь тогда давала рублей сорок с десятины, а клевером дала в семь раз больше.

Именно в эту зиму произошло событие, чуть было не закончившее всю клеверную эпопею нашу несчастьем. В феврале начали отправлять клевер в Москву. Под самую Масленицу наладили обоз, лошадей 15, на станцию Суходол Сызрано-Вяземской железной дороги. Клевер засыпал и зашивал в двойной мешок я. Дорогому товару требовался точный, без всякого подвоха, за вычетом тары вес, нужна была и нарядная тара, аккуратная зашивка. Покуда убирались с обозом, с увязкой мешков и запряжкой, поднялась метель. Выехали после обеда не глядя на нее. Но как выехали, метель закрутила так, как это бывает у нас именно в феврале об Масленицу. Брат испугался и решил ехать за обозом. Запряг свою любимую лошадь — "Молодаго" в легкие санки и поехал. Метель разыгралась скоро в сильнейший буран. Мы ждали брата обратно со станции — до нее всего было пятнадцать верст — к ночи. Но никто не вернулся и всю ночь шла такая пурга, что и думать нельзя было выехать со двора.

В такие ночи мы звонили всегда в церковный сторожевой колокол. От языка его была протянута проволока прямо ко мне в комнату, через двойные рамы окна, и я постоянно вскакивал с постели и звонил. У нас был в доме тогда заменивший Гаврилу Петр, по прозванию "Анча". Всякому слову своему он предпосылал, точно заикаясь, непонятное "Анча". Он спал в сенцах, и когда, бывало, придешь к нему просить: "Петр, сходи, ударь в колокол", его никак нельзя было упросить: "Петр, ты душу свою, может, спасешь, в царство небесное попадешь". Он равнодушно поворачивался на конике и говорил: "А, Анча, я в ем не нуждаюсь". Между тем звонить с большими перемежками было мало толка, надо было звонить размеренно, постоянно. Это и привело к мысли протянуть проволоку к себе.

В одну из таких метелей звоню и слышу у церкви крики, отворил форточку — народ идет. Я вышел на улицу — ни зги не видно, снег так и лепит, намело, ног из снега не вытащишь. Спрашиваю, в чем дело, куда идут. Оказывается, на деревне услыхали крики на выселках, в конце деревни, явно было, человек бился в метель. Пошли, стали прислушиваться — ничего не слыхать, пришли к выселкам, метель гудит, ничего не слышно. Подняли кое-кого выселкских, никто ничего не слыхал. "Ну где же теперь его искать, поди замерз уж, замело его". Вдруг донеслись какие-то слабые звуки со стороны гумен, не то человеческий голос, не то сова. Пошли по проулку к сараю Сушкина, кричим, никто не откликается. Подходим к плетневому сараю — за углом стоит, прислонившись спиной к плетню, человек, выше колен снегом засыпан, уж застыл, ничего не видит, не слышит и голоса не подает. Понесли его в избу, в холодную половину, раздели и стали снегом растирать. Конечно, хотели непременно положить его на печь и, если бы я тут не случился, погубили бы человека. Он скоро очнулся и рассказал, что шел из Алексина в Павшин, покуда мог, шел на звон колокола, а выбился из сил и стал кричать, не зная, что кричит уж подле самого жилья. "Еще бы несколько пройти, да уж смысл потерял". Кричал он под самыми избами, никто не слыхал — голос ветром относило, услыхали на другом конце деревни. Он остался жив, но одну ногу так и не оттерли, он потом в больнице долго лежал, и часть ступицы ему ампутировали.

Мы страшно беспокоились за брата. Метель бушевала всю ночь и только к утру стихла. В полдни брат вернулся. Действительно, весь обоз едва не погиб. Спас старый вороной. Брат нагнал обоз за фроловским лесом. Лесом было хорошо, а как выехали из леса, попали в глубокий снег. К лесу так намело, что едва выдрались из глубоких сугробов. Долго бились, потеряли много времени, а как выехали на бугор, там дорога чиста — ветер снег сдирает с поля, и поехали дальше. Место до станции голое, ни одной деревни. Уж полпути проехали, стемнело, и заметили, что идут целиком, лошадям трудно — не под силу. Остановились, разошлись в разные стороны, нащупывали кнутовищами дорогу — нигде нет, ясно было, что давно сбились и заехали в чистое поле. Темно, друг друга не видно в нескольких шагах, перекликались, чтобы не растеряться.

Что делать? Дожидаться света — замерзнешь, начать крутиться — хуже запутаешься. Метель не унимается. Ветер все ямчей берет. Голоса разбились, одни говорят — сбиться в кучу, загородиться мешками, другие — нет, говорят, хуже останавливаться, засыпет снегом и пропало дело. Брат настаивал ехать, лишь бы с высокого места, с ветра заехать в какую-нибудь лощину — в более тихое место. Наконец, согласились на слова Егора Ивановича Косого — сложить мешки со старого вороного, разложить их на другие сани, а его пустить порожняком, он лучше найдет дорогу, груз не будет сбивать его, он чутьем узнает, в какую сторону вдариться. Так и сделали. Но пока перекладывали мешки и стояли на месте, обоз так замело, что лошади не могли стронуть воза с места, пришлось отаптывать сани, помогать каждой лошади. Пустили вороного, и он неожиданно повернул круто в сторону. Стали кричать на Егора Ивановича — "куда тебя леший несет, брось, стой", но Егор Иванович знал, кому верить, он не держал вожжей в руках, стоял спиной к вороному и кричал только: "потрафляй по следу" и через несколько минут заорал: "Вот она дорога". Старый вороной перестал проваливаться в снег, стоял на твердой дороге. Вывели на нее весь обоз, передохнули и предались на полную волю старого вороного. Он не выпустил

из-под ног дороги и довел, не сбившись ни разу, до станции, которая оказалась не так далеко.

Брат был так растроган, рассказывая про старого вороного, что чуть не плакал. В обед пошли к нему в гости, принесли ему гостинцев — ржаного хлеба и соли, гладили, ласкали, целовали его милую морду. Он смотрел на нас спокойными глазами, как будто ничего не случилось, а мы хотели внушить ему, что он герой. С тех пор он стоял на особом положении, овес был у него без выгреба, и его берегли, не брали на рядовую работу, он был общим любимцем, признанным достойным за заслугу особого почета. И так было жалко, что он не мог разделить с нами наших чувств и не мог понять, что овес без выгреба до самой смерти был заслужен им его лошадиным умом и геройским поступком.

К весне был доставлен в Москву весь клевер и была выручена крупная сумма денег. Этот год открыл новую эру Поповки. Стало возможным правильное хозяйство и планомерная работа. Тягостное прошлое в значительной мере отошло, и жить стало легче. Пройденная трудная полоса внесла к этому времени крупные, коренные изменения в строй домашней жизни. Старые, дорогие, барские привычки исчезли. Раньше казалось — без экономки, лакея, горничной жить нельзя, весь порядок в доме развалится. Последними эти должности занимали у нас Михаил Владимирович и Арина Александровна — старая чета, бывшие дворовые люди каких-то господ Сабуровых. Кстати и не кстати они постоянно вспоминали и проводили параллель между сабуровскими и поповскими порядками. Они жили у нас в Москве и переехали с нами в Поповку. Арина Александровна была типичная экономка, все дело которой сводилось к тому, чтобы пилить и допекать низших служащих. В хозяйстве она мало что понимала, но зато весь день заводила порядки и была, что называется,

целый день как за язык повешенная. Михаил Владимирович был очень добродушный и честный, но глупый человек и знал только одно дело — буфет, подавал к столу да охотился, ходил с ружьем, но никогда ничего не приносил. Арина Александровна скоро умерла, а Михаил Владимирович не захотел уйти от нас, просил разрешить ему открыть у нас лавку. На долголетней службе, бездетные, они скопили деньжонок, и он захотел под старость заделаться торговцем, нажить на них. Кончилось обычным образом. Ему было отведено помещение. Сейчас же он обнаружил полное неумение хозяйничать и торговать и обнаружил вместе с тем и свои “капиталы”. За ними началась со всех сторон погоня. Из слабых рук легко взять, явились советчики, наседали с просьбами, давал взаймы и, наконец, его окрутила прачка, косоглазая вдова Авдотья — бедовая баба. Она женила старика на себе и отобрала у него все деньги. Лавку закрыли, а через несколько времени Авдотью, пустившуюся в аферы, ограбили где-то под Тулой и убили, а Михаил Владимирович впал в слабоумие и скоро у нас скончался.

С тех пор у нас больше не создавались бюрократические должности. Все было упрощено. Одели в чистую рубашку дворника-истопника — “Анча” — или Петра, он и подавал к столу. Хозяйство подобрала сестра Маня. Она захозяйствовала в доме так, как брат Сергей в имении. Она прошла ту же школу; те же условия поставили ее в ближайшие отношения с бабами. Она выбирала из них наиболее дельных и приучала их к работе в доме. Набрался прекрасный штат работниц-друзей. В доме завелась образцовая чистота, бабы старались вовсю. С поденки, да в барский дом попасть было лестно — и харчи лучше, и ходить чище, да и работу не сравнить с полевой, надворной. К мама́ была приставлена умная Татьяна Морозова, вдова, которая

ходила за ней до самой ее смерти как образцовая горничная и сестра милосердия. Мама́ ее очень любила. Она потом сделалась правой рукой Мани, была и кухарка и молочница, помогала в каждом деле, была на все руки. Про нее говорили на деревне, что она "В рай попала и ходит краше Бога". Она сумела, как только умеют одни бабы, скопить, получая сперва четыре, а потом шесть целковых на месяц жалованья, капитал и осуществить свое заветное желание — поставила себе и дочери избу с крыльцом, подведя ее под железную крышу. Городские прачки и кухарки тоже были заменены нашими бабами. Заборные книжки, по которым нарастали долги в магазины и лавки, были выведены. Кроме колониального товара — чая, сахара и т. п., все было свое, расходы по дому были доведены до минимума, но жили сытнее и чище, чем при старом строе.

Первые зимы дом был холодный. Он прежде никогда не отоплялся, печи были огромные и поглощали массу дров. Постепенно их все переклали заново, стало теплее и меньше жгли дров. Одежу всю шили дома. Овчины свои, шерсть своя, наши деревенские мастера портные брали за полную пару десять целковых, за полушубок восемь, валенки из своего сырья стоили работой целковый. Экипажей выездных, кучеров не было. Старики родители никуда не двигались, а мы ездили на телегах. Я ездил в Тулу за покупками для хозяйства, никогда в гостиницах не останавливался, а на постоялых дворах. Потом, когда окрепли, все приняло иные, лучшие формы, но первые годы, когда выбивались, не только вся жизненная обстановка была очень суровая, но часто положения бывали поистине трагичные.

В те годы мука ржаная стоила 45 копеек пуд, пуд ржи от 30 копеек. Соответственно с этим, хорошему рабочему годовая плата была 60 рублей, а за зиму

сплошь да рядом платили 15 рублей. Поденке платили летом 15—20, а зимой 10 и 12 копеек, мелкоте платили по пятачку. Ходила на поденку при этом вся деревня, отбою не было. Непринятые уходили со слезами. Бывало до света собираются человек 30—50, дожидаются как благодати слова: "Оставайся", а та, что получит: "А ты иди домой", та в слезы и выпрашивает умильно "Дяденька, меня оставь, дяденька, я надысь на мякине стояла, оставь". На молотьбу при старой молотилке брали человек по 30—40, молотили до конца февраля. Зимой девкам делать нечего, и рады были на какую-никакую плату, хоть на платок красный на голову выходит. Давали девкам билетики-квитки, а расчет производили под большие праздники. Так же и по всем работам расчет производился под праздники, поэтому праздники были всегда мучением, особенно летом. Выручки никакой нет, она к осени сбиралась, оборотного капитала нет, кредита тоже нет — вот и приходилось вертеться. Всех, бывало, кругом оберешь, кого можно, и опять не хватает. Вот тут-то и выручали друзья В первую очередь "бабка" Афанасия Ивановича Смирнова, бывшего целовальника, а потом, когда кабак закрыли, лавочника. Он, конечно, и наживал вокруг нас, в нашем хозяйственном обороте, но и выручал, особенно его мать, бабка — умная старуха. Она понимала расчет и необходимость, где нужно облегчить тягость, но и вместе с тем была жалостлива и любила брата Сергея за труды его. "Работа есть, нам работу дает, не было бы его, и нам съезжать бы с места надо, он здесь корень, а нас ветром нанесло, как лист сухой". У ней на все были умные слова и всегда в извинительном, в благостном тоне. Говорила она медленно, врастяжку и складно, словно былину сказывала, слова выкинуть нельзя. Бабы вообще речистее мужиков, они песни, напевы складывают.

Была у нас Агафья Хромова, так сказки сказывала, что мы хотели непременно дословно записать их. Был у нас одно лето репетитор чех для латыни, он был стенограф — все лекции по стенографическим записям учил, так не мог никак за Агафьей записывать, лилась у ней речь, как вода через мельничную тварку — одним валом, ровно, хоть час, хоть два. Бабка любила своего Афоню и держала его строго. Он запивал. Она прохватывала его так, что он сам рассказывал: "Как выйдет ошибка, так бабка отчитает, что надолго заговеешься". А на людях "ошибки" эти она сама покрывала. "Что ж, что пьет, отцы святые и те желудевыми чашечками пили — это в пользу". Когда у него удача в делах, она его окорачивала: "Не гордись", а когда неудача, подбодряла: "Не кручинься". Мудрость житейская у ней была в преизбытке, по мудрости она и пользовалась всеобщим уважением и сама держала себя с достоинством, как бы знала сама себе цену. Много раз давала она сотнями и тысячами и никогда ни процентов, ни благодарности не требовала, и не напоминала о долге и людям не сказывала. Когда она умерла, Афоня ее скоро сбился, запил и опустился, хотя был очень умный и деятельный человек. "Как бабка кончилась, так жисть моя на нет пошла",— говорил он, вполне сознавая свою слабость и ее превосходство. Афанасий Иванович был родом из Деева, соседней с нами деревни. Отец его содержал еще в крепостное время постоялый двор на большой дороге, которая идет из Алексина на Тулу за прошпектом, мимо кладбища и часовни, там сдавалась ему под огород десятина земли в аренду. Он скоро умер, и двор перешел к сыну. Жить он пошел с нашего дубового леса.

IX

Когда отец решил переехать всей семьей в Москву, он совсем не считался с возможностью полного разора. Он руководился одним — как говорится, "произвести нас в люди". Если не ошибаюсь, кажется именно в это время и для нас была заложена Поповка в Московский земельный банк. Залоговая ссуда пошла частью на уплату долгов, а главная — на житье в Москве. Этого, конечно, не хватило, доходов было ждать неоткуда, и пришлось распродавать что можно. В имущественном отношении мы дошли до той степени оскудения, с которой начинается ликвидация, и, перешагнув которую, дворяне помещики исчезали из своих старых гнезд, а на их место появлялись щедринские типы — разуваевы и колупаевы.

Начало этой ликвидации и выпало на долю брата Володи. Слабое здоровье не позволило ему окончить гимназию. Как раз в это время он был свободен, ему и поручено было хозяйство в Поповке. К хозяйству он никак не был подготовлен, занялся им теоретически, перекраивал на бумаге трехполье на многополье, чертил планы новой разбивки полей, которые потом долго служили нам, мечтал об устройстве какой-то вышки для наблюдения за работами, а по заданию из Москвы немедленно выручить деньги вынужден был продавать что только можно. Так и было им продано молочное стадо, бывшее в аренде у Нозе, потом черниговская четверня серых. Местные прасола, их звали у нас "кошатниками", сейчас же почуяли наживу. Володя, молодой воробушек, против них, настоящих коршунов, они и ощипали Поповку.

В 70-е годы в литературе, изображающей народный быт, а затем в 80-е у наших натуралистов уделено немало внимания типам этих новых людей из среды

купцов, мещан и разбогатевших крестьян. Одни изображали их хищниками, несущими с собой экономическое рабство и кулацкую мораль, ставящую выше всего наживу насилием над окружающими. Другие изображали их несущими с собой здоровые начала и энергию здорового духа, отрезвляющую представителей старого барства, боявшихся жизненной борьбы и предавшихся беспечальной жизни за счет выкупных платежей, избавлявших их от труда. Истинный живой образ их найден Толстым в "Хозяине и работнике". Его искание основных свойств человеческого духа, соединенное с высшей художественною правдой, вскрыло сущность этих типов эпохи дворянского имущественного и духовного оскудения.

Хищниками они были постольку, поскольку им было дано хищничество не взявшимся за труд дворянством. Оно создало и обогатило их, уступив им свои хозяйские права и обязанности. Естественно, исторические условия выдвинули этих новых хозяев. Они подбирали брошенное добро, занимали место пусто, незаполненное законными хозяевами. Энергия и труд этих новых людей получили высшее выражение в таких известных всей России фигурах, как Губонин, Терещенко, Кокорев, Бугров, Башкиров и множество других, а бесчисленная младшая братия их сыграла значительную роль во всех углах России в переходное время, когда менялись самые основные экономические жизни, когда крепостной труд сменялся свободным. Естественно, что среди них были разуваевы и колупаевы. Но они работали в области торговли и сельскохозяйственной промышленности так же, как мужики на земле, и как не умело работать землевладельческое дворянство.

Поприще для труда было громадное, многообразие дел требовало специализации труда и познаний. У нас были специалисты по лесному делу — братья Владимировы. Они, можно сказать, свели все леса Тульской губернии, в том числе и наши. Братья Камериловы специализировались на скоте — они и купили у Володи наше молочное стадо и лошадей. Афанасию Ивановичу досталась дубовая вершина в Быльцынском лесу. Это было прелестное место — всего десятин восемь старого глухого леса. Внизу глубокой вершины ивняк такой густой, что продраться нельзя. По-над ним крупный строевой осинник, а по-над осинником вековые дубы. Несколько дубов на окрайках вершины так он и не одолел снять, и они красовались как остатки могучей старины, до последнего времени нашего хозяйства: Афанасий Иванович имел преимущественные права на покупку этой дубовой вершины. Он был кредитором нашего хозяйства по лавке и имел возможность, живучи в Поповке, стеречь случай и устерег. Вершина была продана ему за 2000 рублей, а впоследствии он сам рассказывал, что выручил с нее 14000 рублей, с них и пошел жить и, рассказывая, гордился, как хозяйственно распорядился он с ней, ни одного дерева зря в дрова не погнал, все повернул в дело — осины на срубы, а дубы на обод.

Хозяйственные практические знания Афанасия Ивановича были удивительны. Чем он только не занимался — и пчелами, и скотом, и лесом, и землей, и садами. Сады яблонные сдавались помещиками в аренду почти задаром, боялись возни с урожаем, со сбытом яблок. На помещичьих садах сильно наживались. На этом деле специализировались мещане города Богородицка. Тамошние съемщики садов, "рендатели", садовщики захватили чуть не всю центральную Россию. Знаменитые яблочные рынки в Москве на "Болоте" и в "Апраксином дворе" в Питере жили этими садовщиками. Прасола до такой тонкости знали свое дело, что безошибочно на взгляд и на ощупь определяли живой

вес скотины, кожи, как на пурках развешивали на ладонях хлеб, овес, пройдут по лесу и точно определят, сколько на десятине дров станет, пройдут по саду, в цвету определят, сколько в нем пудов яблок будет и т. д. Под Тулой Мясновская Слобода занималась мясом, скотом и свиньями. Федор Иванов, мясновец, покупатель у брата свиней, с откорма определял живой вес и убойный вес свиней на глаз с точностью до фунта. Вывесят свиней "на ножках", вес запишут, а он от живого веса высчитает "сход" — голова особо, ножки особо, кишки особо, сколько паром уйдет особо — и сделает расценку туше по частям — шпигу, нутряному салу, мясу, окорокам, лопаткам; ошибется на фунт, на два, не более. Так где же с таким купцом, знатоком, равняться продавцу вроде Володи.

Продав Афанасию Ивановичу дубовую вершину за 2000 рублей, он был уверен, что сделал хорошее дело, взял высокую цену, потому что он дал больше, чем давали другие, а давал он больше только потому, что ему было с руки и выгоднее ее купить, чем другим. Афанасий Иванович был, несомненно, плут: его профессия учила этому — купить подешевле, продать подороже — в этом вся тайна торгового дела, но рядом с этим он знал, что на одних счастливых случаях не проживешь, торговое дело требует неустанного труда, непрерывности оборота, "маленький барышок, да почаще в мешок" вернее, чем дожидаться, когда тебе "пофартит". "Убыток с барышом на одном полозу едут", нынче ты нажил, а завтра на тебе нажили, "кому какое счастье", но главное, во всем труды: "Бог труды любит". Он не знал пока, как "хозяин" Толстого, он за всем следил, знал каждое дело в уезде. Праздник не праздник, погода не погода, метель, ростапь — все равно, он в делах без останову, "потому останов всему делу перестанов", как остановишься, так дело пропустишь.



Герб князей Львовых



Кн. Семен Сергеевич Львов (XXVIII колено от Рюрика) и кн. Екатерина Никитична Львова (урожденная Иевлева). *Вторая половина XVIII в.*



Икона XVII в. Предки князей Львовых — святые князья ярославские Давид, Федор, Константин



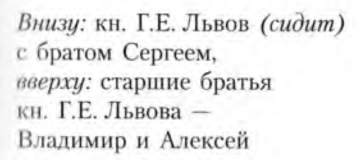


Поповка. *Вверху:* усадебный дом.
Внизу: церковь Смоленской иконы Божьей Матери.
Рисунок Н. Исселенова, близкого друга семьи Львовых



Кн. Варвара Алексеевна
и кн. Евгений Владимирович
Львовы –
родители кн. Г.Е. Львова





Внизу: кн. Г.Е. Львов *(сидит)*
с братом Сергеем,
вверху: старшие братья
кн. Г.Е. Львова –
Владимир и Алексей






Брат Георгия Евгеньевича Львова – кн. Сергей Евгеньевич *(Тула, 1890)* и сестра – княж. Мария Евгеньевна (*Москва, 1891*)



Слева направо: братья Алексей Евгеньевич, Владимир Евгеньевич и Георгий Евгеньевич Львовы



Кн. Георгий Евгеньевич Львов с родителями в Поповке.
У дерева стоит Мария Евгеньевна Львова

Справа вверху: кн. Георгий Евгеньевич Львов — студент
Справа внизу: кн. Георгий Евгеньевич Львов в Карташеве. *1909*







Свадьба кн. Георгия Евгеньевича Львова
и гр. Юлии Алексеевны Бобринской. Невеста и шафер





Счастливые дни князя



Елка в Поповке 25 декабря 1913 года *(ст. стиль). Слева направо:* кнж. Елизавета Сергеевна, кн. Евгений Сергеевич, кн. Георгий Евгеньевич, неустановленное лицо, кнж. Зоя Сергеевна, кн. Владимир Евгеньевич, кнж. Мария Евгеньевна, кнж. Наталья Сергеевна, гувернантка, кнж. Елена Сергеевна, кн. Сергей Евгеньевич, неустановленное лицо, кн. Зинаида Петровна, кн. Сергей Сергеевич. *Фотография кн. Юрия Сергеевича Львова*



В Поповке, в саду. *Стоят (слева направо):* кн. Сергей Сергеевич и Евгений Сергеевич Львовы. *Фотография кн. Юрия Сергеевича Львова. 1914*

«Поповка явилась для нас основным воспитательным фактором в течение всей нашей жизни. С землей и деревней связано образование всего нашего мировоззрения, они определили весь наш жизненный путь».

Кн. Г.Е. Львов. «Воспоминания»



Оптина Пустынь. Келья преподобного Амвросия Оптинского. Рисунок Евгении Павловны Писаревой, нарисованный по просьбе кн. Г.Е. Львова в память их пребывания там в 1917 г.



Кн. Георгий Евгеньевич Львов – первый премьер-министр Временного правительства. *1917*



Кн. Георгий Евгеньевич Львов.
Вашингтон, 1918

25/XI 21. Washington

[illegible]



Madame
Pissareff
6 rue de Sèze
Paris IXe
France



Открытка кн. Г.Е. Львова из Вашингтона в Париж
Е.П. Писаревой *(от 25.XI.1921)*



Кн. Георгий Евгеньевич Львов с Евгенией Павловной Писаревой и племянницами Елизаветой Сергеевной и Еленой Сергеевной. *Париж. 1923*





Вверу: Париж начала XX века. Улица Э. Реклю. Слева дом, где жил кн. Г.Е. Львов по приезде в Париж в 1918 г.
Внизу: Спальня-кабинет кн. Г.Е. Львова в доме под Парижем, где он умер





Кн. Алексей Евгеньевич Львов; его жена кн. Мария Александровна (урожденная кнж. Гагарина)



Дочери кн. А.Е. Львова: кнж. Вера, Екатерина и Ольга. *Париж*



Свадьба кнж. Елизаветы Львовой
и Сергея Терещенко. *Париж, 1924*



Образ Смоленской Божьей Матери,
писанный кнж. Еленой Сергеевной Львовой,
которым Георгий Евгеньевич благословил
Елизавету и Сергея.

*На обратной стороне иконы надпись рукою Георгия Евгеньевича:
«Образом сим Смоленской Божьей матери
Одигитрии благословляю на брак племянницу мою
княжну Елизавету Сергеевну Львову. Князь Георгий
Евгеньевич Львов. 29 сентября 1924 г.»*



S.A.S. PRINCESSE WOLKONSKY . 1882-1949
NÉE NATHALIE B. WYROUBOFF
ALEXANDRE A. WYROUBOFF . 1882-1962
S.A.S. PAUL PRINCE WOLKONSKY . 1898-1962
ELISABETH S. TERESTCHENKO . 1896-1969
NÉE PRINCESSE LVOFF
PRINCESSE HÉLÈNE S. LVOFF . 1894-1971
PRINCE GEORGES E. LVOFF . 1861-1925
MINISTRE PRÉSIDENT 1917

Семейная могила Вырубовых, где похоронен кн. Г.Е. Львов. *Сент-Женевьев-де-Буа*

Встреча на хозяйственном поприще Афанасия Ивановича и брата Сергея была для обоих знаменательна. Афанасий Иванович искренне удивлялся и говорил: "Никогда и не слыхать было того и подумать того нельзя было, чтобы барин этак работал, до всех делов доточный и простый, с каждым человеком может рукотрясение сделать, с каждым поговорит, никем не гнушается. Нет, нет, у нас никого нет против него, никто не может". Понимать это надо было так, что в нем увидали новое явление — барина-работника, совершенно необычайное, признали в нем деловитость и уважали за труды и простоту.

У брата с Афанасием Ивановичем были непрерывные, постоянные дела. Увеличившийся хозяйственный оборот увеличил и обороты Афанасия Ивановича. Он расширил свою лавку. Все, что зарабатывалось у нас в хозяйстве, шло к нему в лавку. Брат кредитовался в ней товаром, поденка расплачивалась в лавке квитками. Периодически производились подсчеты и расчеты либо деньгами, либо опять-таки товаром или каким-нибудь делом. В этих счетах и попутных деловых разговорах проходили часы и дни за самоваром, наверху в антресолях, где в детстве сидели у нас куры на яйцах. Принимал и я в них участие, когда они приходились в дни моего пребывания в Поповке.

Эти бесконечные сидения и чаепития с Афанасием Ивановичем причиняли немало горечи родителям. Они никак не могли понять, как можно просиживать с ним целые вечера. Папа́ опасался вредного его влияния, как бы в конце концов это хозяйственное увлечение брата не затянуло бы его в чуждый, низменный мир. Сидения с Афанасием Ивановичем были для него, конечно, гораздо неприятнее клевера в гостиной. Когда Афанасий Иванович приходил к брату, и, проходя на цыпочках через столовую, где по вечерам все сидели за сто-

лом, останавливался и отвешивал низкий поклон, папа́ глубоко вздыхал и говорил, с отчаянием махнув рукой: "Опять на целый вечер". Но сопротивление и борьба были безнадежны, и как примирились с клевером в гостиной, так в конце концов примирились и с Афанасием Ивановичем. Брат вытягивал из Афанасия Ивановича все его практические знания, тот был невольный его учитель. С ним обсуждались все хозяйственные дела и наиболее выгодная их постановка, где искать людей, мастеров всякого рода — каменщиков, ободников, плотников, санников, все тонкости расчета и стоимости производства и т. д. Все рекомендации шли от Афанасия Ивановича. Ему был интересен и выгоден рост поповского хозяйства, и он искренне увлекался самым процессом развития дела как любитель. Наконец, он и сам стал советоваться с братом по своим делам. Он понимал, что имеет дело не с Володей — неопытным барином, а с хозяином, который своего не упустит, и никогда и не пытался обойти его. Наоборот, он сам подпал под полный его контроль. За это особенно была благодарна брату бабка. Она прямо говорила ему: "Учи его, батюшка, над ним страх нужен; мне не доглядеть, стара стала, а ты уж держи его в страхе, пожалуйста".

Много лет спустя, когда брат наезжал в Поповку из Перми, где он вел большое железоделательное дело, Афанасий Иванович, уже старый седой старик, всегда приезжал к нему на поклон как к учителю и наставнику, а брат встречал его так же, как учителя и наставника в первых практических шагах его хозяйственной деятельности. Они целовались, как друзья юности, и Афанасий Иванович, вспоминая старые времена, со вздохом говорил: "Да, вот был черный, а теперь стал уборный, — и сбирал при этом в горсть свою седую бороду, — а Вы вот, Ваше сиятельство, в полном прыску".

Бабка с Афанасием Ивановичем заменяли нам не созданный еще в те времена сельскохозяйственный мелиоративный кредит. Дело с кредитом вообще стояло плохо. Занимать деньги можно было только у частных лиц под высокие проценты. Мы никогда ни у кого не занимали, поэтому и обращались за помощью только к своим же мужикам. Они проценты не брали, а давали "за уважение". "Уважить барина лестно и риска нет, не пропадет за ним, потому видно трудящий, дело у него кверху идет, а не ровен час сам покланяешься и он уважит".

Просить было нелегко, мучительно. Были моменты совершенного отчаяния. Помню однажды, под Смоленскую — наш храмовой праздник — так дело повернулось, что хоть беги вон из Поповки. Расчет большой был, надеялись на какую-то выручку, она не удалась, своих денег много не хватило, у Афанасия Ивановича взяли что было возможно, не хватает, обобрали по мелочам всех, не хватает. Не рассчитать под Смоленскую — большой подрыв, большое общее неудовольствие.

Обычно я исполнял поручения брата по займам. В последний день, под Смоленскую, брат не показывался в усадьбе, все ездил по лесам да полям — без денег показаться нельзя, а меня послал искать деньги. Не помню хорошенько, кажется, у Трунова в Плешивке, целовальник был, хороший тоже человек, достал я пять сотен, возвращаюсь домой уж под вечер, еду не дорогой, а напрямки, через поле Площанское, спускаюсь в широкую вершину, вижу: понизу "молодой" ходит, верховая брата, а самого не вижу. Подъезжаю, а он в лощине лежит ничком, плачет. "Вот, говорю, пять сот достал". Как он вскочит, креститься стал.

Неделю целую водил народ: завтра да завтра рассчитаю; а рассчитать нечем, и решил — проведет до темноты, народ разойдется, тогда домой вернется. По-

ехали домой, а у крыльца толпа девок и всякого народа дожидается, вызывали папа́, требовали узнать, куда Сергей Евгеньевич делся. До глубокой ночи без ужина брат рассчитывал народ, веселый и радостный, — дело было спасено.

Бывало и так, что целые месяцы ни одной копейки в доме нет, и без расчетных дней вынь да положь, деньги нужны. Тогда обращались за мелкими деньгами к Анисье Никаноровне, пономарихе, к Сашке солдатке, жене Василия Петровича, плотника, николаевского солдата, — у них хранились деньги себе на похоронки. Никогда не отказывали: "На, батюшка, такими же отдашь". У Анисьи Никаноровны были три серии, она им счета не знала, только знала, что "серые" на сто пятьдесят целковых, привыкла к ним издавна и не хотела менять их, так и надо было возвращать ей сериями с такими же купонами, чтобы такого же вида были. У Сашки, солдатки, были троешки, закатанные в холсты. Она тоже требовала, чтобы опять троешками отдать, она счет им вела по холстам.

Хуже было брать у Ивана Журина, сына Логина Шишки, что на заводе в солодовне стоял. Его состояние, как говорили, пошло с гвоздей заводских. Когда распродавали винокуренный завод, ломали постройки, Логин Шишка сбирал гвозди старые, тогда не было еще машинных проволочных, а кованые, с большими шляпками, и корзинками по ночам таскал их домой. Говорили об этом с завистью, гвозди все равно не вытаскивали, бросали, а он завистной был, все подобрал, в Алексине кузнецам продал, с тех пор закапиталился. А Иван, сын его, был еще жаднее отца. Он с этими деньжонками стал бросовые пашни на сходе в аренду брать, которые за недоимки сымали, либо у вдов безлошадных по вольной съемке брал. Оплатит недоимку, поставит обществу полведра водки и пашет, засевает себе. Работал

Журин, как вол, жаден был до земли — ничем больше не занимался, только землей. У него были три лошади хорошие, а пахал один на переменках. Солнце сядет, скотину загонят давно, а он все пашет; до света, еще скотину не выгоняют, а он уж на поле. Низенького роста, коренастый, такой был "тягушой" в работе, что вся округа его знала. "Ну уж Журин, не пашет, ест землю". Сыновья подросли, в Москву послал торговать: "Без вас дома справлюсь, а вы деньги подавайте". Он в землю, как крот, врылся, от пыли на поле да на гумне глаза у него слиплись, подслеповатый стал. "Ты что, Журин, плачешь? — смеялись над ним. — Ай мать с отцом жалко?" Хлеб у него год за год переходил, на гумне одонья стояли, подумать можно, дом работниками полон, а управлялся один-одинешенек. Вот у него взаймы деньги брать было неприятно. Он давал без сочувствия, а за проценты натурой. Ему надо было непременно лужков отвести, и требовал он за уважение много. Но и он никогда не отказывал.

Сосед его, Михаил Городничев, жил в Москве, по стекольной части ходил и слыл большим богатеем. Когда брат выбивался на клеверном деле, особенно тяжко бывало приготовиться к платежу процентов в земельный банк за Поповку, и вот мне пришлось по его просьбе из Поповки обратиться за деньгами для банка к Городничеву. Это было на первом или на втором курсе университета, во время экзаменов, весной. Городничев жил с семьей в Зарядье, в такой грязной маленькой комнате, что у меня дух сперло, когда я вошел к ним. Поставили самовар, надо чай пить, без самовара к деловому разговору и думать нечего подойти. Говорили о поповских делах, о хозяйстве, о брате. Он знал его только понаслышке от своих.

Городничев лет двадцать жил в Москве, ему "пофартило" с алмазом в стекольном ряду. Ходил встав-

лять зеркальные стекла в больших магазинах, дело тонкое и рисковое, нужна опытная рука мастера и алмаз к руке. Прошибешься, испортишь стекло — твой ответ, поставишь — за работу плачивали сотнями, да еще чаевые большие давали. Городничев нажил деньги, чувствовал себя капиталистом и мечтал поставить у себя в Плоскове кирпичную избу в две связи с лавкой под одну железную крышу, непременно крашеную зеленой медянкой. Кирпич негде больше купить, как у брата, вот и основа будущих отношений с ним.

Не успел я выговорить просьбу выручить и дать на платеж в банке 2000 рублей, как он встал, отпер сундук, замок со звоном, и, отсчитав там 2000 рублей, кладет на стол: "С великим удовольствием, завсегда, потому, ежели, Господь дал, а наше дело суседское, обязательно..." Я был удивлен, с какой легкостью он дал их, и вместе с тем как-то это и не понравилось мне. Говорил он гнусавым, скрипучим голосом и с каким-то фальшивым достоинством, смешанным с подхалимством. Говорили про него, что деньги его не с алмаза, а "счастливым случаем" в руки попали; такие объяснения, правда, приурочивают ко всем, но все-таки характер беседы моей с ним как-то связался с мыслью о легкости происхождения его капиталов. Очень уж разнилось по тону его отношение с отношением поповских друзей, а может быть, это на нем московский налет сказывался.

Скоро он бросил Москву, приехал строиться на своем корню в Плоскове, купил у брата кирпича тысяч восемьдесят на две связи, выстроился скверно, заторговал, обнаружил бесхозяйственность, глупость, скупость и никакого уважения своим капиталом не завоевал. Он плакался на свою участь, на деревню, на соседей, а соседи говорили: "На легких хлебах привык в Москве, на чужих калачиках, хоромы выстроил, блажничает, дай срок — они его слопают". И действительно, он недолго побарствовал, помер, нажив в своей сырой избе жестокий ревматизм, а сыновья его без конца делились, судились, никак разделить не могли хоромы, жили в них, как нищие, и грызлись, как собаки, между собой. "Вот они, денюжки-то легкие как обернулись",— вспоминали, говоря о них, молву об отцовском грехе.

Еще неприятно было прибегать к помощи своих домашних. Жила у нас старушка Анна Филипповна Дювернуа. Она была гувернанткой очень недолго у старших братьев, когда меня еще на свете не было. Я знал о ней только по письмам ее из Елабуги, где жила она у своей дочери Зинаиды Коневской. Она сохранила к родителям и родители к ней дружественные чувства и часто писала к мама. С зятем у ней, как полагается, вышли недоразумения, и она приехала в Москву как раз в год нашего приезда туда. Ей наняли флигелек в доме Шундера, что стоял в саду, и она жила там до нашего окончательного отъезда в Поповку. Очевидно, жить ей в Москве было трудно, и родители предложили ей ехать вместе с ними в Поповку.

Она была очень милая и ласковая, были у ней какие-то запасные деньжонки, и вот в трудные минуты обращались к ней, брали взаймы. Она всегда давала прижимисто, со страхом, что пропадут, говорила нежные жалостливые слова о нашем бедственном положении и своей дружбе, и, унося деньги, мы уносили с ними самые тяжелые чувства. Ей нельзя было просрочить ни на один день возвратом, иначе призывала к себе в комнату и со слезами, нежно, но вытягивая всю душу. Это было страшно тяжело, и все-таки мы частенько перехватывали у нее. Ей нужно было при этом писать долговую расписку, а мужики давали, никогда никакой записи — и помину о ней не было.

Все это шло нам на пользу. Ничто не готовит так к жизни, как нужда и борьба с ней. Одолжение ее укрепляет энергию и веру, что нет такого трудного положения, из которого не было бы выхода. Брат прошел полный курс этой школы, я захватил ее только частично, насколько это позволяло совмещение с университетом, но зато я дополнил ее в других условиях в Москве.

Но главное было не в практической школе этой жизненной борьбы, а в той новой сфере, которая создалась благодаря ей у нас дома, в семье, в той духовной переработке, которая произошла в этом длительном процессе соединения духовно ценного, что было в старом, отживающем, с новым, еще неизвестным, нарождающимся миром. Сквозь стенки, отделявшие старое от нового, в духовной области произошли эндосмос и экзосмос физического закона. Как в сосуде физического опыта самым закономерным образом произошло то, что должно было произойти по естественному закону всюду по всей России. Безболезненно, спокойно и тихо взрастили новое дерево жизни на почве ценных частей старой культуры и новых питательных токов.

Молодое дерево растили вместе и старое и новое поколение без ненависти и злобы к старому и новому. И трудно сказать, кто больше любил и заботился о нем — молодые или наши престарелые родители. Если мы вкладывали в работу весь наш юношеский пыл и жар и были в увлечении иногда жестоки и беспощадны к старому, то старики вкладывали в нее все свое широкое любвеобилие и смягчали им наши крайности. Отец и мать внесли в этот творческий процесс свою высокую духовную культуру. Если бы мы встретили с их стороны упорное сопротивление, мы бы, вероятно, многое сломили, извратили и нажили бы обычные в такой борьбе уродства, но их широкое понимание жизни, их неисчерпаемая любовь спасли

нас от этого и давали работе спокойное течение в мирных берегах.

Трудно сказать, кому было труднее. Без нас одни старики не создали бы новой жизни, но и мы без них не удержали бы, не сохранили бы той первоосновы, которая служит залогом прочности нового здания. Теперь, вспоминая прошлое, мне кажется, что гораздо труднее было им отказываться от привычного прошлого, чем нам налаживать новое, сохраняя из старого только то, что не мешало новому. Умилительными и трогательными моментами полон весь этот период поповской жизни. И сейчас, на склоне лет, меня угрызает совесть за то, как мы были иной раз беспощадны к старикам в своем запале, насколько они стояли морально выше нас, как им было тяжело, а мы мало берегли их чувства. Конечно, наша жестокость проявлялась эпизодически, но эпизоды эти и сейчас щемят сердце. Зачем? Как не могли мы сдерживать себя и насколько это было и не нужно и бесполезно с ними.

Привычки — это любезный груз жизни. С ними она нам милее, и они становятся нам особенно милы и дороги, когда приходится от них отказываться. Для маленьких людей привычка — закон, но для людей с высокой духовной культурой, какими были наши родители, закон этот беспрекословно подчинялся высшему закону любви. Для нас они были рады отказаться от всего, нужно было только победить сомнения, не идет ли наша жизнь по ложному пути, не причинит ли она вред нам. Нужно было проникнуть духовным предвидением в будущее и примириться с тем, что оно расходилось с привычным прошлым. Они боялись более всего огрубения и одичания, их мучило то, что они не могли дать нам старых привычных условий. Но они сразу оценили благотворное, воспитательное значение труда, и внешне грубые, серодеревенские мужицкие

формы его скоро перестали тревожить их. Сперва смущали и нагольный, овчинный полушубок, и смазные сапоги, и пребывание целыми днями на скотном дворе, и бесконечное чаепитие с Афанасием Ивановичем, исключительное общение с мужицким миром и неизбежная доля ассимиляции с ним, выражавшаяся даже в говоре, но скоро все это получило оценку как мелочь и несущественное, сравнительно с тем большим, что приобреталось не только в смысле материального, но и морального блага.

Для мама́ вся эта работа и условия жизни, создавшиеся для нас и сестры Мани — младшей серии детей, — были источником горьких слез и вместе с тем восхищения. Из своего прошлого она смотрела на нас, как на жертв роковых событий, и умилялась жертвенностью.

Бросив гимназию для исправления семейных дел, брат Сергей, конечно, совершил известный акт самопожертвования, но затем вся последующая работа его не носила характера жертвы, напротив, и он, и я, мы увлекались творчеством в ней и, может быть, недостаточно отдавали себе отчет, что жертвы были гораздо больше со стороны родителей, чем с нашей. Только глубокая любовь к нам покрывала все, что пришлось им претерпевать и чем пришлось им жертвовать. Мама́ никогда не роптала и только молилась и благодарила Бога за то, что у ней такие дети, и умерла в глубокой старости счастливой в сознании, что если им, родителям, не удалось дать детям того, что они хотели, то они вынесли из семьи то, с чем не пропадут, что в тяжелых условиях времени они не пали, как многие и многие из близких, а справились с ними и выросли.

Для папа́ лишения и отказ от прошлых условий не были так тяжелы, как для мама́. Резкий переход от прошлых форм к упрощенным демократическим не коробил его, потому что он сам в душе был по уровню

своего века демократичным. Он одобрял здоровую сущность, которая лежала в основе создающегося нового строя и, мало того, сам пытался принять участие в его формировке. Насколько это было доступно его слабым силам, он сам работал в том же направлении, как и мы. Он взял под свое попечение сад и огород и с увлечением и любовью работал в них, применяя в работе методы, которые жизнь заставляла применять нас. С раннего утра он возился на грядках с Лукерьей, дочерью покойного садовника Ивана Никитина. При своем отце она ходила на поденку в сад и кое к чему присмотрелась. Папа обучил ее делу, и она заделалась отличной, настоящей садовницей. Огород, парники и ягодники были у нее всегда в прекрасном состоянии, и до самого конца она самостоятельно руководствовала ими и всегда со слезами вспоминала, как “старый князь” учил ее делу. А папа сам многому научился от нее. Он наслаждался и радовался на свой огород так же, как радовался успехам брата Сергея в хозяйстве. Вечерами, когда солнце садилось, ходил гулять, осматривал поля и с восхищением рассказывал мама, какие чудные у Сережи хлеба. Он умел облекать работу брата радостными настроениями и претворять ее в общесемейное дело, и всем было от этого легче. Тени и горечи суровой, а иногда и очень жестокой жизни сплывали, незаметно сменяясь радостями. Радовались всему, даже самому малому хозяйственному событию все вместе. Начнут Великим постом овцы котиться, бывало, всех ягнят таскали в дом, любовались на них. Отелится корова, кобыла ожеребится, непременно все шли любоваться теленком, жеребенком. Сделает Лаврентий легкие санки, новую тележку, свяжет шорник новый хомут, принесут из рубки овчины, сваляют вальщики валенки — все эти малые хозяйственные события составляли общесемейный интерес.

Крупные дела, как посев, навозная возка, покос, уборка сена, жатва, возка хлеба захватывали и поднимали всех. Особенно уборка хлеба. Урожаи на хорошо обработанной, унавоженной земле бывали прекрасные. Свыше двадцати копен жатой ржи на десятине тридцатке были не редкость. Когда такая рожь выйдет из трубки, выколосится и стоит темно-сизая, с широким пером на ней, собиралось напряженное всеобщее внимание. Она тянула к себе. Куда ни пойдешь, бывало, все выходила дорога мимо нее. Рано утром она тянула к себе своей свежестью, сверкая на солнце росой на широких перьях, светло-сизая, как шейка голубя. Днем обсохнет, мягко волнуется белесым колосом, а вечером напружится, стоит темной стеной. Перепела бьют, дергачи дергают, а месяц ласкает ее: "Спи, отдыхай, матушка". Пахнет — не надышишься ее духом. Тропинки по ржи — любимое гулянье, колосья нежно ластятся к тебе, а из-под них васильки выглядывают. У всех одна думка — "богатый урожай Бог послал, как-то в руки дастся". "Стоит вёдро, сердце жмет, не засушило бы; зайдет туча грозовая — пронеси Господи, не поваляло бы, не побило бы градом". Вся деревня живет одной мыслью, одной заботой, както Господь хлебушко в руки внесет.

Нашим Поповским хозяйственным несчастьем было то, что храмовой наш праздник Смоленской Божьей Матери приходился на 29 июля, как раз на жнитво и уборку ржи. В прежние годы хлеб как-то дольше на корню стоял, поспевал "спажинками" в Успенский пост. Жнитво начинали около первого Спаса — Преображения Господня и кончали около Успенья — 15 августа. Я помню даже, как один год жали у нас на Успенье в полушубках. Из года в год, по неизвестным причинам, объясняли это тем, что кругом вырубались леса, климатические условия изменились, и хлеб стал поспевать

раньше и раньше. А первые годы нашего хозяйства Смоленская приходилась сплошь да рядом на самую уборку. То она прервет жнитво, то возку.

Храмовой праздник в деревне то же, что время года, дождь, солнце, вообще сила природы, бороться с которой нельзя и надо только подчиняться — потому праздник тоже от Бога, а к храмовому еще добавляется чувство собственности. Это свой праздник, и он празднуется три дня. Он не потому свой, что он местный, а потому, что храм строится самими, своими руками. Кирпич на него били сами, потому из поколения в поколение поповские мужики, как и все храмостроители, были кирпичники. Тут уж ничего поделать было нельзя. Брат встречал это спокойно, я же никак примириться не мог. На мое счастье, в последние годы во время единоличного моего хозяйства климат так изменился, что хлеб зажинали не ранее Ильина дня и успевали убирать к Смоленской. Напряженное внимание и любовное отношение к урожаю росло по мере приближения к уборке и в день зажина и в дни жнитва, которое длилось обычно около недели, все ходили, как на пружинах, все были проникнуты сознанием, что день был хорошим.

Дело налажено было так: жнитво подесятинно раздавалось в течение всей зимы и весны. Брали под жнитво деньги, муку, дрова, шерсть и всякую всячину, но больше всего муку и дрова. Давали под расписки, а то и так, на память, только записывали в конторскую книгу. Бывали, конечно, случаи неотработки, но, в общем, как правило, отрабатывали безнедоимочно. Взыскивать судом никогда не приходилось. Кто по семейным обстоятельствам не мог выполнить работу, тому она отсрочивалась на следующий год, но и это бывало очень редко. За неделю верховые ездили по деревням, оповещали по спискам и вызывали к назначенному дню на

работу. Обычно в 2–3 дня все десятины были заступлены, а дней за 5–6 все поле уже было в копнах. Мы тогда целые дни пропадали в поле. На каждой десятине побываешь несколько раз в день. Надо было посмотреть, где какая рожь, сколько становится копен, с каждой жницей поговорить, кого ободрить, кому пообещать прибавку сверх взятого зимой за хорошую рожь, за усиленную работу, надо было определить вприглядку, когда закончится жнитво, сколько всего встанет копен, насколько они сухи, придется ли им выстаиваться или прямо возить. Вечером, бывало, придем домой — все вопьются в нас, слушая за ужином наши рассказы с поля. Наконец наступала возка.

Возили свои, поповские, обществом, и соседние деревни — Лазаревка, Замарино, Желудевка, Мазалки, Никольские Выселки. Возили за угоды, брали под угоду для скота леса. До того как на полях появится корм, до Троицына дня, пока не заказывались луга, скотину гоняли на росу в леса, где трава показывалась раньше, и после зимы скотина скорее оправлялась. Дружная общественная работа давала возможность разом очистить поле и выхватить хлеб из-под дождя. Работа связывалась со старыми, крепостных и барщинских времен, традициями и сопровождалась угощением.

Горячка в такую возку была невообразимая. С утра раннего готовили гумно и падерни под скирды. В эту пору все заняты своим хлебом, поденки, сколько нужно, достать нельзя. Собирали всех, кого можно: стариков сторожей из лесов, всех до одного человека со двора и кого можно из дома. Трудно было управиться с народом, когда наедут сразу сорок, а то и восемьдесят подвод. Каждый торопится скорее скинуть снопы и опять ехать в поле, чтобы успеть вывезти, что приходилось на его долю по раскладке, а раскладка делалась по числу голов скота, что пользовались угодой.

Надо было принимать снопы с подвод без задержки и класть их живо, чередом, чтобы не испортить скирда. Все друг друга торопили, умаривались так, что пот градом катился, доставалось и людям, и лошадям, которых порожнем гнали в поле вскачь, чтобы захватить ближайшие копны. На дороге к полю пыль стоит — не садится, на гумне, как на ярмарке, шум, крик, тележный грохот. Мы с братом целый день верхами гоняем то в поле, то на гумно. В поле — смотреть, чтобы подбирали копны подряд, не оставляли крестцов, снопов, помогать, кто без пары — в одиночку, накладывать; на гумно, чтобы не давать застаиваться подводам, чтобы кладка шла аккуратно в подборку, снопы, розвязь не валялись. К каждому скирду приставлялся свой архитектор, который охаживал его треплом, выводил ровные стенки и выгонял поплотнее пеледу — защиту от дождя, на которую ложилась солома, крыли скаты.

Брат командовал в этой суете и гуще, как добрый капитан на корабле. "Дядя Лаврентий, затяни волот, нажми сноп-то в узгу, выпяти гузо; чего, стоишь, Арсентий, ты малый молодой, смени Челичкина, видишь, упарился старик, Тимофеич, хозяйствуй, где трепло, видишь, боковина у тебя опупистая вышла, ты должен забить ее, подбей споднизу хорошенько, ну, ребята, пошел, не стой, пожалуйста, Федот, вали передом, где вы, невесты, подбирай розвязь, заметай зерно". Всякий знал свое дело хорошо, учить было некого, надо было только дирижировать. С дирижером-хозяином стройнее и веселее шла работа.

Все шло по вековечным традициям и приемам. Раз испортили кладчики пеледу, скривили ее. Предложил кто-то исправить дело, чтобы не было застоя, выложить на ней вторую. Сейчас же посыпались со всех сторон возражения: "По новой моде захотел, нешто можно, ты второй ряд выложи, у тебя гузо-то поды-

мется, затечь будет, весь скирд пропадет". Новая мода вообще не допускалась. Яков Большой не упустил случая преподать по этому поводу поучение притчей. Оперся на вилы: "Так-то,— говорит,— поп привел к кузнецу лошадь, подкуй, говорит, мне лошадь, да не как людям, а как мога лучше. Как же, думает, кузнец, подкую я ему не как людям, а поп куражится над ним: ты должен, говорит, понимать — это я поп, а не который, значит, протчий. И подковал ему кузнец лошадь по новой моде — задними шипами наперед, а передним назад. Собрался поп на ярмарку, пондравилась ему там рыбка, дай, думает, уважу попадью, куплю ей гостинца, привезу рыбку. Бросил кулек в головашки, а рыбка на ухабе и обронись на дорогу. Бегла тем разом через дорогу лисица, почуяла рыбкой пахнет, напалась на ее и зачала шаркать — туда-сюда, дай, думает, по следу побегу и вдарилась — по следу-то так, а по делу-то взад. А поп до двора доехал, всею рыбку растрес, вылезает из саней, кличет попадью: "Вот тебе, матушка, гостинца привез", хвать за кулек, а он пустой. Поругала его попадья. На утро выходит поп на двор, глядь — от ворот след свежий по пороше. Ахти, лошадь увели. Вдарился бежать, бежит, альни дух захватило, не упущу, значит, по свежему следу-то, настигну. Добежал до города и искать негде. Ворочается домой, а попадья на крыльце встречает, гостинца приготовила: "Ополоумел ты, поп, што ли, лошадь во дворе стоит, а поп со двора сбежал". "Вот она, новая мода-то". Ну и дядя Яков сложит тоже, новая мода-то и попа одурачила, и лисицу одурачила, она и, верно, кажного одурачит". Яков, довольный, ухмыляется, а тем временем пеледу переклали заново, стали затягивать снопы, верх выводить и скирд вышел "справедливый".

Новшества вообще в крестьянском миру приемлются с большим трудом, хотя бы они были и явно полезные. Старое, веками оправданное, все кажется надежнее. Оттого-то с таким трудом и так медленно плуг сменял соху. Так трудно выпускать ее из рук, когда она матушка тысячелетия от Микулы Селяниновича служила верой и правдой.

Брат Алексей служил мировым судьей в Алексине и должен был два раза в неделю ездить из Поповки в город. Ездил он на беговых дрожках и захотел заменить обычную нашу упряжку немецкой, шорной. Старшие братья вообще нахватались заграничного духа, нам совершенно чуждого, и на все наше наводили критику, которая нас раздражала. Устроил он себе хомут без гужей, долго возился и смело и торжественно поехал на своем пегаше в полурусской, в полунемецкой запряжке. Принцип был выполнен, дуги не было, но вся картина получилась как-то неуклюжая. Еврасий, тележник, который выполнял по указанию брата это новшество и которого он долго убеждал в рациональности его, с горькой усмешкой проводил его со двора словами: "Как корова комолая, все бы хоть легонькую дуженку, а надо бы", и великое было его торжество, когда по возвращении из Алексина у пегаша оказались побитыми оба плеча, а потом — приспособляли, приспособляли, так ничего и не вышло и отставили новую моду. Шорной запряжке нужен был и соответственный экипаж, а без него ничего не вышло по нашим дорогам, кроме побитых плечей.

Когда на гумне вырастала слобода скирдов, все преисполнялись внутренним ликованием, у всех сердца радовались — это итог трудового года. Папа́ по нескольку раз в день приходил на гумно, а иной приводил и мама, которой было очень трудно подниматься туда на гору, но так хотелось полюбоваться работой сыновей. Папа́, в серой шляпе, с толстой камышовой палкой, с белой рукояткой слоновой кости, сгорбленный, осто-

рожно вел под руку мамá, еще более сгорбленную. До гумна всего пять минут ходьбы, но они шли долго, с передышками. Встречные останавливались и как-то сердобольно приветствовали их, скидывая картузы, и низко кланялись. К нам привыкли, мы целый день вместе на работе, а стариков видали редко, особенно на такой общественной работе. Их очень уважали и относились к ним с великим почтением. Когда они приходили, шум и гам умолкали. Издали, увидав их, передавали друг другу: "Старый князь идет", и когда папá входил в гумно и, здороваясь, говорил: "Здравствуйте, друзья", все приветствовали его и начинали, кто выхваливать урожай, погоду, свою работу, как в раз с поля хлебушко схватили, кто вспоминал старину, и вообще вступали в дружескую беседу. "Уж и ржицу Бог уродил нынче, снопа не подымешь, а убрали-то — ведренная прямо под молотилку, гляньте, Ваше сиятельство, волоть-то какая — под старновку на семенца, благодарить Бога надо. Уродил Господь, ни в кои-то годы". Острыми, карими глазами папá радостно смотрел на всех и, сказав какое-нибудь веселое, бодрое слово, уводил мамá с дрожащими губами и слезами умиления на глазах. Старый мир был растроган работой и успехами нового. Все горечи и неприятности, которые он нес с собой, забывались, и старики готовы были плакать от нежных и умильных чувств.

Вечером у скотного двора на скамейке у рабочей мы с братом угощали народ — подносили водку и на закуску выносили хлеб, огурцы, лук, яблоки. Подносили по череду возчику и всем, кто был на работе. Подносили иногда до четырех раз по чайной чашке, что называлось, до полного удовола. Это не было пьянством. Со стороны это могло показаться главным образом потому, что это было массовое угощение, можно было подумать, что возили только из-за водки, что здесь

было спаивание и эксплоатация. Всякий раз по этому поводу бывали разговоры дома, и всегда к водке относились отрицательно. На самом деле предосудительного в этом ничего не было. Из другого мира других понятий и взглядов это могло казаться. Надо было жить одной общей жизнью с этим мужицким миром, чтобы понять, насколько по существу это было естественно и сколько в этом было взаимной благожелательности, вытекавшей из простого добрососедства. Никогда это не сопровождалось безобразием.

Напротив, здесь часто выливались нежные чувства в своеобразных сантиментальных формах: "Милый, Васяся, день-то как свершили, ну-ка поднеси еще стаканчик — с поля убрамши". Общее настроение было именно таково, что оно лучше всего передавалось словами "с поля убрамши". Воздух насыщен запахом свежей ржаной соломы. Все чувствуют себя, как на высоте, на которую взбирались целый год, — с одной стороны, свершенный ржаной год, убранное поле, с другой — приготовленная под сев пашня, свежие семена — из земли в землю, чуть не в тот же день.

Ничто не дает такого непосредственного ощущения великого круговорота жизни, ни одно дело рук человеческих не дает такого ощущения вечности. Посмотришь на другой день после уборки на жнивье, оно уже задернуто паутиной. Овдовевшая земля с убранной жатвой с грустным беспольем. И на поле и в душе сразу водворяется осень. Лето кончено. А через неделю, глядишь, начинается новая жизнь — красной щетинкой выходят озими, и каждый день бегаешь глядеть, как они выходят из краски, кустятся. Все радуются на них и, как к младенцу в доме, привязываются сердцем, связывают с ним надежды, так мысленно лелеют милые зеленя, провожая их под зимний покров: "Сохранил бы их Бог"; "Осень-то всклочет, а весна: еще как захочет".

Уборка овса вслед за рожью уже менее значительный хозяйственный акт. Убирать его скорее и легче. Коса не серп, берет с маху, копны овсяные легче, и становится их меньше на десятине. Но и овсяное поле дает тоже приподнятое настроение и тоже радости. Неизъяснимо красиво его загнутое колесом колыхающееся с боку на бок темно-зелено-синее перо, а когда он выкинет свою метелку и сгустится — его сеют гуще ржи — поле принимает могучий вид, ласкающий своей особой мягкостью. Оно мягче ржаного, как солома его мягче ржаной. Оно нежнее и сроки его короче. За лето все больше глядишь на рожь, а на овес оглянешься, а он уже побелел, и не заметил когда. Рожь старше, а овес гонит, подтягивается к ней, и в одно время, глядишь, поспел.

С уборкой овса кончается летняя страда. "Овес на гумне, бабье лето на дворе". Пойдут льны, конопли, картошки, а там, с Иванова дня, настоящая осень с дождями, с невылазной грязью, с первыми заморозками, с колочью, с темными долгими ночами, и, наконец, около Покрова Пресвятой Богородицы белая пелена снега с веселым первопутком. "Пришла Пречистая — все причистила". За лето в работе не замечаешь, как время скрадывается: "Петр и Павел на один час убавил, Илья пророк целых два уволок", а как пришел Покров, день сразу показывается с половину летнего, и не знаешь, куда девать время без дела на дворе. Понемногу перестраивали день на зимний лад. После ужина сидели все вместе, потом разбредались по своим комнатам, опять собирались к чаю и опять сидели по своим углам. Папá в это время усердно занимался литературным трудом. Он написал в эти годы своего "Петрушу Перлова", "Дяденькины рассказы" для сельской школы, потом свои воспоминания и несколько стихотворений. В них отразилась происходившая в нем

внутренняя работа и его отношение к перерождающейся жизни. Рассказы его были напечатаны "Обществом распространения полезного чтения", а стихи так никогда и не были напечатаны. Особенным успехом пользовались у нас его стихи "Пахарь".

Пахарь

Был вечер... яркой полосою
День на закате догорал.
Склонясь над нивою родною,
Шел пахарь... Месяц встал.
Вот над алеющим востоком
Горячим, радостным потоком
Вновь занялась заря...
А пахарь шел стопою мерной,
Как раб евангельский, раб верный,
На пашне борозду творя.

О, дай и мне, о Боже, силы,
Святой закон свершая Твой,
Трудиться бодро до могилы
На ниве жизни трудовой.
Дай эту жизнь трудом отметить,
Дай сбросить пагубную лень
И за трудом, как пахарь, встретить
Мне новой жизни новый день.

В семейной памяти сохранились только еще два его стихотворения — "Да, годы, как воды" и "Тропка".

Да, годы, как воды, уносят
Утраченной юности сны и мечты.
И чувства не ищут, не просят
Мишурных игрушек мирской суеты.

Для них уж давно нет привета
В моей охладевшей крови,
Но разум все ищет сияние света,
А сердце все жаждет любви.

Тропка

Снежная равнина
Ель, кусты ракит.
Ой, ты мне чужбина,
Безотрадный вид.

Но по ней, как змейка,
Вьется тропка вдаль,
Прочь же, грусть-злодейка,
Прочь, тоска-печаль.

Встану до рассвета,
Богу помолюсь
И по тропке этой
Я домой пущусь.

Пусть клокочет вьюга,
Рвется и ревет,
До милаго друга
Тропка доведет.

X

Брат Сергей с детства страстно любил русскую историю. Осенями и зимами в долгие вечера он предавался чтению книг по русской истории. У него была на нее особая, счастливая память, и он прекрасно знал ее. Позднее, когда он окреп в деревенской жизни, проник в глубины ее и сроднился с нею, он старался в эти

свободные вечера передать духовную сущность деревенского мира в литературных формах и написал несколько стихотворений и рассказов. Самым удачным был рассказ “Степка Безкартузный”, написанный вроде рассказа Толстого “Бог правду видит, да не скоро скажет”. Написанный местным тульским языком, который был усвоен братом в совершенстве, он вскрывал духовные мотивы деревни, изображая ее текущую обыденную жизнь. Материалом послужили близкие друзья – хозяйственный мужик, мужик-миротворец Иван Рыжий и смиренный Фирсан, который пользовался особенной его любовью. Фирсан был помощником скотника Степана Ратана. И Фирсан, и Ратан были родственные типы, только Ратан был, что называется, “при себе”, а Фирсан был “не у полном разуме”, безобидный, в полном подчинении у Ратана – молчаливом и безответном, всегда и везде на последнем месте в полном сознании, что оно именно и есть его место. Люди за стол садятся, он никогда не сядет, стоит сзади, через спины тянется ложкой за щами. “Садись, Фирсан, место есть”.– “Ничего, я постою” – и добродушно улыбается. Ничего ему не надо. Лето и зиму на нем один и тот же зипун, висит, как на палке, оборкой подпоясан, летом без картуза, зимой поверх картуза красным платком повязан, сапоги не знал, всегда в лаптях. Глаза прищуренные, смеются, весело подмигивают. И на самом деле он всегда был в веселом настроении. Безотказный и слабосильный – всегда над ним смеются: “Фирсан, видишь не под силу, подсоби”; “Эх, Фирсана нет, с ним бы духом подняли”. “Я вот она, братцы”,– весело откликается Фирсан и кидается помогать, зная, что он последний в деле муравей. Над слабостью его смеялись, но за смиренство любили.

Смиренство вообще очень высоко ценится в деревне. Смиренство уважают и любят, о нем в песне поют

“Полюбила я его за смиренство за его”. Простой, тихий, смирный пользуется всеобщим одобрением — это идеал. Высшая моральная аттестация человеку: “как его и нет”. Фирсан и был воплощением этого идеала смиренства — “как его и нет”. Себя считал ни во что, не включал себя в общую жизнь, жил в ней отшельником. Черты такого смиренства проблескивают в низах народа россыпью, в каждой деревне, почти в каждой избе найдется простая, смиренная душа, она родится на русской почве, как свойственная ей флора самосевов, ее не замечают, как не замечают привычную флору. Она становится видной, когда отмечается самой природой. “Не у полном разуме”, полудурачки, юродивые, слепые, нищие, убогие, странники — богомольцы, обиженные судьбой, все, отмеченные горькой юдолью за смиренье, с которой несут ее, причисляются к разряду Божьих людей. В грубой реальной жизни они служат опорой того идеала, который живет в народной душе в отвлеченных образах. Любимые русские святые угодники, молитвенники и заступники владеют ею именно своим смирением, кротостью, самоотданием. Ничто не трогает так русскую душу, как отрешение в миру от мирского. От них свет и благоухание духовное. В преодолении себя, в затворе, в поборании мирского в миру постигают они тайну самообладания, находят для себя интенсивную деятельность в глубочайшей тишине умной молитвы и среди высшей деятельности тишину пустыни. Таковы — Никола угодник, батюшка, сердоболец, заступник всякого живота, преподобный Сергий Радонежский, святитель жизни, таковы более близкие к нам по времени старцы Паисий Величковский, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский и современники наши: Нектарий, Анатолий Оптинские, Алексей — затворник Черниговского скита Троицкой Лавры — кроткие, тончайшие, одухотворенные мудре-

цы и провидцы, светильники ровного света любви и ясной правды, утешители в скорбях и горестях.

Первичные черты смиренства интересны не столько сами по себе, сколько отношением, которое они вызывают к себе. К нам всегда приходил к покосу добродушный дурачок Рухлим. Он привлекал сердца своим невинным видом. Склонив голову, держит какую-нибудь былинку и перебирает ее руками, как шекспировская Офелия. На покосе он изображал приказчика — “располяжаля”: “Я, Васяся, располяжаюсь, я им приказал, чтобы получше”. Ходил, понурив голову, за народом, неожиданно кидался с криком на поденку, спотыкался, путался в валах сена и умолкал, опуская глаза на свою былинку. “Рухлим, Рухлим, что же ты не распоряжаешься, смотри упадешь, сердешный, оборки-то у тебя развязались, пойди перебую тебя” — и, посадив его на копну, Аксинья Шубенкина, степенная, хозяйственная баба, переобувала его, как своего ребенка. “Приходи, Рухлимушка, под праздник, я тебе постираю, рубашка-то у тебя, небось, с летошного покоса не стирана”, “Рухлим, иди садись за стол, на вот тебе ложка побольше, поди, давно щей не хлебал”.

Авдотья Желудевская — зимой босая бегала, прибежит, бывало, сидит в сенцах, болтает ногами, показывает: “Васяся, глянь-ко, ноги-то у меня, как у гуся, ей Бо пра... замерзла, ей Бо пра... чайкю бы горяченького попить... не емши я, однова дыхнуть, не емши и вчерась не емши, и позавчерась не емши, провалиться мне на этом месте, отсохни мои руки-ноги, лопни мои глаза, не выйти мне из Вашего чуланчика, все бегла, все бегла ей Бо пра...” — Да куда же ты бегла?” — “Не знаю, не знаю, миленькия, все бегла, альни дух захватило, ей Бо пра...”.

Параша-кухарка, умная, очень сердобольная женщина, приносила ей горячих щей, всячески ухаживала

за ней вместе с сестрой Маней, которая собирала для нее специально кусочки белого хлеба, давала ей чайку, сахарку, всякое тряпье — старые чулки, обувь, отогревали, обували ее, а она добродушно и весело смеялась: "Вот, я к тебе, Васяся, в дети пойду, да бежать надо, опять побегу, ей Бо пра... разуюсь побегу". — "Да что ты, Авдотья, тебя обули, а ты разуваться, да куда же ты побежишь то?" — "Не знаю, не знаю, миленькие, разуюсь побегу, ей Бо пра...".

Степа-звонарь — маленький, горбатенький, ходил по праздникам храмовым, изображал колокольный звон всех церквей в совершенстве, артистически. Он входил в азарт, воодушевлялся, ходил взад и вперед по комнате большими шагами, представляя, как качается язык колокола, и начинал: "У всех святых, у Туле", и гудел грудью медным густым басом — а у Петра и Павла, а у Изволи, а у Першином, а у Панском — самая маленькая церковка, а тоненьким гортанным голоском разделывал трезвон мелких колоколов. Мало того, он улавливал перезвоны разных звонарей: "Роман Задуев... а Васька Алаев". Выходило очень хорошо и точно, каждый узнавал безошибочно. "Ну и звонарь, Степа, ловко разделывает. Ты бы, Степа, дождался у нас праздника, позвонил бы." — "Некогда, у Калугу надоть, купцы наказывали к празднику" — "Да ты брось купцов, у нас поживи" — "Обижаться будут, нельзя обидеть" — "А нас-то за что обижать?" — "Энти наперед просили, к Вам опосля приду" — "Ну пущай идет, он лучше знает, Божий человек" — провожали его, умиленные.

Даже такой надоедный дурачок, как наш Миша-свинарь, который вырос у нас на скотном дворе и, можно сказать, сделал карьеру, пройдя всякие должности, и тот пользовался общей любовью, несмотря на то, что надоедный. Надоедный он был потому, что "квохтал".

Что бы ни делал, все громко кряхтит, идет один и кряхтит, издали слышно: а, а, а... квохчет, как курица. Услужлив был до несказанности, на все готов, всем надоедал и всем норовил помочь. Не мог равнодушно видеть, кто что делает: "Дай подсоблю". Смолоду был почти полный дурак, а потом стал выправляться на работе и хотя остался "не у полном разуме", мог исполнять всякую работу и точно выполнял всякие поручения. Когда его приставили за свиньями ходить, он неожиданно зарубил свинью топором и никак не мог объяснить, что на него нашло, целый день плакал, утираясь рукавом. "Свинью зарубил, полон рукав слез наплакал", — смеялись над ним. К полевой работе он так и не приспособился, не мог ни пахать, ни косить как следует, а по двору делал все, возил воду, ездил на почту и, наконец, в качестве доверенного лица — он был абсолютно честен — ездил в Тулу за товаром и привозил все аккуратно и до копеечки отдавал отчет. Где бывала неуправка, Миша всегда выручал. Он наслаждался, что может "заместо людей" и страшно любил, когда его хвалили. "Васяся, я сталаюсь" — "Молодчина, Миша, старайся" — "Васяся, я ей-Богу сталаюсь". Он был очень сильный, полкуля соли таскал легко, но чуть занездоровится, плакал, как ребенок: "А ну-кась, Васяся, я помру, вот мне беда-то будет". Тыкали его всюду, во всякое дело, смеялись над ним и издевались подчас, но за безответность и услужливость, за тихость и смиренство ценили и по любви его к похвале иначе и не обращались к нему: "Ну уж и Миша, вот молодчина Миша, ах, Миша — золото". А он расплывался от удовольствия. Он принимал свое звание — "не у полном разуме" совсем безобидно, как факт, не вызывающий никаких возражений. Лет двадцати пяти он собрался жениться и со всеми советовался, приставал: "А где же я себе невесту сосватаю, а

нукася она не пойдет за меня — у полном разуме". Немало смеялись над ним, а он все-таки отыскал себе невесту из голи деревенской и женился, потом без конца ко всем приставал, рассказывал, как свадьба у него была "честь честью, пироги спекли и гости пьяни были". Немало дивовались на него: "Вот нужда-то замуж идет, горе женится". Жена от него скоро ушла, он все бегал искать ее, возвращался, громко квохтая, и заявлял, разводя руками, "нетути, не нашел".

Нигде как в деревне не встретишь такую легкость примирения с бездольем, с убогостью, слепотой, с неизлечимой болезнью. Господь терпел и нам велел. Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, потерплю и я. Смиряются с крестом своим и несут его, как нажитую собственность. Ропот не трогает сердца, а примирение вызывает искреннее соболезнование.

Был у нас лесной сторож Ермил, эпилептик, прямо мученик. Он рассказывал, как на него находит "сумасшедшая" три раза в месяц — на молоду, под ущерб и под исход, будто это его и не касается, и спокойное отношение к своей участи вызывало к нему особое сочувствие. Его иначе и не называли, как "болезный". Илюша — внук Евтея лисятника, от рождения слепой, рассказывал, как он чуть помнит солнышко на заре, а темная вода затопила его, с доброй, веселой улыбкой, словно ему взаправду весело. Когда он вырос и пошел по миру и после долгих странствований возвращался в Поповку, его все встречали, как родного, а он лез со всеми целоваться и весело рассказывал, где перебывал, где хорошо, где плохо, точно взаправду он все видел, пел стихи, рассказывал про свою слепую братию, говорил на их языке.

У слепых свой язык, поводырь передает им обстановку, кто навстречу идет, едет, кто в избе сидит. Сообразно с этим они и ведут себя, запевают соответственные стихи. Осталась у меня в памяти только одна фраза — "котырь хлит на волоку", что значит парень идет верхом. Он был всегда очень оживлен, пел стихи, точно серьезную работу исполнял, никак не выражал тяготы своего положения, говорил о своих заработках совершенно так же, как любой работник о своем отхожем промысле: "Нонче весна задачная задалася, у Киевском были, думали за весну смотаться туда и назад, а дело вышло, почитай, до Петровок пробыли у Киеву-то, подача была хороша, под Смоленскую только домой угадали". "Сколько же выработали-то?" — "Да на брата побольше катеринки досталось". "Да почем ты катеринку знаешь-то?" "Ну как же не знать". Ему казалось совершенно естественным, что без глаз он разбирался в житейских делах не хуже зрячего. Слепой на мирском подаянии, он был избавлен от подачи в доме, с него спрашивать нельзя, ему Бог свою долю на обдумку послал. Обдумал он себя скоро, выстроил просторную избу, женился, детей у него была куча и жил хорошо, да Бог жизни не дал, скоро помер, и вдова его, Марья рябая, без заработка слепого мужа скоро скатилась в нищету. Илюшу не только любили, его все уважали. "Даром что слепой, никому не покланяется, стало быть, от Господа Бога уполномочен хозяйствовать, слепой вот, а лучше зрячего живет". Слепые вообще Богом взысканные. Кому подать, как не слепому? Света Божьего не видит, радости не знает, в миру живет, а не мирской.

В этом отшельничестве в миру есть что-то таинственное и привлекательное, в нем открывается то, что не открыто мирскому. Когда меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, я всегда отвечал, что хочу быть лесным сторожем. Мне всегда казалось, что особенно заманчиво жить одному в лесу как лесные сторожа. У них своя особая жизнь. Они не знают суеты, а зна-

ют, чего не знают другие. Мне все казалось, что у леса, особенно старого, векового, особая душа, что старые деревья хранят что-то, что в них прячут, что они накопляют веками. От дремучего леса веет чем-то сокровенным, таинственным. Лес говорит, шепчет на ухо, проникает в душу на заре — голосами просыпающихся птиц гулко, звонко, весело, в солнечный день — игрой листа и света, сумерками — косыми лучами заходящего солнца на стволах, ночью — глубокой тишиной. Дождь пойдет каплями, падающими с листьев, ветер пойдет зеленым шумом, зимой инеем, следами лесной твари. Под сенью векового леса, как под куполом древнего храма, скопляется история, говорит древность, в них дух народный дышит. С глухими лесами связана вся история земли русской, в них возникали монастыри со скитами — защита, опора и источники света духовного. В лесу будто и не видно жизни, а к нему тихо скатываются волны ее с полей и весей, в нем слышен пульс, заглушаемый там базарным шумом. Так слепой не видит, зато слышит больше зрячего — мир у него освящен духовным видением.

Пришлось мне как раз в период студенчества моего прожить одно лето в Новоспасских Выселках Богородицкого уезда за год до продажи нашей земли там. Было решено до продажи попытать счастья, поискать там руды железной. В Богородицком и Крапивенском уездах она раскинута повсюду "кулигами", островами. Неподалеку от нас, в Богучарове и Оленях, шла большая добыча, мужики добывали ее на своей земле и работали на помещичьей. В Новоспасских Выселках у нас не было никакой усадьбы, была только сторожка, шестиаршинная изба, крайняя на слободе. В ней я и поселился, прожил пол-лета и всю осень, сам себе пищу варил. Осмотрел я соседние рудники, полазил по дудкам, нанял двух рудокопов, прокопал сотни две рублей, руды не нашел, только кое-где признаки оказались, а на хорошую кулигу так и не напались, тогда и решили землю продать.

Рудники тамошние — чисто мужицкая горнопромышленность. Пробивались до руды "дудками" в три четверти аршина диаметром, без всяких крепок, с расчетом на мороз да на авось. Иной раз сажен по двадцать и больше вглубь вкапывались. Зимой в чистом поле стоят соломенные щитки от ветра, вьюги, и таскают из глуби руду кадушками пуда по три, по четыре ручными воротами. Рассыпанные по снежному полю кучи руды, как кротовина на лугах. И рудокопы сами похожи на кротов.

Вели работу без всяких инженеров, инструкторов очень искусно. Дудки как сверлом сверленные, аккуратные, гладенькие, а под землей штольнями шли, встречались ходами из разных дудок. Дело знали свое великолепно, пройдут хомяковину, потом красику, потом синику и по грунту безошибочно угадывали, будет ли руда. И несчастий не слыхать бывало. Рассказывали, как под Рождество шла полем дурочка, да и провалилась в дудку. После праздника заступили на работу, спускается в дудку рудокоп, а дурочка схвати его за ноги, "тебя-то вот я и дожидалась". Он обмер, от страха тут же и помер. Вытащили дурочку, она все святки в дудке пробыла, все свечи сальные там поела, что оставались в запасе, с ними в штольнях работают.

Сижу я раз на Выселках у Антона Гришина в большой кирпичной полутемной избе — семья у него большая, душ восемнадцать. Утром все ушли на работу, в избе остались только старуха бабка, сноха старшая у печки и я — дожидаюсь, когда картошки поспеют, любил я верхние картошки, когда они залупятся, зарумянятся и дымком их соломенным прихватит — в степи соломой топят. Сидим, молчим, вдруг входят в избу

мальчик в белой рубашке, босый, белокурый, льняные волосы, глаза светло-голубые, держит палку за конец, а за другой конец держит ее слепой высокий старик, в громадных сапогах с широкими раструбами, а за ними слепая старуха, рябая, в синей поневе и в таких же сапогах. Вошли в избу, перемялись с ноги на ногу, перекрестились на иконы, мальчик сказал какие-то непонятные слова на своем языке, и запели все вместе. Помню напев, а слова почти все запамятовал.

Милостивые матери, желанные тетеньки,
Отрежьте холстинки...
Вспомните вы, матери, смертный час,
Как вы деток порождали,
На сыру землю кровь проливали.

А мы-то горькие, несчастные,
Света Божьего не видим,
Век свой плачем, воздыхаем,
Никого не знаем,
Только знаем имя Христово.

Мальчик пел таким тоненьким, звонким голоском, у него было такое светлое личико, такие спокойные, грустные лучистые глаза, что мы все невольно загляделись на него. Оборвав пенье, все хором кончили обычным: “Подайте слепеньким Христа ради”. “Иде же ты, Никита, поводырька-то взял? Чей поводырек-то будет?” — “В Дедловом, миленький, по весне взяли. Тарасов отдал сиротку богоданного. Вот оборкался [1], а то плакал все, ходить с нами спервоначалу трудно ему показывалось”. Сноха вытащила из печи картошки, облокотилась на ухват, умильно глядит на мальчика, а

[1] Привык — (обл.).

бабка полезла за опечье, вытаскивает холстины кусок, подать ему: “На вот на онучи, на помин души раба Божия Алексея”. Она зимой схоронила старшего сына. “Ну и поводырек у тебя, Никита, иде же только такие родятся, соблюдай его, не нугри дюже” — “И так соблюдаем, зачем нугрить”. — “Спаси вас Бог”. Повернулись и ушли. Я выскочил за ними и долго глядел, как они шли гужиком с высокими лещиновыми палками, с длинными мешками за плечами, перешли мост через речку и повернули тропинкой по ржам на Кузнецово. Вот так-то — по ржам, по лугам, по лесам, по садам, деревням, по городам через степи, через реки на звон монастырский, на колокола церковные, как по вехам через всю Расею — и без глаз, слепой, узнаешь, какова она есть “мать Расея”. Мимо пестрядины-то житейской — к душе ближе, слышнее она.

Долго звенело у меня в душе “Никого не знаем, только знаем имя Христово”. Много лет спустя, когда Нестеров написал свою картину: мальчик Варфоломей в белой рубашке, с уздечкой в руках стоит перед старцем игуменом — будущий святой Сергий Радонежский, — глядел я на нее и невольно вставал передо мной облик моего поводырька. Где Нестеров видел его? Где теперь он — мой поводырек богоданный? Может быть, спасается где-нибудь в лесах темниковских, обрел Христа в сердце своем. С тех пор, с Новоспасских Выселок, заменил я мечту свою быть сторожем лесным мечтой — пройти, как слепые, сквозь всю Россию, собирая в ней россыпь духовную Царства Божия, невидимую, но слышную, как в лесу дремучем или в храме древнем слышны голоса исторических, отживших эпох. Не исполнилась мечта моя, но много раз посчастливилось мне в жизни входить в невиданный чертог души народной.

Сестра Маня в этот период моего студенчества вышла из детского возраста и стала принимать в жизни и

в работе нашей деятельное участие. Все детство она страдала страшными головными болями. Здоровье ее еще в Москве внушало большие опасения. Она почти не могла учиться. С переездом в Поповку головные боли стали реже, но скручивали ее иногда так, что целыми неделями выводили ее из строя жизни. Все дома ходили тогда на цыпочках. Родители страдали за нее, не зная, чем помочь, ни советы врачей, ни применение разных рецептов не помогали. По-видимому, боли были наследственные, ибо старший брат Алексей тоже страдал ими и никакими способами не мог избавиться от них. У мамá были отчаянные головные боли, но к старости они прошли. Надеялись, что и у Мани со временем они ослабнут и пройдут. Так и случилось. С возрастом они становились все реже.

Маня была общая наша любимица. Это не выражалось в сентиментальных чувствах, а жило как-то во внутреннем признании. Нельзя было на самом деле не преклоняться перед ее высокими душевными качествами, здравым разумом и полным отсутствием эгоизма. Мамá к концу жизни была так глуха, что была бы совершенно отрезана от жизни, если бы не терпение и нежность Мани, которая неотступно была при ней и не обнаруживала ни малейшей тягости, с величайшей выдержкой и терпением передавала ей все разговоры, все происходящее вокруг. Она была таким стражем, ангелом-хранителем при стариках, что нам, увлеченным хозяйственной деятельностью и жизненной борьбой, в которой так легко огрубеть, она была незаменимым компасом в нашем поведении. Она умела всегда вовремя сказать предупредительное слово. Ее ласка или просьба всегда спасали нас от ошибок. Не только в период юных лет, но и впоследствии, когда я был уже не юношей, а мужем, никогда не мог не смиряться перед ней. Самозабвение, с которым она ухаживала за престарелыми родителями, самоотвержение в любви к ним были так велики, что ее слово не могло не быть для нас законом. Вместе с тем наша работа не была чужда ей, она целиком была ей по сердцу. Она жила в мире наших устремлений, но умела своим участием в них придавать им мягкие формы.

Отец смотрел любвеобильно из старого в новый мир, а она также любвеобильно из нового в старый. Меньше всего она думала о себе, она всегда была полна заботами о других, начиная с родителей, семьи и кончая нищими, убогими, дурочками, прибегавшими к ней, как к своей покровительнице. Все, что вплотную соприкасалось с жизнью стариков родителей, было личною ее областью, весь строй долголетней жизни был реорганизован ею в полном соответствии с тем, как строилось хозяйство, но перестраивался он ею так, что ничуть не коробил стариков. От нее все шло и принималось, как ласка. Ни одной минуты она не была без работы. Чинила всем белье, кроила, шила платья, обучала кройке баб и вела кухню, молочное хозяйство — все-все в доме было за ней. Но, конечно, не в этих домашних хлопотах создалась ее роль примирительницы нового и старого мира. Работа ее была в духовной области. Своим тактом, любвеобилием, мягкой, нежной лаской она устраняла, сглаживала все трудные, острые моменты, утешала душевные боли, вносила спокойствие, когда поднималось внутреннее волнение, укрощала поднимающих бури. Мелкие инциденты оборачивались в шутку, а серьезные, принципиальные вопросы, вызывающие долгую глухую борьбу, разрешались иной раз слезами.

Отец попросил как-то у брата Сережи один рубль на церковь — у него ничего не было. Он был в мрачном настроении безденежья, и у него вырвалась угро-

за: "Ах, папа́, чем только мы будем расплачиваться с долгами?" Раздражение и упрек были явно неуместны. Папа́, как всегда, до слез смеялся над несоответствием такого трагизма с его рублем, а Маня превратила потом эти слова в исторические. Когда мы доводили наши требования до крайности, она говорила: "Ну конечно, а то чем же мы будем расплачиваться".

В изыскивании средств брату приходили иногда в голову варварские мысли. Однажды, никого не предупредив, во избежание возражений и сопротивления, он срубил в "Подывках" — так называлась лощина за скотным двором около гумна — два вековых дуба. Гиганты красили всю местность, их очень любили. Когда брат, сам смущенный своим поступком, сказал о нем, огорчение было большое. Всем было ясно, что из дубов этих ничего не выручишь, а главное горе было в том, что брат срубил их, ничего никому не сказав о своем намерении. Ему очень досталось от Мани, а срубленные дубы валялись много лет живым укором нецелесообразного варварства, хозяйственной запальчивости.

Затеял было он доказывать необходимость срубить старые липовые аллеи в "том саду" — сад за прудом. По его расчетам, лубок на короба для укладки самоваров, а стволы на фанеру для гармонных ящиков были самым товаром для Тулы и должны были дать значительную выручку, но против этой затеи ополчились все. Непременное украшение всякой помещичьей усадьбы — липовые аллеи наши были всем дороги. Все встали на их защиту, и после долгих семейных споров было вынесено решение, что усадьба в целом ее составе должна остаться нетронутой, и никаких покушений на нее, каковы бы ни были обстоятельства, не должно быть, ибо она должна считаться принадлежащей сестре Мане. Только она могла спасти аллеи от топора, но она спасала не их, а родителей от лишних огорчений.

При Мане была учительницей приехавшая с нами вместе из Москвы Татьяна Дмитриевна Колосовская, институтка Екатерининского института, она была раньше гувернанткой у Васильчиковых, потом у Олениных и перешла к нам, чтобы преподавать ей все предметы по институтской программе. Татьяна Дмитриевна была достойнейший, прекрасный, добрый человек, но типичная институтка, отрезанная от жизни, незаметно она попала в положение ученицы, воспитанницы и друга Мани. Она скоро передала Мане все свои знания, полученные в институте, потом обе вместе они продолжали общее свое самообразование, и, наконец, Маня стала воспитательницей и руководительницей Татьяны Дмитриевны: обдумывала ее и ухаживала за ней, как за стариками родителями. Без Мани Татьяна Дмитриевна жить не могла. Так она и дожила у нас в Поповке до скончания своих дней. Она умерла от рака на руках Мани.

Все эти годы в Поповке по отношению к внешнему миру были, что называется, совершенно глухие. Мы ни с кем не виделись, закопались в свои заботы и дела и никого не знали. Бывали раза два в год у Булыгиных, которые жили у себя в имении под Тулой, да из них кто-нибудь, обычно Дарья Михайловна с младшей дочерью Варей, приезжал к нам. Булыгины были нам отдаленными родственниками. Дарья Михайловна воспитывалась вместе с мама́ у Арсеньевой, с детства сохранились между ними дружественные отношения, и мы все ее любили. Она была умная и интересная старуха. Наши семейные отношения шли с Тулы.

Когда мы жили в Москве, одновременно с нами жил там один из сыновей Булыгиных, Путя, который

служил сумским гусаром, и Варя, которая была в Екатерининском институте, и наш дом заменял им свою семью, которая в то время уже закопалась у себя в деревне. Кроме того, у отца в то время были общие с Булыгиным дела. Их Некрасово лежало неподалеку от Богучарова, имения Алексея Степановича Хомякова, в котором были каменноугольные копи. Инженер Бек вселил мысль, что каменный уголь должен был быть и на некрасовской земле и ближе к станции Курской железной дороги, чем хомяковский уголь. Начали разведку совместно Булыгины и папа. Дело это унесло много денег и ничего не дало, кроме тяжелых разочарований. Оно увлекало, потому что уголь там действительно находился — его вытаскивали из пробных шахт, но здесь оказывалось: либо слой недостаточно мощным, либо вода одолевала, либо штейгер — мошенником. Это угольное дело принесло и нам и Булыгиным много горя и связало наши семьи денежными отношениями.

Мы любили Некрасово. В нем было много прелестей, которых не было в Поповке: река, луга, очень приятный дом, с чудным светлым подвалом — подвал нас особенно привлекал. Но и весь строй жизни, совершенно отличный от нашего, — построенный на старых дворянско-крепостных традициях. Все были лошадники, собашники, охотники и вели вольную, гульливую жизнь. Дом был полон собак всяких пород, и у каждого была своя любимица — пинчер, сеттер, борзые, легавые — все, конечно, замечательных качеств, валялись на всех диванах и креслах, разводили в доме грязь и вонь.

Центром всей жизни была конюшня. Лихой кучер Панфил был владетелем душ и героем — всякая поездка в Тулу — Некрасово было в 10 верстах от Тулы — была с приключением. Все разговоры вертелись вокруг этих приключений. Большинство их было связано с попойками. Самое любезное дело бывало зимой запрячь

тройки — поехать в Тулу, поужинать с хорошей выпивкой на Курском вокзале, пронестись лихо несколько раз по Киевской улице и, вернувшись ночью домой, рассказывать кому что сдавалось, что называется с пьяных глаз.

Пока был жив сам старик Михаил Иванович Булыгин, вся эта жизнь велась как бы тайно от него, хотя на самом деле он и насадил ее начало, и после его смерти все пошло в открытую и просто-напросто все запьянствовали. Михаил Иванович был ханжа, капризник и деспот. Он сидел у себя в кабинете, курил трубки с полутороаршинными чубуками,которые вместо казачков набивали ему сыновья, читал священные писания, служил в семейной моленной службы — читал молитвы и кадил кадилом, а под кадилом в его кабинете стояли ведерные бутыли с водкой, всевозможными настойками, наливками, и он целый день прикладывался к ним и угощал сыновей в награду за их услугу, а в наказание запирал их в моленной. Дети исполняли все его причуды, трунили над ним и обманывали его. Все это проделывалось в самых добродушных тонах. В доме вообще царила простота и добродушие, но из года в год мы замечали, как постепенно в доме все шло к упадку, а дети превращались просто в пьяниц.

В один из последних приездов наших в Некрасово нас положили спать в одних комнатах с Путей и Мишей. Проснувшись рано утром, Путя спрашивает: "Миша, а есть чем закусить?" Миша встал с постели, открыл шкапчик и говорит: "Есть арбуз", и они выпили по хорошей рюмке водки и закусили арбузом и опять завалились спать. Оба они рано умерли от запоя. Умерла от запоя и младшая сестра их Варя. Несчастная Дарья Михайловна всех пережила и в глубокой старости перебивалась почти в нищете

с дочерью Додо Игнатьевной в Москве. Все трагедии, связанные с такой жизнью, служили неисчерпаемой историей, которую рассказывали они во всех деталях, перебивая и поправляя друг друга: “Я говорю — Мама, а он говорит...” “Да, нет, Додо, это он сказал... а ты говоришь...” Они спорили, вспоминая каждое слово, кто как сказал много лет тому назад, и не щадили себя — никаких тайн не было, все рассказывалось из собственной жизни, как из прочитанного занимательного романа...

1925

ПАМЯТИ Кн. Г.Е.ЛЬВОВА



Икона XVII в. ярославского письма.
Принадлежала кн. Г.Е. Львову
и досталась по наследству Н.В. Вырубову

СЫН ОТЧИЗНЫ

На смерть князя Львова

I

На меня как будто смотрят его глаза, узкие, пристальные и пронзительные. Смотрят и слушают, и думают.

И знакомый, пронизывающий взгляд этот говорит так много. Кажется, что целая жизнь, целая эпоха и целая историческая часть нашей родины проходит перед глазами.

Я помню его почти мальчиком, воспитанником гимназии Поливанова, где учились мои братья. Меньшого из них он был товарищ, одноклассник и друг.

Он пришел к нам в первый раз вечером, весной, в наш старый особняк около Пречистенского бульвара — "Екатерининский особнячок", как значился он в иллюстрированных художественных изданиях — в "Столице и усадьбе", в "Старой Москве" и других, куда он попадал за свою необыкновенную типичность, за белые колонны с нишами и медальоны на фронтоне. При особняке была стеклянная терраса — "фонарь", открытый балкончик с каменными, проросшими травой ступенями, и маленький сад — весь в сирени, жасмине и яблочном цвете, с кустами смородины и крыжовника; в саду была старая, постепенно разрушавшаяся деревянная беседка, с трясущимся полом и пестрыми стеклами. В ней был горячий воздух и запах чердака. Братья для разнообразия иногда по ночам "готовились" там к экзаменам.

В больших комнатах дома и в мезонине, в кухне, стоявшей в глубине затянутого травою, немощеного двора, по которому я ездила верхом, — нас жило много. Родите-

ли мои и братья, и "люди", как называли тогда слуг, и много приходило гостей. Гости были серьезные, в облаках дыма очень долго и иногда громко говорили в кабинете, где стены были под мрамор, грязные от невозможности реставрировать их при неимении свободных денег и изумительные по истинной художественности, камин итальянского мрамора с медными украшениями и двери с шкапом под фальшивую дверь красного дерева. Профессора, судебные деятели, актеры, писатели и просто "дворяне". И. С. Аксаков, А. И. Кошелев, С. А. Усов, В. О. Ключевский, Н. П. Гиляров-Платонов, В. С. Соловьев, генерал Черняев, Л. И. Поливанов, С. А. Юрьев, говоривший больше всех и больше всех интересовавший нас, молодежь, и много других, и много случайных, заезжих. Понаслышке мы знали, что был у нас когда-то Достоевский и "интересно рассказывал о Сибири", как говорила моя мать, всегда интересовавшаяся людьми, много видевшими. Редко и неожиданно появлялся легкой, молодой походкой, наводя на меня всегда некоторый страх одинаково своей значительностью, необыкновенностью и нелепостью, своими резкими, беспощадными чертами лица и выдуманной простотой одежды, — Лев Николаевич Толстой.

Было еще больше молодежи.

Георгий Львов, как мы всегда называли его, пришел к нам, когда дом был полон. Много было болтовни, смеха; играли на гитаре в любимой нашей странной комнате, где потолки были раскрашены и сделан был непонятный купол с венками роз, лирами и странными знаками и треугольниками, дававшими повод предполагать о существовании здесь в старину масонских лож. Комната называлась у нас "розовой", а по-настоящему — чайной или боскетной. В зале, без которой дома тогда не обходились, талантливый музыкант Прокунин — "фортепьянщик", как звали его извозчики и нищие в нашем переулке, играл целые симфонии — импровизации из русских песен, собирателем которых был мой старший брат. Над старым роялем, называвшимся неизменно фортепьянами, висела старинная гравюра Бетховена с грозным, вдохновенным лицом; на стенах горели керосиновые лампы. Много было споров — обо всем: об игре гастролера трагика, приехавшего на Пасху, о передвижной выставке, непременно о Толстом, о жизни, смерти и вечности... и, наконец, о политике.

Худой, высокий, в белой рубашке с кожаным поясом и черных брюках, белокурый и бледноватый.

Наши главные интересы были из мира художественного и литературного. Один наш приятель, одноклассник Львова, сидевший на наших сборищах, сказал недавно про нас, хоть и преувеличенно: "Семья, где новая постановка шекспировской пьесы захватывала всех больше, чем объявление войны".

Львов интересовался всем, хохотал над шутками брата, слушал русские песни и превосходно изображал, как квакают лягушки и кричит коростель.

Но уже тогда мы знали, что весь он полон другим, чем-то своим, значительным и жизненным и незнакомым нам, хоть и близким по духу. Это нравилось нам, далеким от реальной жизни, московским "барышням" восьмидесятых годов. Еще нравилось нам то, что он был беден — это мы знали — и чрезвычайно высокого рода. Еще более — что в роду его, рюриковичей, — были святые.

То, чем весь он жил, была глубокая, искренняя, несокрушимая и всего его проникавшая любовь к родине.

Мы почувствовали это очень рано.

Наши друзья и ровесники, молодежь той Москвы, к которой мы принадлежали, — домов трудовых, серьезных — жили, однако, совершенно праздно. К гимназиям и учению относились с презрением, гимназисты старших классов ухитрялись вести жизнь почти студенческую. В университете совершенно не принято было ходить на

лекции, шли споры о бесцельности этого занятия, особенно на многолюдном юридическом факультете, к которому принадлежало большинство "наших" студентов. Принадлежал к нему и Львов.

С наступлением весны все испуганно садились за учебники и лекции. И тем не менее самый воздух московских улиц, бульваров и садов при особняках, из которых неожиданно, липко и сладко пахло тополем, казался насыщенным совсем особенным чувством тревоги, праздности и поэзии... Молодежь толпами ходила друг к другу и на бульвары. В открытые окна виднелись фигуры молодых людей в длинных сюртуках с бородками и оживленных юных девушек в высоких прическах или по-модному остриженных, букеты сирени и апельсинные корки, слышались рояль и гитара, романсы и смех... У Толстых в Хамовниках огромный тенистый сад, всякий раз, как что-то неожиданное, поражавший весной своей мощной, пахучей зеленью, — был всегда полон народу. И везде во всех кружках и домах шли романы. Слово "флирт" тогда еще не было в ходу.

И Львов сидел за учебниками и лекциями, зубрил и по вечерам ходил в гости. Но тотчас уезжал, как только кончались экзамены.

И видно было, что у него свои особенные о всем мнения — с кружком товарищей он не сливался, хотя и был ими любим, и больше слушал, чем говорил.

Студентом он совсем бросил Москву. Приезжал только весной на экзамены. Был еще старый устав, и зачеты в университете не требовались. Мы знали, что у него имение в Тульской губернии, сестра и родители, что имение запущено и положение стариков почти бедственное. Он стал там хозяйствовать; ходил зимой сам с обозами; продавал хлеб (брат мой рассказывал, как он в таких случаях умел "усиживать" по три самовара с покупателями). У него была совсем особенная, деловая складка, умение

работать и любовь к работе, без которой жизнь для него была невозможной. Имение он скоро выправил, стариков оставил и устроил как нужно. Брат мой за его деловитость называл его американцем и даже японцем — после Японской войны. В этих словах артиста-любителя было и уважение к нему, и оттенок осуждения. Мы не были деловиты.

Мы, следовательно, редко видали его, хотя и любили его все. А когда он приезжал, и мы сидели с ним в нашей боскетной с раскрашенными потолками или в зале за длинным столом, на другом конце которого Ключевский своим хитровато вкрадчивым голосом, с характерным, так подчеркивавшим его яркую речь легким запинанием, со свесившейся прядью на лбу, любил рассказывать анекдоты о Филарете и старой Москве, мы говорили со Львовым так, точно он всегда был с нами, здесь; так, точно как это бывает, когда уезжают и возвращаются члены семьи, с которыми живешь всю жизнь.

Говорили о том, о чем все говорили тогда, — о жизни, об ее задачах, о том, как сделать ее значительной и прекрасной, о литературе, о "Семейном счастье" Толстого, которого он любил особенно.

II

Окончание Львовым и братом университетского курса совпало с разгаром царствования Александра III. Львов, деревенский житель, служитель по земству, был непременным членом по крестьянским делам Присутствия. Его товарищ, брат мой, пошел в мировые судьи в деревню и жил в подмосковном селе, в пустом нанятом доме, где происходили мистические стуки и явления и где, как утверждал наш бывший слуга, ставший рассыльным при его камере, рябой, плутоватый унтер-офицер Иван, жил

"не наш". Скуку одиночества в глухой деревне брат переносил стоически при всей привычке к шумной жизни и любимому театру — так сильно было увлечение новой деятельностью.

Среди всего, что пережито нами, уцелело ли достаточно в памяти людей то место, которое занимали в России реформы Александра II? Мы выросли в период времени, когда предметом разговора во всех образованных гостиных Москвы было возмущение правительством за отсутствие этих реформ. А преклонение перед ними было общим. Значение их было громадно, ибо с ними вошло в сознание народа, укоренилось и почиталось *понятие о законе*. Мы все помнили рассказы отца, в числе первых членов Московского Суда вводившего новый суд на место жестокого суда дореформенного, о первом заседании, об удивлении публики, о крестных знамениях, которыми осеняли себя, выходя, мужики. Не в связи ли с этим новым понятием законности, входившим в жизнь, создалась в новых деятелях глубокая вера в народный разум, в его непосредственное и мудрое понимание своих жизненных нужд и, следовательно, задач родины, в способность самостоятельного своеобразного устроения своей жизни и быта? Сколько рассказов и забавных, и возмутительных, и трогательных, и иногда истинно возвышенных, привозилось братьями и их друзьями со всей России — о выборах, о волостных судах, о мировых сходах. И сквозь смех и художественную изобразительность сколько непоколебимой веры в великий народный разум, в крестьянский мир, в великое будущее России.

Мне трудно даже передать во всей силе те неподдельные страдания, которые вызывали в нас, в сущности равнодушных к политике, "реформы" Александра III, главное, уничтожение суда в деревне и замена его земскими начальниками. Нам казалось это невероятною и оскорбительною нелепостью. Соединение в одной

власти судебной и административной после векового усилия разделить одну от другой, отнятие у народа суда и всякого доверия к закону было в глазах самых умеренных, желавших прогресса России, людей ужасным насилием. Многие семьи переживали это почти как семейное горе.

— Вот настоящие изменники, кого надо судить, — решился сказать мой брат при всей своей мягкости. И было странно и больно, когда оказалось, что в числе первых земских начальников были и брат мой, и Львов. Как случилось это? Брат не любил ничего, кроме театра; служил потому, что не мог решиться идти против желания родителей, по старинному боявшихся сцены. Обладая врожденным большим юмором, он с детства "острил". И когда какая-нибудь идейная курсистка не без высокопарности спрашивала его, как может он занимать место прокурора или земского начальника, он делал серьезное лицо и отвечал: "Отчего же? Ведь я за деньги!" И присутствующие покатывались со смеху. Но для Львова вся жизнь была в деятельности.

Несомненно, оба они знали, что все же будет лучше, чтобы на этом месте остались опытные судьи и сохранили для народа закон.

Из нашего углового старенького особняка оба они ехали присягать в Чудов монастырь. На обоих были мундиры. Брату переделали судейский мундир на дворянский, спороли нашивки, изображавшие "закон", и сделали красный воротник. Друг его, живший всегда спартанцем и презиравший всякие условности, достал у кого-то мундир Министерства внутренних дел. Мундир, однако, был короток, две пуговки пришлись высоко над талией, отчего фигура Г. Е. казалась еще длиннее.

Но его совершенно не занимало это.

Оба и смеялись, и были мрачны, относились к себе и к окружающему критически.

К подъезду, большому, с каменными плитами-перилами, на которых вечерами и ночами были долгие беседы, целый клуб из дворников, ночных сторожей и городовых, была подана извозчичья карета моих родителей. Наш постоянный, старый и сердитый, кучер Ларион, очень обижавшийся, когда моя мать внушала ему, что пить вредно, и находивший, что без двух стаканов водки ему невозможно влезть на козлы, повез их в Кремль. Я смотрела из большого окна залы. Львов увидал, покачал головой и, вздернув комическим жестом плечи, закрыл лицо руками, словно желая спрятаться... За обедом шли рассказы... Архиерей сказал в речи, что самое плохое место могут скрасить честные люди...

Мужики Зюзинской, Марфинской и, кажется, Нагатинской волостей восторженно встретили назначение Львова, которого знали по прежней службе, — поднесли ему просфору на деревянном блюде.

Брат с гордостью рассказывал об этом. То, что блюдо было деревянное, особенно нравилось нам.

У Львова было совсем особенное умение говорить с народом, с толпой, хотя вовсе не было исключительного красноречия. Меня очень занимало это. Всюду, где были осложнения, неприятности, даже волнения, — посылали его, и все обходилось.

Когда приятели-сослуживцы рассказывали о каких-нибудь “бунтах” и “историях”, он слушал посмеиваясь.

— Ну, а вы? Что бы вы сделали? Как вы на них действуете? — допрашивала я.

— Не знаю,— отвечал он спокойно,— да, никак. Ну, поговорил бы, потрепал по плечу... Посмеялся бы...

Я никогда не видала его хвастливым. Скромность врожденная, искренняя, простая светилась всегда во всей его высокой фигуре, в лице, в серьезных, острых, думающих глазах.

Скоро и Львов и брат бросили службу и поселились вместе в Туле. Брат служил по юстиции, Львов по земству, председателем Управы.

III

Тот же наш слуга, рябой рассыльный Иван, упорно видевший в расхаживавших по лестницам и пустым комнатам крысах проделки “не нашего”, сопровождая меня на поездках верхом, рассказывал мне об их житье-бытье в Туле.

— Только очень князь кушают плохо. Вовсе бедно.

— Чем же?

— Единственно щи и кашу. Кроме, ничего.

— А почему?

— Не хотят.

Время казалось нам тяжелым. Когда теперь вспоминаешь эти годы материального расцвета России и ее внешнего могущества, — спрашиваешь себя, чем это отражалось на нас, живших в счастливых условиях? Невольно отвечаешь себе — самое тягостное было — наплыв везде пошлых, невежественных и ограниченных людей, часто низких, почувствовавших почву под ногами. Для нас, далеких от политики, это было самое тяжелое. Оскорбляла не система, а беспринципность управления.

На наших еженедельных сборищах в кабинете отца предметом разговора оставались мужики, их быт, винная монополия, земские начальники, суды. Вместо статей Каткова, которые громил когда-то Юрьев, за ужином всегда в один и тот же час, возмущались “Гражданином” Мещерского, посвящавшего целые передовицы восхвалению розог. В это именно время цитировали два стихотворения Владимира Соловьева:

Израиля ведя стезей чудесной,
Господь зараз два дива сотворил.
Отверз уста ослице бессловесной
И говорить пророку запретил.<...>
Гонима, Русь, ты беспощадным роком,
Как некогда неверный Белеам,
Заграждены уста твоим пророкам
И слово вольное дано твоим ослам.

Каюсь, древняя ослица,
Я тебя обидел дерзко,
Ведь меж нашими ослами
Говорит и князь Мещерский.
Говорит такие речи,
Что от этакого сраму
Покраснела бы в Шеоле
Тень ослицы Белеама...

Разговоры приняли у нас оттенок мрачный.

Сожитель Львова, брат мой, приезжая домой, своим полуюмористическим тоном, по которому трудно было узнать, серьезно ли он говорит или "шутует", как говорила моя мать, предсказывал отцу революцию и назначал даже сроки — почему-то семь лет...

Отец, хотя и слушал очень внимательно и очень страдал как горячий поклонник реформ Александра II, но был оптимист и возражал с возмущением. И когда я теперь вспоминаю, в чем состояли все эти почти до утра длившиеся толки и споры, то приходится сказать, что все, в сущности, сводилось к одному — как избежать революции, к которой ведут неумелым управлением, расшатывающим в народе всякое уважение к закону и принципу.

— Ну, а что Львов? — спрашивала я брата в один из его всегда радостных для всех в доме приездов домой.

Было лето, голод, и шла холера.

— Зарос бородой, лежит на кровати и ждет холеры, чтобы с больными возиться. Говорит, в деревне больше делать нечего.

Несмотря на всю прочность быта и жизни, эта жизнь — ее радости и горести, и пути скоро разметали нас.

Мы редко видели Львова.

Иногда поздно вечером — к нам можно было приехать, когда угодно, — раздастся старый, подвешенный в углу передней звонок — и все ахнут — пришел Георгий Львов. И странно казалось, что его давно не было. Сидит в кабинете с моим отцом, разговаривает или сядет с нами в "розовой комнате", и точно не уезжал.

Как-то наверху, в нашем мезонине, в комнате своего друга, в которой они проводили вечера еще гимназистами, он сидел и рассказывал нам о жизни своих родителей и сестры, о деревне и больной матери.

— Да, трудно сестре, нечего и говорить, а что поделаешь? — рассуждал он. — Я только наезжаю, родители слабы. Жениться бы собственно следовало, чтоб хозяйка была в помощь. Но жениться для хозяйства тоже невозможно, — серьезно и просто говорил он.

Мне в то время показалось это совсем удивительно. Мы все были романтичны, требовательны к жизни. Такой трезвый, русский, как бы мужичий взгляд на брак был мне чужд и даже как бы оскорбителен.

Я смотрела на него, слушала и вспоминала его любовь к деревне, к его необыкновенному яблочному саду, который он быстро и умело развел и для которого, между прочим, — это уже совсем удивляло нас — устроил собственный лесопильный завод для опилок и упаковки; его зимние обозы, его любовь к родине. Что-то органически сросшееся с этой родиной, с ее черноземными полями и зеленями, с криком коростелей и запахом телеги, и с ее интересами было в этом человеке, всегда так совсем про-

сто, скромно одетом, только в то, во что необходимо было одеться для той жизни, которую он вел.

Женитьба его была, однако, и с нашей точки зрения настоящей, по глубокой взаимной любви.

Мы узнали о ней тоже неожиданно. Я была больна, когда он заехал и оставил мне записку: "Я женюсь на графине Ю. А. Бобринской и знаю, что вы порадуетесь за меня, потому и приехал вам сообщить".

Это была какая-то необыкновенная полнота счастья, которая светилась в его глазах и меняла его.

Но полное и глубокое счастье это было совсем коротко.

Рассказывали мне после, что жена его боялась своего счастья и говорила: "Мы не имеем права быть так счастливы, это не для нас — слишком эгоистично".

С неожиданной смертью жены и утратой надежды иметь сына как бы совершенно окончилась его личная жизнь. Мы никогда не говорили с ним об его горе, и както не говорил никто. И много спустя, даже здесь, за границей, — ни фотографий, ни каких-либо воспоминаний. Точно ничего никогда не было, точно правда, людское счастье было не для него. И работа, которая всегда захватывала его, поглотила его совершенно, стала всею его жизнью. Гораздо позднее я узнала, что в своей глубокой от всех скрытой тоске он был в Оптиной Пустыни и хотел там остаться, но "старец", с которым он говорил, велел ему идти пока в мир...

Меня бы это в то время удивило. Недаром брат звал его японцем: нам казалось, что область религии и художественности была ему далека, он весь был реален и деловит. "Деляга", как одобрительно говорил он иной раз о каком-нибудь энергичном общественном деятеле.

Справившись кое-как с первым натиском горя, он уехал на Японскую войну и с тех пор все ездил, устраивал, работал — пропадал для нас. Мы все чувствовали то, что

он переживал, и следили за ним. Мы и не знали, какая еще трагедия ждет его.

На Россию налетел первый вихрь, 1905 год.

Забастовка, манифест, вооруженное восстание в Москве, Дума; наконец и Выборгское воззвание.

Поступок его по поводу Выборгского воззвания известен. Мы не могли во всей яркости не узнать в нем Львова. Был сам *там* и открыто не подписал. Сколько нападок он должен был вынести. Впрочем, он этого никогда не боялся.

Со Львовым было легко говорить об этом. Мы чувствовали и думали почти одинаково, хотя он действовал, а мы стояли в стороне. Ни к какой партии он никогда не принадлежал активно.

Несколько лет спустя брат мой пережил горе, которое должно было еще больше сблизить его со Львовым: он внезапно потерял горячо любимую жену.

Мы жили с ним и другим братом в нашем особняке, уже после смерти родителей.

Как всегда неожиданно, в нашу гостиную, переделанную из спальни матери, с балконом в сад, вошел к нам Георгий Евгеньевич.

В сильном горе так важны бывают такие вечера, просто разговор, серьезный и задушевный, с человеком близким, все чувствующим, но ничем не бередящим страшной раны. Точно ничего и не было. Оба знают, что пережил другой, и оба молчат об этом.

Львов вспоминал о мрачных днях японских поражений, об отступлениях и боях. Ярко и подробно передавал ощущение близкого разрыва на ляоянском вокзале гранаты, которою оторвало ногу сестре милосердия, и о странном явлении — притягательной силе вертевшегося снаряда: так тянуло в его сферу, что он схватился за столб и вертелся вокруг него, пока не раздался взрыв страшной силы.

— Какой ужас, — сказала я, — я бы не вынесла...

— И вовсе не страшно, — возразил он неожиданно.

— Да как не страшно?

— Серьезно. Ни капельки.

— Да только не мне. Я боюсь даже грозы.

— Да, гроза по мне гораздо страшнее. Это совсем другое.

Вечер кончился в длинном разговоре философском. Брат последнее время не мог говорить ни о чем другом.

Когда Львов уходил, я, провожая его, сказала ему:

— Спасибо, что вы пришли. Брата развлекло это.

Он посмотрел на меня своими пристальными печальными глазами.

— Слава Богу, если я мог чем-нибудь облегчить его. Мне самому было очень интересно.

— Вас не утомил разговор на мистические темы?

— Напротив. Это-то и хорошо хоть иногда говорить о настоящем.

И опять он надолго ушел.

Если случались дела, затруднения, вопросы жизненные — тотчас приходилось отыскивать и звонить к нему.

Звонила я и тогда, когда пришлось думать о продаже нашего особняка.

Поздно вечером, вернувшись домой, я узнала от нашей старой, почтенной горничной Дарьи Ивановны, умной, строгой и религиозной, которую все наши знакомые почитали за члена нашей семьи, что Львов был и, не застав никого, просидел вечер с ней и нашим преданным молодым слугою, которого мы тоже считали родным.

— Уж какой же барин хороший, Господи, — рассказывала она, — сел на конник в передней, долго, долго сидел, разговаривал с нами.

— С кем же с вами?

— Я и Сергей.

— О чем же вы разговаривали?

— О доме, о делах, о старых господах, родителях ваших — обо всем, обо всем. Как хорошо говорит-то, Господи! Умный барин, хороший.

IV

И вдруг наступили неожиданные, страшные и новые июльские дни 1914 года.

Они застали меня в Москве, одну, в нашем особняке.

Странное чувство было уже в первый вечер, когда война еще не была объявлена, но стало ясно, что она не может не быть. Может быть, не помню, она уже и была объявлена, но до нас не дошло. Я только что вернулась с улиц Москвы, по-новому, жутко и почти радостно оживленных. В трамваях читали газеты, телеграммы, ультиматум Сербии, расспрашивали друг друга незнакомые, сообщали новости.

Я не могла спать и сидела на нашей стеклянной террасе с газетой. Дом спал, и кусты сирени в нашем саду резче и темнее выделялись на бледном, без звезд, чистом небе, уже тревожном от утра. С улицы, за старым деревянным забором, который моя мать долго не хотела чинить и надеялась в 1905 году, что его сломают на баррикады, слышались оживленные, не ночные голоса. Меня это заинтересовало, и я пошла посмотреть из окна на улицу.

У бледно-красного в рассвете фонаря, под свешивавшимся тополем, придававшим этому свету фантастический вид, собралась обычная группа — дворники, ночной сторож. Городовой читал приказ о мобилизации. И городовой, и тополь, когда-то привезенный моей матерью в извозчичьей пролетке и так разросшийся, и тумбы переулка, и крест на куполе приходской церкви вдали на бледном небе — все было по-старому, спокойно и мирно. И все было другое. И чувствовалось, как в страшном пророчестве, что все прежнее уходит и идет нечто никому неведомое.

Уже на следующих днях я увидела Львова. Москва вся была в движении. Что-то везли на грузовиках, плакали женщины, переговариваясь на углах улиц и у подъездов, с трамваев махали шапками, приветствуя проходящие части войск.

— Это не японская война, всякий знает, за что воюет, — на трамвае же сказал мне незнакомый студент.

Он показался мне тоже другим и новым, как и рассказы об обнимающихся в Московской Думе гласных противоположных направлений.

И все кругом наполнилось чистенькими, в новых гимнастерках, с новой амуницией солдатами, почти изящными, напоминавшими охотников и спортсменов. Ни растерянности, ни особого возбуждения. Серьезно и бодро все кругом. Удивило и обрадовало запрещение водки.

Львов сидел среди ящиков и тюков, где-то за деревянной, наскоро сколоченной перегородкой, и был так занят, что видеть его было почти невозможно.

Я встречалась с ним по делам — на этих же первых днях был открыт по его распоряжению госпиталь для душевнобольных воинов, в котором я принимала близкое участие.

Вопрос о призрении душевнобольных, о которых неохотно заботились в прошлую войну, интересовал меня особенно. Меня поразила быстрота, отсутствие всяких формальностей и переписки. Очень скоро к нам привезли первых больных.

Он был всегда утомлен, бледен и как-то совсем особенно, совершенно серьезен. С портфелем, в автомобиле, среди телефонных звонков и множества людей, приходивших к нему, дожидавшихся его, о чем-то говоривших и спрашивавших распоряжений. Казалось, лицо его стало недоступно улыбке, беззаботному смеху, который я знала прежде.

У него выработался совсем особенный говор, точно он больше всего боялся потерять минуту времени.

— Ну? — откликнулся он в телефон и отвечал тотчас на вопрос, когда его можно видеть, почти односложно:

— Нынче, три, — и клал трубку.

— Что это, — с вами совершенно нельзя разговаривать! — сказала я ему один раз.

Он отвечал торопливо:

— Я не виноват, что в сутках только двадцать четыре часа.

И опять положил трубку.

Утром резкий звонок телефона разбудил меня, и знакомый голос коротко сказал:

— Будьте готовы. Через полчаса я заеду за вами. Мне надо видеть госпиталь.

Так как его попросили войти, он уже был недоволен.

Всю дорогу в автомобиле он короткими фразами, думая упорно и напряженно, говорил со своим спутником о делах, мне неизвестных, так, как будто меня не существовало.

И так же серьезно, слушая и иногда задавая вопросы, шагал между нашими больными.

Значение его быстро увеличивалось, деятельность росла и ширилась, самый вид его стал каким-то другим — уже не в крылатке, каким-то вынужденно элегантным, европейским и значительным; и когда я смотрела, как он подъезжал к Земскому союзу или садился в автомобиль с портфелем, окруженный какими-то людьми, так точно, как в июльскую ночь 1914 года чувствовался конец старого и страшное новое, так мелькало неопределенно в уме у меня, что какую-то большую роль будет он играть и что-то грозное ждет его.

И потому я совершенно не удивилась, прочитав его имя во главе новой власти.

Смутил меня только брат:

— Какой же он министр-президент Российского Государства, когда у него свеча на столе всегда в бутылке стояла! — вспоминая, вероятно, их тульское житье, с тревогой и грустью сказал он.

V

Я увидела его в его новой и страшной для меня роли за несколько дней до того, как он ушел от власти, — 29 июня 1917 года.

В тот промежуток времени, пока мы не видались, произошло так много, как не бывало не только в течение всей нашей жизни, но и в целые века жизни нашего народа. Все кругом разрушалось быстро и неумолимо, со страшной быстротой нарастали злодеяния, непрерывно ныло сердце, и не было совсем никакой надежды.

И странно было знать, что там где-то, без власти и силы, стоит человек родной и близкий, любивший родину и живший для нее.

Я ничего не понимала.

На огромном министерском подъезде я переговаривалась со старым министерским швейцаром, печальным и серьезным. Молодой человек в военном платье, "адъютант" Председателя Совета Министров, пошел доложить.

Я осталась в пустой белой приемной.

Как теперь, когда его нет, я вижу его глаза и как бы в их отражении картины прошлого, так вспыхивали тогда в моем воображении ушедшие сцены нашей жизни и последние впечатления. Мне почти страшно было увидеть его.

В сущности, в то время я совсем была удалена от жизни, от политики особенно. Я стояла во главе учреждения полурелигиозного характера и не чувствовала себя "в миру". Может быть, именно потому в нашей жизни, в близости постоянной к страданиям и смерти, к юным человеческим душам и к Церкви, я видела проще и яснее то, что было более сокрыто от тех, кто кипел в самом потоке. Предчувствие неминуемой гибели того, что мы любили в России, — всей ее культуры и нравственной силы — не оставляло меня, как это ни странно, с первой минуты известия о революции.

Однако последние впечатления направляли ум в другую сторону. Я только что видела представителя военной молодежи, студента-юнкера, рассказывавшего нам об их борьбе с большевистской пропагандой, о начинавшихся стычках, почти боях внутри частей. О Временном правительстве он говорил с юным восторгом. "Мы все, как один человек, пойдем умирать за него ... с радостью..." — мне хотелось сказать это поскорее человеку, который был там, за закрытыми дверями. Что он думает? Что он, что они делают?..

Наконец я вошла к нему.

Он встал за своим большим министерским столом. Худой и усталый, в пиджаке, совсем как прежде, как всегда. Приветливо и радостно поздоровался со мной.

Я пришла поблагодарить за данную нашему учреждению субсидию и рассказать о шагах, которые я предприняла для освобождения от реквизиции дома в имении на Кавказе, которые имели большое значение для нас, для исправления произвола и насилия.

Мысли, однако, принимали совершенно другое направление, и, глядя на него, я не без труда вспомнила, зачем приехала.

Я стала говорить о доме, о посланной товарищем министра телеграмме, о чем-то еще.

— Ну, что же, это все, что нужно, — устало сказал он.

Я молча смотрела и думала об общем, о главном.

— Мы молимся о вас Богу, — сказала я, — чтобы Он помог вам.

Он поднял голову и смотрел на меня своими узкими, пристальными, даже пронзительными глазами.

— За это спасибо, — серьезно и просто сказал он и помолчал, — но *мы ничего* не можем.

У меня сжалось сердце, я не удержалась и торопливо начала говорить ему о том, что меня мучает, чувствуя всю ненужность этого. В чем можно убедить? Что я могу сказать ему нового?

— Мы — обреченные. Щепки, которых несет поток, — сказал он.

— Это же неверно... — горячо возразила я, — знаете ли вы, чего ждут от вас?.. — Я говорила ему о моем последнем впечатлении, о военной молодежи, об их готовности на все.

— Отчего вы ничего не предпринимаете?

Я путалась, но мы понимали друг друга, и я чувствовала, что он мало трогается моими словами.

— Нет-нет, — перебил он меня, — разве это возможно? Начать борьбу, значит — начать гражданскую войну, а это значит — открыть фронт. Это невозможно, — упорно и мрачно сказал он.

— Не нужно этого бояться. Фронт и так открыт.

— И все-таки во время войны этого нельзя...

Не слушая меня и все думая, он сказал покорно своим русским, каким-то мужицким тоном:

— Что же поделаешь? Революция и революция...

Я замолчала.

Вспомнив, зачем я еще пришла, я стала благодарить его за оказанную нам Временным правительством помощь.

— А... Да. Дали? — устало спросил он, продолжая о чем-то думать. — Сколько?

— Очень хорошо: тридцать пять тысяч.

— А... ну что ж! А ведь просили, кажется, больше?

— Мы просили шестьдесят. Но и это хорошо.

— Да, конечно, и за это спасибо, — сказал он.

Я смотрела на него с мучительным и странным чувством. Так смотришь, стоя у постели безнадежно больного, который вынес так страшно много и стоит перед таким чем-то великим и нам неведомым, что все вопросы и явления имеют для него совсем иной, чем для нас, смысл.

— А что Володя? — спросил он. И это тронуло меня.

— Володя? Он в деревне...

— А... в деревне. А можно еще жить в деревне?..

Я продолжала пристально, с болью смотреть на него и засмеялась.

— Должно быть, еще можно... не знаю. — И спросила его о семье, сестре.

— Не знаю ничего. Мы ничего не знаем. Мы — погребенные, — ответил он.

VI

Львов всегда "уходил", пропадал для нас.

Исчезновение его после нашего этого свидания было, однако, другим, как бы совершенным.

Исчезло за это время вообще так много, что и счесть нельзя было утраты. Где он был? Сначала никто не знал, был ли он вообще где-нибудь. Потом слышно было, что он в Сибири, в тюрьме.

После всяких бедствий — кровопролитных боев, землетрясений, наводнения — люди идут и ищут близких. В России же искать и даже спрашивать — было невозможно. Это значило губить себя и окружающих, и того, о ком хотелось спросить, — рисковать головами. Так и жили и не знали, кто еще на этом свете, а кто уже на том.

И наконец, неожиданные вести и встреча по эту сторону, в эмиграции, в странных условиях человеческой жизни, свободы и права.

На рю Прони, в его рабочем кабинете, мы встретились молча, почти не веря этой встрече; он улыбнулся, поднял руки, как бы удивляясь, и, чувствуя, что мы понимаем друг друга, мы расцеловались по-братски.

И теперь он был тот же и лучше, чем в министерском кабинете. Не было тяжкого впечатления человека на смертном одре. Я под конец беседы сказала ему, что он точно прежний.

— Вот скажите это у нас,— произнес он.

На другой же день я сидела у него на рю Карно в Булони, в его квартире, где и вещи, и образа, и картинки по стенам — переносили в Россию. Квартиру он всю обставил сам и все на гроши — покупал на рынке старье, красил сам, чинил... Красил даже что-то разведенной сажей...

Семья — его родственница и друг, две молодые девушки, отрезанные от семьи и нашедшие у него полную заботу и любовь, была мне незнакома, но стала близкою в самое короткое время. Бывая наездами, по делам, в Париж, я почти все время проводила у них, нередко и жила; когда меня это смущало — он успокоил меня словами: "Мы столько получили от ваших родителей во всех смыслах, что никогда все равно не расплатимся..."

С молодежью я быстро подружилась.

Мы никогда почти не говорили с ним о пережитом. Чрезвычайно характерно, что я долго и не знала о клеветах, которыми преследовали его.

Это интересная черта беженской жизни. Ложь и клевета, составляющие истинный бич ее, редко грязнят человека и обыкновенно не интересуют никого. Становятся делом личных счетов, каким-то спортивным состязанием людей, замешанных и преследующих личные цели. Так странно забывались и проходили бесследно и недостойные газетные пасквили, выкрикивавшиеся даже на церковном дворе после обедни. И в самом деле — из знавших его мог ли придавать им серьезное значение хоть один уважающий себя и не совсем наивный человек? Любовь — и любостяжание! Недаром он никогда не ответил ни на одну клевету.

Но страдания, которых он не мог не испытывать, давали ему то ясное, спокойное понимание людей, то презрение к людской низости и мужество, которые даются только большими страданиями. Во всей его фигуре, манере слушать и, главное, глядеть, глядеть на людей пронзительным, молчаливым взглядом, стало особенно ясно чувствоваться это. Должно быть, он ненавидел клевету, по крайней мере резко становился на защиту тех, кто от нее страдал. И ничего не боялся.

Редко-редко касался разговор пережитого. Вытаскивался откуда-то портрет, страшный, с худым лицом и длинной, длинной бородой, снятый в тюрьме в Екатеринбурге, где он сидел, рядом с домом Ипатьева, местом заключения государя и его семьи. В ней он был поваром, кормил всю артель — и заключенных, и надзирателей, варил какие-то необыкновенные щи и заслужил особое к себе благоволение. Несколько ночей матросы выводили его на расстрел.

— Как же вы спаслись?

—Так. Говорил с ними, убеждал. Говорили о революции, о всем... Я не знаю,— думая, отвечал он,— точно давно-давно в Москве, когда меня удивляло его умение действовать на "народ".

— А как же вы уехали?

Он промолчал.

— Это когда-нибудь я расскажу вам — как я сам себе приказ написал и был выпущен. Это целая история. Очень все любопытно.

Я говорила о клеветах на него, но не о том враждебном, часто даже мстительном чувстве, которое он, очутившийся в роли возглавлявшего революцию, не мог не возбуждать во множестве людей. Кажется, своим проникновенным острым взглядом всегда теперь печальных глаз видел он сам его причины.

Раз как-то разговор коснулся этого.

— Ну да, конечно,— с болью сказал он,— ведь это *я* сделал революцию, *я* убил царя и всех.., все *я*.

И мы замолчали.
Мы любили вспоминать прошлое и опять коснулись его судьбы, исторического места, которое занял он.
— Разве я сделался министром? — сказал он, — меня сделали. Разве я хотел этого? Если бы тогда в гимназии, как вы говорите, мне сказали это, разве я бы поверил? Дал бы в морду и только.
В первый раз я узнала о намерении государя назначить его министром, о переговорах, которые велись по этому поводу...
Далекое прошлое мы вспоминали особенно охотно.
Уже в одно из последних наших свиданий он сказал:
— А я вчера с одними друзьями много говорил о вас, о вашем доме. Вся ведь ваша семья, по мне, всей тяжестью легла на вас — отразилась и хорошим, и плохим, ярче всего.
Мы заговорились, и меня поразило его понимание таких сторон прошлого, о которых мы никогда не говорили, — наши разговоры были обыкновенно урывками и на темы общие, отвлеченные.
— Разве вы знали это?
— Мало ли, что я знал, — со смехом сказал он. А я подумала — неужели ты и это разглядел своими пристальными, молчаливыми глазами?
В сущности, мы сами мало знали его — о себе он не говорил и был из людей, о которых мало беспокоятся.
Неожиданным было для меня, когда он обратился ко мне с вопросом, где достать Ефрема Сирина. Феофана Исповедника он только что прочел и был занят нашей церковной литературой. Он и в Париже, с первой моей встречи с ним, был вечно занят, хоть, казалось, и много должно было быть свободного времени.
Только придя из Союза, всегда ложился, усталый, на диване своего кабинета,служившего ему и спальней, и дремал, лежа на спине, как-то затихал.

В воскресенье и вечерами — или писал, или выстукивал на машинке, или возился с инструментами — делал из кожи портфели, бумажники, кошельки, что-то чинил.
В квартире были художественные образа, одна икона в старой ризе из басмы, оставлявшей открытыми фигуры Святых, его предков, угодников ярославских. Он приобрел ее где-то в Америке.
Картинки по стенам, большею частью хорошие литографии, в самодельных рамках, изображали все такое знакомое, близкое, отчего сжималось сердце: "Бабушкин сад" Поленова, снежная равнина и темное, грозное небо, метели, околица, гуси и закуривающий мужик в полушубке; "Московский дворик" с яркой травой, с тревожным весенним небом, колокольней и деревянным домом под плакучей березой, где когда-то жил... Троицкая Лавра зимой.
За обедом почти всегда подавали щи и гречневую кашу, которую доставал в Париже кубанский казак Захар. То же кушанье, о котором повествовал Иван рассыльный.
И у всех у нас, чувствовавших себя у него в родном доме и в семье, было еще другое чувство, что все мы где-то, на каком-то клочке родной России.
Летом он уходил. "Ходит". Это так и называлось — "Дядя Георгий ходит". С котомкой за плечами и иногда в обуви, похожей на лапти, он тратил отпуск на хождение по Франции, по деревням; иногда заходил к знакомым, жил несколько дней и опять шел дальше из деревни в деревню. Возвращался весь черный от загара.
Отпуска он брал, впрочем, редко.
По праздникам летом мы устраивали прогулки, ехали куда-нибудь за город поездом или трамваем и шли, шли куда-то. Он смеялся над моей усталостью. И шел впереди всех нас, особою широкой и с виду медлительной поступью крестьянина или охотника, в сереньком пиджаке, в мягкой шляпе, больше молча и с неизменным, никогда не покидавшим его выражением глубокой грусти в глазах.

И все было нехорошо кругом, все не то, все гораздо, неизмеримо хуже, чем в России...

Эта глубокая, непрестанная, ноющая тоска по России пожирала его.

Он о ней не говорил никогда. Редко сорвется с языка:

— Ну еще бы — в России! Разве они умеют что-нибудь устроить? Ведь это только у нас все было плохо. Все за границу ездили учиться культуре... Я всегда говорил, что все ерунда...

Хуже, чем в России, было все. И супы французские ничего нестоящие, и яблоки без вкуса, и трамваи, и язык, его бедность... Иногда на прогулку брали и Захара. Здоровый, смышленый казак, умевший даже недурно произносить название улиц и Place de la Concorde и разыскавший где-то, как он говорил, "жидовскую лавку", где можно было все достать — и селедки не хуже, чем в России, и гречневую кашу, надевал новое "канотье" и носки со стрелками. И тоже внутренне все критиковал.

— Помдытэрры эти у них... Больше ничего,— задумчиво говорил он, стоя над картофельной полоской, и та же русская тоска была у него в глазах.

С Захаром князь Львов любил долго и серьезно говорить.

— Если предъявлять к нему требования, как к русскому мужику, то большего желать нельзя: он прямо безукоризнен... — говорил он.

Больше всего ценил он в нем хозяйственность и то, что он сумел домой, на Кубань, "посылать". Говорили они главное о "земле", и чувствовалось, что разговор этот неудержимо влек их обоих, связывал крепко духовной близостью. Одна наша прогулка случилась в день Grand Prix[1].

Доехали на трамвае до Булонского леса, перелезли через ров и шли, сами не зная куда. День был жаркий, воскресный, везде народ. И все вытоптано беспощадно.

[1] Большой приз — (фр.).

Да, кроме того, на каждом шагу наталкивались на спящие в траве группы и пары.

Должно быть, в этот день тоска особенно досаждала его.

— Это у них всегда,— спокойно, побеждая в себе брезгливое чувство, говорил он,— обходя какие-то людские кучи полураздетых фигур.

По шоссе, на которое мы неожиданно вышли, непрерывной вереницей мчались автомобили, как огромные жуки, оставляя запах горелого бензина. Разряженные, загримированные дамы, все в одинакового фасона шляпках-грибочках, придающих всем одинаковый вид. Цилиндры, офицеры и опять дамы, дамы, и гудки, и стоны на разные тона.

— Ведь нынче скачки... — вспомнил он.

Так же неожиданно, проплутав долго опять по лесу, вышли мы в огромное, все качающееся вдали от людской тучи, от громадной толпы шляп и зонтов и обгоняющих друг друга автомобилей, поле.

— Это Longechamp[1] и есть!

Группы лежали и сидели, и стояли кругом на траве, и огромная людская лента растянулась вдоль "дорожки" скачек; росли и пестрели вдалеке трибуны. Гудели голоса, было жарко и местами пыльно. По прекратившемуся движению и плотной цепи стоящих зрителей очевидно было, что скоро "начнется".

Стали и мы.

Стена людей перед нами шутила, переговаривалась, жаловалась на зной. С нами были особенно любезны — отдавали бинокль, ставили впереди, объясняли.

— У нас так бы не сделали,— сказала я.

Он не мог не согласиться.

— Что это за слой общества? — спрашивала я про нарядных людей в пиджаках и шляпках и полураздетых дам в коротких платьях.— Где здесь "пролетариат"?

— Вот это и есть пролетариат,— отвечал Львов.

[1] Большое поле — (фр.).

Поле дрогнуло, замахали шляпками, загудели и закричали сотни, тысячи голосов, и маленькая, страшно ничтожная перед этой огромной толпой, заколыхавшейся, сосредоточившей на ней все свое внимание, пестрая группа маленьких всадников, странно согнувшихся над большими, чудесными лошадьми, потянулась вдоль людских шпалер по далекой, вьющейся между зеленью травы, дорожке. Как всегда казалось, что скачут тихо, и странно было видеть и общее напряжение, и их сгорбившиеся над седлами фигуры. Только приближавшийся вихрь топота давал чувствовать силу хода.

— Что они кричат?

— Всегда одно и то же: “Ça y est [1]”. Что бы ни случилось! Только и знают, — сказал он.

Вечерами, в комнате молодежи было почти всегда пение. Друзья мои чрезвычайно музыкально и легко и красиво выводили дуэтом совсем по-русски грустные русские песни, особенно мою любимую солдатскую “Калинушку”, похожую на вздох и совершенно переносившую куда-то на “людское” крыльцо барского дома.

Часто на улице останавливались и слушали и высовывались из освещенных окон головы.

Львов из кабинета приходил к нам, если не очень сильна была тоска, и мог поболтать.

— Вы помните песни, которые пел ваш брат? — спросил он вдруг. — Спойте что-нибудь.

Я вспомнила “Размолодчики” — грустную “женскую песнь” (русские песни все делятся по разрядам) и широкую, мощную, тоже захватывающую тоской “Невечернюю зорю”, которую особенно любил Толстой.

Старые, настоящие русские песни уже исчезли в нашей молодости тогда, когда ездил за ними по знакомым усадьбам мой брат. Где-нибудь в зале барского дома, с открытой

---

[1] Сделано — (фр.).

балконной дверью, в которую врывался спиртуозный запах темных липовых аллей и видно было светлое вечернее небо с бледной звездою, около стареньких плохих фортепьян садилась старуха, непременно старуха, в лаптях и поневе, повязанная платком, как повойником, высоко над морщинистым темным лбом и, подперев загорелую щеку коричневой рукой с белеющим обручальным кольцом, выводила старческим, низким голосом, серьезно и строго из недр народа вышедший напев, предмет изысканий и вдохновений наших лучших композиторов. Напев этот почти невозможно было схватить во всей своей своеобразности и тонкости на желтые клавиши помещичьих фортепьян. Как передать, что растревожат в душе всякий раз эти звуки, сросшиеся со столькими воспоминаниями? Определить вызванные ими ощущения невозможно, их может выразить только музыка, ибо сами эти ощущения — уже музыка.

— Дядя Георгий, спойте “Как по морю”.

Я никогда не слыхала, чтобы он пел. Он вообще как бы был далек искусству. По упорной просьбе он и стал не петь, а скорее по народному выражению “сказывать” известную русскую песнь, унылую и длинную, как бы придавая значение больше словам, чем мотиву. Так и пелись всегда настоящие старые песни.

Я никогда не сумею передать того совершенно неподражаемого впечатления, которое охватило нас. Это была не передача, а живой русский мужик, живая Россия, деревня со всеми ее звуками и запахами. И одинаково невозможно было схватить и слова, скороговоркой поспевавшие за мотивом, и те интервалы, свойственные только русской песне, о которых много при мне говорили музыканты, — не полутоны, а четверть и меньше тона, отсутствующие на рояле.

— Где же вы были тогда? — невольно вырвалось у меня, — ведь вы бы осчастливили Прокунина — они все так старались схватить, передать эти интервалы...

Его тоска по России была так велика, что он впадал в малодушие. Таинственно говорил мне, что скоро все кончится и вернемся... — Когда же? — А вот погодите. Пройдет рабочая пора и кончится.

Обманутый в этих ожиданиях, после утомительной, требовавшей огромного напряжения, хотя и успешной поездки в Америку, надорвавшей его силы, он весь отдался новой мечте, новому делу. В последнее мое свидание с ним он уже говорил мне, что жить в Париже не по средствам, и что он думает переехать подальше и жить в деревенских условиях. Можно будто бы совсем задешево снять дом. Он в самом деле арендовал ферму и весь отдался ей. Сам ездил туда, подстригал деревья и ухаживал уже за яблочным садом. Соседи, говорят, собрались с любопытством и подглядывали за причудами русского князя.

— Что это вы делаете?

— Работаю...

Стали пугать.

— Испортите...

— А вот увидите.

Кончилось тем, что они заинтересовались его методом, принесли лестницу, начали помогать и учиться.

Весь он ожил, расцвел и жил новыми планами.

В это время и ушел совсем, навсегда.

По тяжким условиям беженской жизни я не могла поклониться ему и увидеть его мертвое лицо, такое, говорят, ясное и спокойное, с чуть прищуренным одним глазом, который остался полуоткрытым и напоминал его живое выражение ласковой насмешки, когда он шутил над кем-нибудь. И оттого, что я его не видала, почти таким же таинственно далеким и всегда близким кажется он, как в свои прежние уходы, как тогда, когда уезжал в Америку к духоборам или сидел в тюрьме.

На чужбине, на том самом диване, на котором он спал всегда в своей единственной комнате-кабинете, в квартире со старыми образами и русскими картинками, с любящими его и его заботами живущими людьми, не давая никому труда ухаживать за собой, никого не тревожа своей болезнью, так точно, как ложился он всегда, усталый от трудового дня, он лег отдохнуть и заснул навсегда после всей своей трудовой жизни.

Кончились страшные воспоминания, боль свершившегося и тоска по родине.

Узнал ли он теперь неведомые пути своей родины и истинное ее будущее в своем отечестве небесном? *

* Текст печатается по журналу "Современные записки", XXV, Париж, 1925, с. 262—287.

I. СУДЬБА

Разные жребии раздает судьба людям. Разную участь готовит она им. По-разному наделяет их своими дарами и терновыми венцами.

Только что отошедший от нас в вечность князь Г. Е. Львов имел исключительную судьбу, яркую и красочную. Путь его интересной и разнообразной жизни привел его на самую вершину государственной пирамиды в самую страшную минуту истории русского народа. Колесо истории повернуло в сторону, и пирамида рухнула, увлекая в своем падении и великое, и малое, и случайное, и органически сросшееся с государственной жизнью.

Жребий Львова был в том, что ему пришлось взять на свои плечи непосильное. Под непосильным он сломился... Один ли он сломился? Кто не падал под непосильной ношей из тех, кто нес что-либо и хотел спасти разрушавшееся государство... По-разному, в разных условиях и обстановках, на разных высотах этой гигантской пирамиды погибали люди, желавшие сохранить русское государство. Львов был на самой высоте. Падение его оказалось заметнее других падений. Период русской истории, знаменующийся разрушением, не имеет героев-победителей, хотя подвиг и самопожертвование павших этим не умаляются.

Нам хотелось бы бегло проследить тот путь, который прошел кн. Г. Е. Львов.

Это путь наш, русских людей, оказавшихся брошенными судьбой в эпоху исключительных по грандиозности и сложности событий.

Кн. Львов, хотя и имел свои собственные, индивидуальные черты и особенности духа, но был плотью от плоти, кровью от крови современного ему русского культурного общества. Достоинства и недостатки, свойства и характерные черты этого общества были достоинствами и недостатками и свойствами Львова.

Кто же он, этот кн. Львов, и как совершил он свой интересный и страшный путь?

Это рюрикович, числивший тридцать поколений, отделявших его от предка. Его восходящие долгое время несли дипломатическую службу России за границей. Какие черты атавизма отражала на себе индивидуальность кн. Львова и что было отражением общественной среды, в которой он рос, — было бы трудно сказать в короткой статье. Не подлежит, однако, сомнению, что некоторые его черты резко определяли его индивидуальность. Он нес в себе свои самобытные свойства, которые привлекали к нему, выделяли его из толпы. Его нельзя было не заметить и не поддаться его обаянию. Это свойство располагать к себе было особенно сильно в нем в то время, когда он делал свое дело, дело, свойственное ему, его духовному складу. Это свойство было менее действенно, когда ему пришлось делать не его, чуждое его духу и дарованиям дело. Он привлекал к себе внимание людей и общества не яркостью своей фигуры, не особой талантливостью, не красноречием, а каким-то неуловимым излучением обаяния всей своей личности, гармоническим сочетанием чрезвычайной простоты и внимательности к людям, каким-то особенным подходом к ним, в котором была большая доверчивость, приязнь и признание в каждом полноты его личных свойств. Совершенно не владевший словом в многолюдных собраниях, застенчивый и смущавшийся на людях, он оказывался очаровательным и незаменимым собеседником в деловых разговорах, обнаруживая большой такт, находчивость, решительность, настойчивость и остроумие. Может быть, в этом искусстве сказывались поколениями воспитанные свойства.

Эти внешние свойства имели под собой крепкие устои. Это был человек глубокого религиозного настроения. А его отношения к жизни и смерти, к миру и человеку, несмотря на развитые практические и хозяйственно-деловые навыки, были полны своеобразных представлений подчас мистического свойства. Неслучайны его метафоры и неожиданные образы, в которых он любил выражать свои отношения к явлениям народной, общественной и государственной жизни. Его статьи в "Русских ведомостях", его вводные статьи в "Известиях Земского союза", которые мы называли в то время стихотворениями в прозе, бывали полны такими образами и обобщениями, своеобразными определениями, которые показывали, что жизнь мира, жизнь народа, процессы социальные и экономические воспринимались и истолковывались им совершенно особенно и что этому реалисту-практику чужд материалистический подход к пониманию вещей и явлений жизни.

Его большая привязанность к народу, чуждая, однако, "народничества", его восторженные отзывы об одаренности русского крестьянина давали чувствовать, что в нем живет особая непоколебимая вера в русского мужика, который должен активно участвовать в строительстве государственном.

В этом отношении князь — рюрикович — был истинным и своеобразным, не в отвлечении и теории, а в подлинной действительности, демократом.

Свойства его духа станут, может быть, более понятными, если вспомнить, кто из его современников привлекал наибольшее его внимание. Его соединяло чувство исключительной приязни и дружбы с ныне покойным Д. Н. Шиповым. Эта приязнь была обоюдная. Шипов, этот безукоризнейший человек, чрезвычайно высоко ценил моральный и духовный склад кн. Г. Е. Львова. С другой стороны, кн. Г. Е. с живейшим вниманием и интересом следил за ростом русского гиганта — Льва Толстого и, по-видимому, много созвучий улавливал он в своей душе с порядком идей Толстого.

Его индивидуальность не укладывалась ни в одну из схем, которые представляли в то время программы русских политических партий. Он не поступался своими чертами, воззрениями и ощущениями, не ломал себя во имя подчинения партийной дисциплине.

Он участвовал в освободительном движении в качестве одного из выдающихся земских деятелей по Тульской губернии. Был участником знаменитого земского съезда 6—8 ноября 1904 года с его конституционным постановлением. Был в депутации земцев и горожан, возглавленной кн. С. Н. Трубецким, 6 июня 1905 года. Был избран в первую Государственную Думу. Был в Выборге, но не подписал Выборгского воззвания, не будучи в силах сломить своего сопротивления акту, который он считал нецелесообразным и вредным.

Он прошел весь путь, который проходили тогда избранные, который проходила тогда вся русская интеллигенция.

Но не на этом политическом пути было его стремление и не на нем лежали задачи и цели его жизни.

Его влекла к себе реальная практическая работа на пользу людей, на пользу народа. В этой работе он был силен. В ней была его стихия.

Мы видели его в земстве. В земской среде он пользовался признанной известностью. Вместе с Шиповым он организует объединение земской работы. Это объединение выступает в новой роли в печальную пору Японской войны. Общеземская организация впервые идет на помощь государству, организуя помощь раненым и больным. Во главе этого нового дела оказывается кн. Г. Е. Львов. Здесь сказался его большой организаторский талант и настойчивость. Именно он преодолел сопротивление рутины и принес общественную помощь на самые поля роковых для русских битв.

В дальнейшем, как-то естественно и само собой, общеземская организация во главе с кн. Львовым появляется там, где обнаруживается народное бедствие, где нужна скорая и действенная помощь. Засуха, суховей, голод мобилизуют Львова и земскую организацию. Он несет помощь погорельцам Сызрани, переселенцам на Дальний Восток.

Львов не только организует помощь и помогает. Он изучает и знакомит Россию с ее сокровищами. Вместе со своими сотрудниками Львов составил громадную книгу в несколько сот страниц — "Приамурье", представляющую серьезное и интересное исследование края.

Подвижный и неутомимый, он едет в Америку к русским духоборам. Он везде, где требуется живое дело, практическая работа, непосредственная помощь людям.

В условиях русской жизни того времени такая деятельность на виду у всех не могла не создать прочной, твердо установившейся репутации. И эта репутация делового, самоотверженного, умеющего достигать и создавать работника прочно и по достоинству укрепилась за кн. Г. Е. Львовым.

Поэтому немудрено, что в июле 1914 года, когда объявлена была война, земцы, по телеграфу созванные Московской губернской управой в Москву, поставили кн. Львова во главе новой земской организации, которая получила наименование Всероссийского Земского союза. Первоначально задачей Союза была помощь больным и раненым. Вскоре, однако, Союз, руководимый Львовым, развил свою деятельность в широчайших размерах. Не осталось, кажется, ни одной области и потребности, вызванной войной, в которой Земский союз не проявил бы своей творческой деятельности.

Искусство кн. Львова, его дарования сказались в этой работе во всей силе. Расцвет его индивидуальности достиг всей полноты.

Неутомимый, постоянно занятый, бодрый и ободряющий, он был живым и вдохновляющим центром поистине громадной работы, производимой Союзом в годину великого бедствия войны для армии и государства. Искусство Львова было в том, что он умел привлекать людей и помогать им самостоятельно работать. Пускай работа эта, как всякое дело рук человеческих, имела недостатки и несовершенства. Но эта работа была нужна, а бесчисленное количество свидетельств высокой полезности этой работы имеется у всех, кто видел эту работу и знает ее. Работа Земского союза шла рука об руку с работой Союза городов. Вскоре был создан так называемый "Земгор", то есть объединение Земского союза и Союза городов в их некраснокрестной работе. Во главе новой организации фактически стал кн. Львов. Если Союзы оказывали армии помощь медико-санитарную, то Земгор стал готовить снаряды, вооружение и снаряжение для армии, развивая до громадных размеров промышленную деятельность.

Репутация кн. Львова как исключительного по размаху деятельности практического работника и организатора была на полной высоте и признавалась всеми. Известность Львова росла с каждым днем. Его знала вся Россия. Его знала Россия земская и Россия городская. Нужно вспомнить, что еще в январе 1913 года Московская Городская Дума избрала кн. Львова своим городским головой. Правительственная власть не утвердила Львова в этой должности. Знала Львова и армия в лице военачальников и солдат, которые повсюду встречали общественную помощь. Эта помощь связывалась с именем кн. Львова. Россия знала его и ценила. Узнавала и научалась ценить и заграница.

Когда пал старый строй, я помню тревожную фразу, произнесенную встревоженным кн. Львовым:

"Я вижу, что линия идет через мою голову".

И, действительно, судьба вела его от его стихии, от его дела в новые сферы, где у него не было ни корней, ни навыков, в которых он чувствовал себя чужим...

Что делать, когда русская действительность никого не приготовила к этому страшному часу.

В этот час мог овладеть положением только тот, в ком, как в фокусе, сосредоточилась бы вся воля, все напряжение народное. Львов, с его мистическими образами и отвлечениями, оказался вне революционной действительности, и она его смела.

Повинен ли в этом Львов, которого хотели принять не за того, каким он был в самом деле? Ему поручили вести уже тонувший корабль русской государственности среди уже разыгравшейся бури революционной стихии. Задача оказалась не по силам. Но кто мог с ней справиться?

Характерно, что, измученный физически и морально, кн. Г. Е., покинув Временное правительство, укрылся в Оптиной Пустыни... и там искал ответа на терзавшие его совесть вопросы...

Что дальше?.. Тюмень... Арест... Тюрьма в Екатеринбурге... Смерть, уже занесшая над ним свою руку...

Потом изгнание и полные тоски взоры, устремленные на далекую Россию.

Потом новая большая работа на русских в изгнании, на русских детей.

Почтение со стороны чужих и поругание со стороны своих.

Тихая и мирная смерть во сне...

Так пройден большой и трудный путь, который оставит свой след в истории русского народа.

II. ПАМЯТИ КН. Г. Е. ЛЬВОВА

15 марта под председательством П. П. Юренева состоялось заседание, созванное временным Главным комитетом Всероссийского Союза городов.

Краткую вступительную речь произнес *П. П. Юренев*, указавший на крайнюю сложность натуры покойного князя Г. Е. Львова. Несомненно, он был под сильным влиянием морального учения Толстого, но совершенно неправильно считать его "непротивленцем". В своей общественной работе он руководствовался не непротивлением злу, а мудрым невмешательством. По отношению к Земскому союзу, имевшему в лице земских управ и целого ряда испытанных земских деятелей готовый рабочий аппарат, эта позиция невмешательства была правильна и дала блестящие результаты. Для Временного правительства ее оказалось недостаточно.

Сложность натуры кн. Г. Е. Львова Юренев объясняет и его одиночеством, и отсутствием у него близких друзей, кроме разве Д. Н. Шипова. Но в то же время кн. Г. Е. Львов был весь, целиком "наш", типичным лучшим представителем русской интеллигенции. Мы хороним теперь не только кн. Г. Е. Львова, но вместе с ним и большой кусок отошедшей в вечность нашей личной жизни. Оглядываясь с тоской назад, мы с тревогой смотрим в будущее. И мы верим, что если суждено России освободиться и возродиться, то только на началах права, правды и справедливости, поборником которых был кн. Г. Е. Львов.

Затем кн. *П. Д. Долгоруков* поделился личными воспоминаниями о кн. Г. Е. Львове, начиная с первых шагов его земской деятельности в Тульской губернии. В это время сильное влияние на Львова имел выдающийся по своим моральным качествам тульский помещик Р. М. Писарев, человек очень богатый, знатный и образованный, посвятивший всю свою жизнь деревне и ее нуждам. Есть французская пословица: человечество затмило человека. К Писареву и Львову она неприменима. Они всегда и прежде всего служили человеку. Это вытекало из самых глубин морального существа кн. Львова и осталось на всю жизнь

его отличительным свойством. Характерно, что и в области земского дела Г. Е. Львов особенно интересовался вопросами общественного призрения, а также близким к этой области вопросом о переселении крестьян и судьбе переселенцев. С целью изучения переселенческого дела кн. Г. Е. Львов совершил поездки в Сибирь и в Америку.

Отметив затем более или менее известные факты из жизни кн. Г. Е. Львова — его работу во главе Земского союза во время Японской войны, его работу в первой Гос. Думе, неподписание им Выборгского воззвания, работу в Земском союзе в годы великой войны и, наконец, во Временном Правительстве, кн. П. Д. Долгоруков кончил рассказом о своих двух последних встречах с покойным — в августе 1917 года в России, после ухода его из Временного Правительства, и в прошлом году — в Праге.

В заключение с большой прочувствованной речью выступил *Н. И. Астров*.

Перед таким уходом в вечность, как уход кн. Г. Е. Львова, нет никакого утешения. Умереть на чужбине с тоской по родине, отдать всю жизнь России и умереть оклеветанным одними, забытым другими — какое более страшное наказание можно придумать за грехи прошлого, вольные и невольные?

Мы не можем ни судить, ни обвинять, ни оправдывать покойного. Мы — сами участники его дел. Мы хотим только напомнить его жизненный путь, вспомнить с любовью черты его лица. Вспоминая жизнь кн. Г. Е. Львова, с удивлением останавливаешься на одном факте — всегда, когда случается большая беда, когда грозит большая опасность, во главе тех, кто приходит на помощь, всегда стоит кн. Г. Е. Львов. Он никогда не проявлял честолюбия, но по натуре, по талантам своим он был организатор, человек практического дела. Именно поэтому он так и выделился в среде русской интеллигенции, всегда страдавшей отсутствием практичности и деловитости.

Популярность кн. Г. Е. Львова росла сама собой постепенно, но неуклонно. Каждый пост, который он занимал, служил ему ступенью к следующему, более высокому. Даже чисто отрицательные факты, как неутверждение его в должности Московского городского головы, служили к увеличению его популярности. Когда в начале войны 1914 года организовался Земский союз, сразу единственным кандидатом в его председатели явился кн. Г. Е. Львов. На этой работе его узнали и оценили и армия, и начальство, и солдаты. С некоторыми генералами у него завязались личные отношения — например с Алексеевым. Вряд ли у него были с ними политические разговоры. Говорили просто о России, о жизни, о смерти, и в этих разговорах не могли не вырисоваться ярко вся глубина и своеобразие натуры Львова.

Наступила революция. Образовалось Временное правительство, и во главе его — опять совершенно бесспорно — занял место Львов. И в эту ответственную минуту не оказалось другого кандидата. Но он не был политическим деятелем. Он оказался в чуждой ему стихии, и эта стихия победила его. Он не выдержал и ушел. Враги его ставят ему в вину то, что он пошел во Временное правительство. Но нельзя с точки зрения сегодняшнего дня судить поступки людей в феврале 1917 года. Стоит только вспомнить, что тогда все мы переживали.

Уйдя из Временного правительства, Львов исчез. Никто не знал, где он. Уже после стало известно, что он провел некоторое время в Оптиной Пустыни. В этом сказалась его религиозность. Затем случайный арест — уже при большевиках — в Тюмени и, казалось, верная гибель. Но тут спасло его умение подойти к мужику, к солдату. Никто не умел так просто говорить с простым народом, как князь Львов. Он очаровал своих тюремщиков и был освобожден. Затем Сибирь и эмиграция, где он занял малозаметный для широких кругов эмиграции, но

чрезвычайно ответственный пост главы земской организации. Снова началась кипучая работа. Только его энергии, его авторитету у иностранцев обязана русская эмиграция всем тем, что удалось добиться Земскому союзу в деле защиты ее интересов.

Часто говорят, что Львов был безволен. Это неправда. Факт неподписания им Выборгского воззвания вопреки мнению всей партии Народной свободы, к которой он тогда принадлежал, указывает, что он всегда твердо и неуклонно шел по той дороге, которую подсказывала ему совесть.

По окончании речи Н. И. Астрова память кн. Г. Е. Львова была почтена вставанием.*

* Текст печатается по газете "Последние новости", Париж, 1925, март.

Российский
Земско-Городской
Комитет

КН. Г. Е. ЛЬВОВ

С душевным прискорбием Земско-Городской Комитет извещает о безвременной кончине своего председателя кн. Георгия Евгеньевича Львова, последовавшей 6 сего марта.

Посвятивший всю жизнь служению России и русскому народу, кн. Г. Е. Львов и в изгнании отдал всего себя непрестанной заботе о своих соотечественниках. Сначала Константинополь, Галлиполи и Лемнос, а затем, с постепенным расселением беженцев, почти все западноевропейские страны становятся ареной гуманитарной и просветительской деятельности созданного по инициативе и при ближайшем участии князя Г. Е. Львова Земско-Городского Комитета.

Но наиболее ценным памятником неутомимой и самоотверженной работы покойного является сеть организованных за рубежом при содействии З.-Г. Комитета русских школ. Свыше 60 средних и низших школ, с числом учащихся около 5 000, — эти бесценные для сохранения национального облика подрастающего в изгнании поколения учреждения могли возникнуть или сохраниться до настоящего времени исключительно благодаря трудам и попечению кн. Г. Е. Львова.

Безупречный моральный авторитет и личная обаятельность снискали покойному уважение и симпатии многих выдающихся государственных деятелей Европы и Америки и позволили привлечь к содержанию русской школы иностранные средства. Начиная с 1923 года, во вни-

мание к усердным ходатайствам кн. Г. Е. Львова, чехословацкое правительство включило школьно-просветительные учреждения З.-Г. Комитета в систему своей грандиозной русской акции.

Но чрезвычайное напряжение и расходование сил не прошли даром. В лихорадочной работе на ответственном общественном посту застигла председателя Земско-Городского Комитета преждевременная смерть, с последней мыслью — не о себе, а о других...

Земско-Городской Комитет в полной мере отдает себе отчет в том, какая огромная и невознаградимая утрата понесена им в лице почившего князя Г. Е. Львова. Но Земско-Городской Комитет убежден, что созданное под водительством князя Г. Е. Львова дело огромной национальной ценности не может, не должно погибнуть, что не иссякнет великодушная поддержка, оказываемая ему до сих пор со стороны братских славянских народов и иностранных гуманитарных организаций.

Земско-Городской Комитет призывает всех своих сотрудников на местах и особо учредительский персонал содержимых Земско-Городским Комитетом школ сплотиться вокруг светлой памяти почившего, в дружной работе для упрочения и развития созданного кн. Г. Е. Львовым дела.*

---

* *Буклет.* На первой странице — портрет кн. Г.Е.Львова. Подпись под ним:

Кн. Г. Е. Львов

Председатель Земско-Городского Комитета
Б. Председатель Временного правительства
Б. Председатель Всероссийского Земского Союза

1861—1925

Париж,
16 марта 1925 года

Российский
Земско-Городской Комитет

М. Алданов

КУТУЗОВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Памяти кн. Г. Е. Львова, сконч. 6 марта

Отрывки

В кн. Георгии Евгеньевиче Львове отсутствовали те человеческие недостатки, которые нужны для того, чтобы быть политическим деятелем, — и политическим деятелем он, конечно, не был, по крайней мере в том смысле, в каком на протяжении тысячелетий понимается это слово. Так не был, разумеется, и не мог быть полководцем генерал, изображенный в “Войне и мире” под именем Кутузова.

Исторический генерал Кутузов, придворный интриган, собственноручно приносивший кофе в постельку фавориту Екатерины, обыгрывавший до разорения в карты молодых людей, не очень похож на Кутузова “Войны и мира” (которого имеет в виду заглавие настоящей статьи). Однако Толстой, глубокий знаток эпохи, знал, что делал. В фигуре фаталиста, насильственно помещенной в центре апокалиптических событий, не задет ли, не угадан ли хоть отчасти таинственный “смысл русской истории”?

Я знал покойного Г. Е. Львова не близко, но достаточно для того, чтобы видеть, как мало этот очень сложный человек был похож на шаблонное изображение, которое сложилось о нем у большинства современников.

“Типичный земец”... “запоздавший шестидесятник”... кн. Львов был всей жизнью связан с земской работой, но в нем не было решительно ничего от “типичного земца”. Едва ли он даже любил земство: сомнение в этом я слышал и от одного из самых близких к нему людей. С тем, что обычно разумеют, говоря о шестидесятниках, у него не

было ровно ничего общего, и ничего общего с этим не имели три главные влияния (все три не книжные, а личные), прошедшие через его жизнь и так странно в ней сочетавшиеся: Л. Н. Толстой, Д. Н. Шипов, Оптина Пустынь...

Его часто обвиняли в слабости воли, в недостатке твердости и мужества. Первое верно лишь в очень условном смысле, второе совершенно неверно. Биограф Георгия Евгеньевича в свое время расскажет, что был в его жизни (еще до революции) момент, когда он без колебания поставил на карту свою голову. Биограф расскажет и о бесстрашии, которое проявил кн. Львов в 1918 году в большевистской тюрьме, ежедневно ожидая смерти.

Еще чаще обвиняли его в незнании людей, в неумении разбираться в них. Между тем на самом деле он обладал совершенно исключительной проницательностью, которая сделала бы честь большому писателю. Он видел людей насквозь, но не всегда это показывал и не всегда — в силу общего своего фаталистического мировоззрения — делал выводы, которые, казалось бы, напрашивались из его суждений. В пору величайшей популярности Вильсона он — после первой встречи — сказал о покойном президенте то, что тогда было ересью, а через полгода стало общим местом. Кн. Г. Е. Львов был на редкость умен, но ум его был не "блестящий", не показной и не книжный. Деловые люди (всех родов дела), сталкиваясь с Георгием Евгеньевичем, вероятно, часто уносили в душе приятное сознание своего умственного над ним превосходства — и очень многие из них при этом ошибались самым печальным для себя образом.

Не было в кн. Львове и следов наивности и простодушия, над которыми принято было потешаться в правых политических кругах: он был, при крайней своей сдержанности, очень хитрый человек в лучшем смысле этого слова — в лучшем потому, что никакие *личные* цели и интересы за его хитростью никогда не скрывались... Слишком часто политические деятели говорят (или "восклицают"), что против воли принимают власть, как посланный им тяжелый крест: не так давно, явно преувеличивая человеческую глупость, заявил это сам Муссолини. Г. Е. Львов никогда не восклицал о кресте выпавшей на его долю власти — и именно по отношению к нему эта фраза была совершенно точным выражением истины.

* * *

..."Мы можем почитать себя счастливейшими людьми, поколение наше попало в наисчастливейший период русской истории"...

"Свобода, пусть отчаятся другие, я никогда в тебе не усомнюсь!"

Так говорил он в своей известной речи. Но когда же он это говорил? Не 2-го, не 3-го марта, а 27-го апреля, то есть после поражения на Стоходе, почти одновременно с прощальной речью А. И. Гучкова ("только чудо может спасти Россию")... Наивными оптимистами в апреле 1917 года уже не были и гимназисты. Глава Временного правительства говорил так, потому что видел в этом свой долг.

...Quand le mal est certain,
La plainte ni la peur ne changent le destin[1].

Мне известно, что Георгий Евгеньевич на третий *день* после революции был уверен в полном ее крушении. Кутузов перед самым оставлением Москвы заявляет, что Москва сдана не будет... Это оптимизм прагматический.

И тем не менее кн. Львов говорил искренно: как и некоторые другие политические деятели 1917 года, он оставался оптимистом — в перспективе десятилетий. Была *условная* правда в его словах, уже тогда звучавших почти такой же горькой насмешкой, как ныне...

---

[1] Когда зло несомненно, ни мольба, ни страх не изменят судьбу — (фр.).

* * *

Революция всегда начинается с титулованного аристократа: граф Мирабо или маркиз Лафайет, лорд Аргайль или князь Понятовский, принц Макс Баденский или граф Карольи...

Этот прямой рюрикович, потомок князей ярославских, не очень жаловал все "дворянское". Из аристократии, старой и новой, вышло немало левых политических деятелей. Очень немногие из них совершенно забыли о своем происхождении; громадное большинство — из тех, кого я знал, — любили при случае о нем упомянуть. Знатное происхождение ведет к политическому радикализму. В князе Георгии Евгеньевиче этой рисовки не было и следа — он просто ее не понял бы. Зато он гордился тем, что из их рода вышло четыре святых...

В будущей России для людей его душевного и умственного склада я никакого места себе не представляю.

Часто говорят о *мужицком* складе его ума и характера. Едва ли это верно. Очень счастливой страной была бы Россия, если б преобладающая часть ее населения обладала хоть в зародыше душевным аристократизмом кн. Львова. Но он был, несомненно, по духу своему человек не городской. Когда у него выдавалось несколько свободных дней, он уходил из Парижа пешком в деревню и нанимался там в батраки. Французские крестьяне бывали очень довольны его работой. Если б Г. Е. сказал им, что он князь и бывший глава правительства, они, вероятно, тотчас бы послали за полицией и арестовали его как самозванца...

* * *

Думаю, что в кругу политических деятелей он очень *скучал*. В пору эмиграции, в посольстве, князь, говорили мне, часами молча просиживал у выходившего в сад окна... Быть может, вспоминал свой знаменитый яблочный [1] сад: он с гордостью рассказывал, что Елисеев у него покупал яблоки.

В Политическом совещании, правда, и обстановка была такая: вероятно, чувствовалось, что Совещание совещается, но если б и не совещалось, то большой беды не произошло бы. Знаменитый оратор, один из лучших в Европе, говорил и при этом себя слушал, как всегда с удовольствием себя слушают знаменитые ораторы. Бывший царский сановник, недовольный непривычным обществом либералов и революционеров, еще более — непривычной неучтивостью официальной Европы, раздражался и говорил неприятности либералам, революционерам и представителям Европы. Знаменитый авантюрист, помесь Казановы с Хлопушей, тщательно следил за своими переживаниями демонической личности и романиста.

* * *

В пору Парижской конференции мира кн. Львов встречался с вершителями судеб человечества. Быть может, самой красочной картинкой этой изумительной политической ярмарки была именно "встреча России с Европой". Одну сторону представляли Клемансо и Ллойд-Джордж, другую — Г. Е. Львов и Н. В. Чайковский!.. Разговоры, вопреки обычаю, происходили без переводчика-лингвиста; но был, собственно, настоятельно необходим *нравственный* переводчик, какой-то Каммерленк от морали: ибо как могли эти люди найти общий язык?

"Россия не понимала Европу, Европа не понимала Россию"...

Тем не менее Клемансо, в котором искушенный опытом людей мизантроп дополняется романистом и драма-

[1] Так в тексте. — Прим. ред.

тургом, говорил впоследствии, что кн. Львов — человек весьма замечательный.

* * *

То ли дело — соотечественники...

"Кого общий голос обвиняет ныне в темных денежных делах? Старое царское правительство? Нет, оно по следствию оказалось белее снега. Обвиняют излюбленного человека общественности, главу Временного правительства, — обвиняют князя Львова"...

Сказано это в органе серьезном, в толстом "консервативном" журнале, в "Русской летописи" (издание "Русского очага" в Париже, книга шестая, стр. 10).

Милые строки эти напоминают мне, как в 1918 году советская печать обвиняла генерала Корнилова — в трусости. "Une trouvaille[1]", — говорят в таких случаях французы... Через руки Львова, в свое время отказавшегося от личного состояния, прошли еще до революции сотни миллионов. После его кончины оказалось, что похоронить как следует бывшего главу правительства не на что... Поистине глубокая политическая бездарность нужна была для того, чтобы из всех возможных аргументов против врага выбрать такой, которому даже дурак не поверит.

А впрочем, дурак, может быть, и поверит.*

---

1 Находка — (фр.).

* Текст печатается с сокращениями по газете "Последние новости", Париж, 1925, март.

Т. Полнер

КНЯЗЬ Г. Е. ЛЬВОВ

Клочки воспоминаний

На днях я получил письмо от одного американца. Он говорит, между прочим, (привожу в переводе): "Бывает раз или два в жизни, что встретишь человека, влияние которого оставит на тебе неизгладимые следы и усилит веру в то, что жив Бог среди людей. Таков был князь Львов, и мои встречи с ним оказались решающими для трех последних лет моей жизни. В моей работе, в отношении моем к России я всегда стараюсь поступать так, как будто он руководит мною. И я надеюсь, что с течением времени найду способы поработать в России над приложением идей, осуществления которых ему не удалось дождаться". Американец этот знает и любит Россию. Он служит в Вашингтоне у Хувера.

15 лет тому назад я ехал с князем Львовым в Канаду для изучения переселенческого дела. На пароходе Г. Е., не знавший английского, просил меня пересмотреть рекомендательные письма, доставленные ему незапечатанными покойным самарским земцем Шишковым. Писем было пять или шесть к видным американцам. Текст (совершенно одинаковый) отличался лаконичностью: "Письмо это передаст вам князь Георгий Львов. Вы будете благодарны мне за знакомство с ним, потому что это — самый замечательный человек из всех, каких я встречал в моей жизни".

С такими отзывами и мнениями о князе мне приходилось встречаться не раз. И вот теперь, садясь писать поминки по Г. Е., я спрашиваю себя: сколько преувеличения и сколько правды в таких словах?

В окружавшей его среде князь казался человеком очень своеобразным. И эта оригинальность не кричала только по причине чрезвычайной его скромности: он всегда стушевывал свою индивидуальность и при сношениях с людьми старался сам держаться в тени. А ведь между ним и нами было очень мало общего. Другое дело в сношениях с крестьянами и солдатами: здесь он был вполне в своей сфере. Собеседники понимали его с полуслова, и он понимал и ценил их...

Кто живал подолгу в великорусской деревне, знает тип ухватистого на всякое практическое дело, талантливого и умного мужика, не любящего "зря трепать языком", равнодушного ко всяким формальностям, но умеющего ладить и с товарищами, и с начальством. На сходке он долго молчит и только в конце, когда охрипнут горлодеры, выступает со скромным предложением, верно учитывающим среднюю линию. Он человек смелый и, в роли старосты, удерет часто такую штуку, что никто и не ожидал... и придет с повинной головою к "старичкам", поставив их перед совершившимся фактом.

— Да, энтоть... человек резвый: знает, с чего начать! — говорят про него солидные мужики с оттенком уважения и зависти.

Он приличный хозяин, скупенек, любит землю и непременно вернется к ней в конце жизни. Но не уклонится от беспокойного места старосты, пойдет в ходоки, если на него возложит поручение общество, и, быть может, надолго оторвется от земли, для того чтобы стать во главе артели и вести какое-либо дело в городе. И везде ему удача. В книжку он верит мало и твердо держится правила: "Не спрашивай умного, не спрашивай ученого, а спрашивай бывалого". Проекты и предположения выслушивает он молча, а делает по-своему и не гадает вперед, веруя, что "дело само укажет". Но главная его сила — в умении выбрать подходящего человека и создать такую

обстановку, в которой работается легко и весело. Как это ни странно, но он замечательный сердцевед и двумя-тремя словами умеет восстановить нарушенный мир артели, успокоить людей, лезущих в драку, снять с сердца заботу и горе и сделать опостылевшую жизнь и работу веселыми и приятными. Религиозность его (особенно внешняя, обрядовая) под подозрением, но слывет он человеком "справедливым", живет и действует "по-Божески", хотя и себя не забывает. Он большой честолюбец, но это честолюбие особое — *честолюбие дела*, желание во что бы то ни стало добиться успеха в предприятии, за которое взялся. В стремлении этом он проявляет необычайную практичность, гибкость и склонность жертвовать многим; в сущности, он большой оппортунист. Ко всему, что не связано с землею и с сегодняшним делом, он вполне равнодушен. В городе его не заманишь ни в театр, ни в кинематограф... но в деревне вечерней порой, отправляясь с сынишкой в ночное, он с удовольствием слушает долетающую издалека песню... напев ее, и слова

...Эх, ты сад, ты мой сад,
Сад зелененький...

шевелят струны его русского сердца и та самая мягкая улыбка, которою он лечит людские недуги, невольно и бессознательно появляется на его губах...

Дайте всестороннее и гармоничное развитие этому типу в сторону образования, культуры, светскости и вы получите образ князя Львова — столь мало схожий с шаблонами и аристократии нашей, и нашей интеллигенции.

Вспоминаю тульское земство в начале столетия. Мы — "третий элемент" — в волнении. Ждем из Москвы нового председателя губернской Управы. Это князь Львов. Он ставленник прогрессивной части нашего черносотенного собрания. К радостному чувству ("наконец, взяла левая!")

примешивается и тревога. Что-то будет с вольностями, отвоеванными нами у черносотенной управы? Князя Львова мы знаем мало. На собраниях он выступает редко, коротко, деловито, избегая всего, что может раздражить противников. Он не в чести у правых, но часто успевает в своих выступлениях. Слухи об его прошлом такие. Он начал государственною службой и даже побывал в земских начальниках. Конечно, это покажется нам почти преступлением. Впрочем, очень скоро князь вышел в отставку, сел на землю, усиленно занялся хозяйством и начал работать в земстве. Имение (несколько сот десятин плохой земли в Алексинском уезде) принадлежало пяти лицам, почти не давало дохода, было запущено. Князь развел там плодовый сад в 50 десятин, который скоро прославился на всю губернию. Соседи (и помещики, и крестьяне) рубили лес на дрова. Князь поставил машины, стал готовить стружки и опилки для укладки фруктов. Яблочную "падаль", которая у других гнила и пропадала, он превращал в довольно вкусную пастилу, которою успешно торговал в Москве. Он сам снимал урожай яблок, продавал их без посредников и даже изобрел способ сохранять фрукты свежими до Пасхи. Словом, хозяин был, по общим отзывам, необыкновенный.

Вступив в должность, новый председатель не очень приятно поразил нас. Мы привыкли участвовать в жизни Управы: нас обо всем спрашивали, с нами совещались. С приездом князя все это кончилось. Он словно забыл о нашем существовании. Секретарю он вернул несколько бумаг к губернатору, переделав их самым основательным образом. Такие бумаги мы насыщали обыкновенно плохо скрытою язвительностью. Князь беспощадно уничтожил все шпильки, экивоки, намеки, над которыми в поте лица злорадно трудился секретарь, а одну бумагу просто перечеркнул целиком, написав на ней: "К чему все это?", и набросал сам деловитый, но "пресный" ответ. Писал он быстро, ладно и охотно. Наконец как-то вечером состоялось совещание на квартире князя. Приглашены несколько прогрессивных гласных, человека четыре из нашей среды и члены Управы. Квартира оказалась большая, но поражало убранство: обширные комнаты были пусты... кое-где складные железные кровати, дешевенькие столы и стулья, жесткие диваны, обитые ситцем, видимо, прибывшие из деревни... В двенадцатом часу епифанский предводитель дворянства, князь М. В. Голицын не выдержал.

— Князь, — сказал он протяжно, с жалостью смотря на нас, — предложите же, наконец, вашим гостям чаю...

Хозяин засмеялся.

— Я и забыл за делами. Извините! Чай в соседней комнате. Сделаем перерыв.

И он проводил нас в столовую. Гостей было человек двенадцать. На большом круглом столе находился крошечный самоварчик, уже потухший, стояли стаканы, большой чайник, лежал хлеб. Посредине красовались блюдо с надрезанным кочаном капусты и кувшин с квасом.

— Пожалуйста, наливайте себе — кто хочет чаю. А вот квас и капуста... я чаю не пью.

Кое-как мы нацедили себе по стакану холодного и жидкого чая и долго потом вспоминали "княжеское угощение".

* * *

То было время поднимавшейся волны общественного движения. Мы ("третий элемент") организовали в Туле отдел "Союза Возрождения" и, не без больших сомнений, предложили князю вступить в него. Сверх ожиданий он сразу и просто согласился и довольно аккуратно посещал наши конспиративные собрания. Это был шаг смелый: малейшая неосторожность, несчастная случайность могли погубить навсегда его общественную карьеру. К тому же на-

ша "работа" весьма мало увлекала князя: он только прислушивался к нам, оставался холодно-равнодушным и обычно молчал. Его представления о политике казались нам весьма смутными, и даже, к нашему ужасу, он часто путал эсеров с эсдеками. Вероятно, очень скоро он ушел бы из нашего кружка. Но открылась Японская война. Дм. Н. Шипов приступил к объединению земств около дела помощи больным и раненым воинам. Как-то раз, вернувшись из Москвы, князь скромно сказал мне:

— Вот, возлагают тяжелую миссию — ехать на войну с земскими отрядами... И нельзя не принять: надо попробовать сделать, что можно.

Я попросил его взять меня с собою. Он подумал, внимательно посмотрел мне в глаза и согласился.

И вот я стал близким свидетелем чудес, которые творил князь на войне.

В Москве стало известным, что Плеве готовит скорпионы[1] против объединившихся земств. Надо было парировать удар. Князь успел перед отъездом проникнуть к царю, рассказал ему цели общеземской организации и получил разрешение "передать земцам сочувствие и благословение царя". В день публикации об этом Плеве категорически запретил дальнейшее присоединение земств к организации. Но объединение 14 земств, покрытое "благословением царя", осталось. За это Шипов, как самозваный глава объединившегося земства, не был утвержден председателем Московской управы на новое трехлетие, а в армию полетели предостережения против намечающейся вредной деятельности князя Львова и предстоящей пропаганды среди войск персонала земских отрядов.

Князь Львов говорил: "Едем в бучу!" И, действительно, работа на войне не обещала ничего хорошего. Предупрежденные военные власти должны были насторожиться. Земские отряды целиком были подчинены главноуполномоченному Красного Креста камергеру Александровскому. Отрядов было немного (всего 21), и они совершенно тонули в массе военно-санитарных и краснокрестных учреждений...

Да, так было, когда князь подъезжал к Ляояну. А через три месяца все коренным образом изменилось: земские отряды развернули большую работу в передовых линиях; они передвигались с армией и пользовались полной независимостью. Александровский, довольно властный поначалу, очень скоро сдался совершенно и только советовался с князем, как бороться против интриги, которая велась против него в это время. Все в армии знали и князя Львова, и общеземскую организацию. Помню, раз в вагоне я слышал, как горячий полковник громко негодовал на свое начальство. Он кричал сердито своим товарищам:

— Да, не на того попали... я дальше пойду! Я самому князю Львову буду жаловаться...

Китайская железная дорога ссорилась с военным ведомством, и Куропаткин ничего не мог сделать с ее волокитой. И были случаи, когда главнокомандующий обращался к князю Львову с просьбой о посредничестве. Князь ехал к железнодорожникам и убеждал их. Зато, когда дороге нужно было добиться чего-нибудь от военных властей, князь Львов снова являлся в роли частного ходатая, посредника и умиротворителя.

Конечно, политические условия очень помогли популярности земцев. Но князь сам по себе стал общим любимцем: необычайная скромность, бросавшаяся в глаза, простота жизни, неутомимость в передвижениях, ласковость и ровность в сношениях с самыми разнообразными людьми, умение вызывать в них самые лучшие инстинкты, всегдашняя готовность к услуге — все это делало его непреодолимым и обаятельным. Ровность его была поразительна. За все три месяца я видел его раздражение толь-

[1] Так в тексте. — Прим. ред.

ко два раза — и то после нервных дней и ночей Ляоянского сражения.

Утром, в день отступления, Куропаткин заехал на земский перевязочный пункт около вокзала и сказал нам: "Приступайте к эвакуации. После полудня, быть может, здесь будут ложиться неприятельские снаряды. Постарайтесь избежать паники". Когда раненые были эвакуированы и остался только персонал, свертывавший и грузивший имущество, мы уехали с князем домой укладываться. Жили мы в трех километрах от Ляояна. Вдруг летит санитар с известием, что на вокзале "убило земскую сестру и доктора". Седлаем лошадей и быстро едем вдвоем к вокзалу. Скоро вокруг нас начинают рваться снаряды. На вокзале уже полное безлюдье. Очевидно, последние поезда уже ушли, увозя наших раненых. Князь поворачивает лошадь и молча едет домой. Вижу: в саду, около вокзала земский обоз, работавший для перевязочного пункта, уныло стоит на привязях. Очевидно, китайцы обозные разбежались. Несколько лошадей валяются с вывороченными внутренностями. Спешу домой сбивать артель из санитаров и китайцев, чтобы ехать на выручку. Обещаю по три рубля за голову. Но на пороге фанзы появляется князь. Резко и внушительно он говорит мне:

— Вы — взрослый человек и сами можете делать какие угодно нелепости. Но сманивать людей деньгами и подвергать их жизнь опасности... я вам это запрещаю...

И он сердито скрывается в фанзе.

В другой раз досталось уже не мне, а главному нашему начальству. На одной из маленьких станций к северу от Ляояна шла спешная погрузка прибывавших со всех сторон раненых. Ни вагонов, ни людей не хватало. Суматоха и беспорядок были отчаянные. Сам главный начальник санитарной части армии генерал Трепов суетился и хлопотал около раненых. Когда нагруженный сверх всякой меры поезд двинулся, а раненые продолжали прибывать, князь не выдержал, и я слышал, как он резко напал на Трепова. К чести генерала нужно сказать, что он не только не обиделся, но еще впоследствии сам говорил нам с некоторым удивлением:

— А?.. что ваш князь-то мне сказал? Вы, говорит, беретесь заведовать санитарной частью армии, а я не взял бы вас приказчиком в свое именье!..

* * *

Перед отъездом князь был с прощальным визитом у Куропаткина. Они обнялись и расцеловались. В последнюю минуту генерал поздравил князя с "монаршею милостью" и передал ему коробочку с орденом.

Князь дошел до двери и вернулся.

— Позвольте обратиться к вам с просьбою... для дела, которому я служу, лучше, чтобы я приехал в Россию без этого... Разрешите благодарить вас и вернуть вам вашу награду.

Куропаткин подумал.

— Хорошо, князь, я вас понимаю. Но пусть это останется между нами...

Зато князь получил другую награду. Вслед ему полетела в Москву телеграмма, подписанная всеми уполномоченными, врачами и сестрами земских отрядов. В этой телеграмме выражались горячие симпатии и в восторженных выражениях описывались достижения князя в Манчжурии.

* * *

Нет места рассказывать о дальнейшем общественном пути Г. Е. Львова, и путь этот у многих еще в памяти. Отмечу лишь кое-что для уразумения личности покойного.

Князь был равнодушен к искусству. Помню раз его видели в Художественном театре на "Вишневом саде".

— Вы были в театре, Георгий Евгеньевич? — спрашиваю с изумлением.

— Да, затащили! — конфузливо отвечает он. — А знаете, они там недурно играют…

Но вот однажды я пошел в маленький зал слушать заезжих рожечников. Сидим наверху. Играли подлинные рязанские мужики. Их было человек двенадцать. Они дружно дудили, и рожки их пели настоящие русские песни. Выходило красиво и забористо. По окончании концерта перед эстрадой столпилась публика. Среди нее бросался в глаза прямо неистовавший князь Львов: от волнения он уронил на пол шапку, бешено аплодировал и кричал на всю залу: “Спасибо! Спасибо! Вот утешили, так утешили!..”. В таком воодушевлении я видел его в первый раз в жизни.

Когда в Петербурге праздновалось официально пятидесятилетие земских учреждений, многие земцы “осчастливлены были монаршей милостью”. Князь не получил даже приглашения на торжество. Он в это время сидел за работой: писал для народа книжку о том, что сделало земство за 50 лет. Брошюра в короткий срок выдержала 15 изданий, но дальнейшее распространение ее во многих губерниях было запрещено губернаторами.

В 1914 году князь стал во главе Земского союза. И те фантастические, сказочные размеры, которые приняла эта организация, захватив все стороны жизни армии и многие нужды страны, объясняются в значительной степени характером князя: его деловитостью, смелостью, практическим тактом, умением объединять вокруг себя людей самых различных и его полным равнодушием (я сказал бы, даже ненавистью) ко всякой формалистике.

Помню, как-то я приехал с фронта и сидел вечером в Комитете, слушая бесконечные нудные прения о том, как переходить в новое помещение отделу поездов — с кухней для персонала или без оной. Но вот князь взглянул

на часы, передал председательствование Н. Н. Хмелеву и ушел в свой кабинет говорить по телефону. Вернувшись, он еще с час невозмутимо давал высказаться всем желающим. После заседания он сказал Хмелеву: “Вот что, Николай Николаевич, надо завтра к 12 приготовить шесть миллионов”.

Осторожный Хмелев, заведовавший кассой, пришел в ужас.

— Как шесть миллионов? Зачем?

— Я купил сейчас по телефону заводы (князь назвал крупную фирму). Завтра платеж.

— Но позвольте, Георгий Евгеньевич! Где же постановление? Вопрос даже не рассматривался… Я не могу так.

— Ну, это мы оформим впоследствии. Дело сделано. Поздравьте Земский союз с дешевым приобретением и готовьте деньги…

* * *

Я не могу касаться здесь того периода деятельности Г. Е., когда он стал во главе революционного правительства и создал себе столько врагов. Замечу только, что органическое влечение к русскому народу и безусловная вера в него пережили в душе князя и это время, и все тягостные испытания, которые пришлось ему пережить с тех пор. В Сибири его захватил в плен мальчишка-коммунист, возглавлявший толпу матросов. Георгия Евгеньевича везли из Тюмени в Екатеринбург и по дороге на станциях выводили показывать толпе, как редкого зверя. Несколько месяцев в тюрьме он ждал каждый день насильственной смерти, которая выпала на долю большинства лиц, томившихся в одно время с ним в заключении. А спасши жизнь, добравшись после долгих приключений до Омска, он принял от Сибирского правительства поручение и выехал в Америку хлопотать за Россию.

Здесь, на чужой стороне, он чувствовал бесконечное томление духа. Иногда летом он уходил пешком из Парижа, по нескольку дней бродил по крестьянским хозяйствам, косил траву и хлеб и в общении со здешним народом пытался найти суррогат русской деревни и русского мужика. Но это общение не утоляло его тоски по родине. Со своим вечным оптимизмом он годами, изо дня в день, ждал падения большевиков. И только в последнее наше свидание, за два дня до кончины, он в первый раз сказал: “Надо устраиваться здесь: в Россию, похоже, не попадем”. Он арендовал в нескольких часах от Парижа огород и плодовый сад и надеялся трудами рук своих содержать себя и своих близких.

В последнее время, по просьбе друзей, он начал набрасывать отрывки своих воспоминаний. Он успел довести их до студенчества. Лица, слышавшие чтение этих отрывков, отзываются с восторгом об их образной, чисто русской форме. Но автобиографического материала в этой автобиографии не очень-то много: она вся насыщена восторженным поклонением России, русской природе, русской деревне. Мне говорили, что эти двести страничек, в сущности, не столько воспоминания, сколько вдохновенный гимн русскому народу.*

* Текст печатается по газете “Последние новости”, Париж, 1925, март.

8-Я ГОДОВЩИНА ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Родился Г. Е. Львов в 1861 году. По окончании Московского университета пошел служить в родную Тульскую губернию земским начальником. Затем перешел в земство и стал быстро любимцем сначала местной, а потом и всероссийской земщины. Превосходный организатор, Г. Е. впервые проявляет себя в большом масштабе, заведуя всеми земскими отрядами помощи раненым во время Японской войны. Как впоследствии А. И. Гучкова разгром генерала Самсонова осенью 1914 года делает революционером, так изнанка самодержавия вскрывается князю Г. Е. Львову на полях Манчжурии. С этого времени он непримиримый противник Царского Села и вождь земской оппозиции. За свое свидание с государем в 1905 году Г. Е. подвергается жестокой критике П. Б. Струве в “Освобождении”, но более умеренный тогда в тактике, чем либералы-конституционалисты, князь упорнее идет дорогой освобождения. Поступь его медленная, но пятиться вспять он не умеет. В первой Государственной Думе он, числясь в к.-д. партии, был на самом правом ее фланге, по своим настроениям скорее приближаясь к людям типа М. М. Ковалевского, графа А. А. Гейдена и Д. Н. Шипова.

Не подписав Выборгского воззвания, князь после разгона Думы “народного гнева” по видимости уходит в сторону не только от кадетской партии, но и от всякой политики. На самом деле он еще глубже закапывается в трудную организационную работу. Начинается собирание сил земской России. В порядке личного общения возникают съезды председателей губернских земских Управ. К 1914 году уже ясно нащупывается земский центр, который во время войны внешне и развертывается в общезем-

скую организацию. Наспех, вдогонку за Земским союзом, возникает Союз городов. Им обоим навстречу идет Центральный военно-промышленный комитет. Так, на самóм разлагающемся в войне бюрократическом теле России и начинают вырастать и разрастаться живые ткани общественной деловой самодеятельности в государственном масштабе. Земгор князя Львова и Центральный военно-промышленный комитет А. И. Гучкова и А. И. Коновалова становятся теми притягательными центрами, куда тянется, во имя спасения страны, все жизнеспособное и деятельное в государстве. Завязываются связи с кооперацией, с рабочими-оборонцами, с левыми "социал-патриотическими" партиями. Распутинцы не напрасно ненавидели главарей этих самочинных организаций, которые, как люди практической работы, слишком близко увидели раскрывшуюся перед Россией пропасть. Понуждаемые действительной патриотической тревогой, они все напряженнее искали спасения своевременной перестройкой на верхах. Одна такая перестройка, задуманная кн. Г. Е. Львовым осенью 1916 года, не осуществилась только из-за внезапной болезни генерала Алексеева, решившегося стать ее исполнителем (предполагался арест Александры Федоровны). Опоздало и исполнение заговора А. И. Гучкова — генерала Крымова, окончательно назначенное на март 1917 года.

Когда же промедление, действительно, "смерти подобное", завершилось февральским взрывом, князь, естественно, очутился во главе Временного правительства — расхлебывать кашу, не им заваренную...

В 1918 году начинается новый, беженский подвиг князя. Сибирь, Япония, Америка, Лондон, наконец, Париж — везде попытки собирать рассеянное, склеивать разрушенное, охранять еще не расхищенное. Он идет на всякую работу. Даже представительствует в Европе тех "в случае" дивизионных генералов, которые, прячась за его имя

за границей, дома демонстративно пренебрегали его советами.

В самые последние годы, освободясь от невыносимого для него "белого" бремени, князь снова весь ушел в земщину — в помощь русскому беженству.

* * *

Похороны кн. Г. Е. Львова
Париж, 10 марта (Вольф)

Сегодня в здешней русской церкви состоялось отпевание тела скончавшегося в Париже князя Г. Е. Львова. На отпевании присутствовали: председатель Палаты Депутатов Пенлевэ, генерал По, депутат Мутэ, проживающие в Париже министры Временного правительства, дипломатический представитель Временного правительства в Париже Маклаков, Гирс и др.

* * *

По случаю смерти князя Львова редакцией газ. "Дни" была послана в парижский Земгор следующая телеграмма:

*Редакция газеты "Дни" выражает свое глубочайшее сожаление по случаю смерти гражданина народолюбца.**

* Текст печатается по газете "Дни", Берлин, 1925, 12 марта.

О КНЯЗЕ

Отрывок

...Первые недели революции — время психологическое по преимуществу, время обнаженных нервов; время, когда народ, больше чем когда-нибудь, живет только воображением, только чувством, только впечатлениями.

Многих же членов Временного правительства "наивная" психология революционного народа несколько коробила. Они чувствовали себя слишком взрослыми для того, чтобы сливаться с массой в ее переживаниях. Они воспринимали революцию немножко по-кабинетному, слишком трезво, чуть-чуть скептически.

Была новая власть, но не было нового жеста у этой власти. Временное правительство в своем целом не поражало воображения толпы (культурной и некультурной одинаково), не привлекало к себе, не увлекало за собой. Это была в своем обиходе, в своих выступлениях слишком скромная, слишком простая, слишком доступная власть.

"Власть в пиджаке", власть, которая презирала всю видимость власти, позу, некоторую, пожалуй, даже театральность. А это было тогда необходимо, наверное необходимо. Конечно, нужно было во всем, и в большом, и в малом, как можно ярче, как можно глубже провести грань между старым и новым. Но слишком резок оказался переход от всех декораций самодержавия к простому, может быть слишком простому облику новой власти, власти Революции!

"Власть, как все — нет, это, пожалуй, и не власть", — размышлял про себя средний русский обыватель.

И эту скромность власти, скромность, родившуюся от самой сущности русской культуры, русской общественности, скромность, которую не могли понять низы, ее не сумели оценить и интеллигентские, культурные верхи. Тот, кто так еще недавно невольно подтягивался, встречаясь с звездоносными представителями старой бюрократии — будь то даже Штюрмер или Щегловитов! — начал держать себя с этой новой, "своей" властью немножко — "неглиже с отвагой".

Помню, как держал себя, например, в заседаниях Временного правительства один, вчера еще весьма умеренный, общественный деятель, вызванный в заседания для служебных объяснений. Помню, как краснел за него наш председатель князь Львов. И невольно при этой картине сорвалось у меня громко замечание о том, что русское общество слишком привыкло к власти с хлыстом в руках. Вспоминается еще, как на одном торжественнейшем заседании на глазах тысячной толпы один известный, очень известный политический златоуст, подойдя к тому же князю Львову, присел к нему на ручку кресла и "облапил" его, как привык он это делать, подсаживаясь к одному из своих приятелей, чтобы поболтать с ним во время заседаний Государственной Думы.

И такие случаи бывали очень часто. Поразительно было именно то, что "цензовая" Россия, Россия культурная, так некультурно, можно сказать, несознательно, относилась к тем новым представителям верховной власти в государстве, которые вышли из ее среды и считались ее излюбленными вождями. Видимо, не только "простонародье" привыкло за время самодержавия сливать понятие государственной власти с представлением о полицейском участке и неспособно было чувствовать власть там, где не видело готового обрушиться на ее голову увесистого кулака.

“Мы должны учить уважать нашу власть”,— говорил кто-то из кадетских вождей на одном из партийных съездов после революции. Что же удивительного, если рядовой обыватель, простой рабочий или крестьянин, издавна привыкший получать от власти только подзатыльники, зуботычины и пинки, не умел заставить себя повиноваться власти такой обыкновенной, такой доступной!

А с другой стороны, и сама новая революционная власть не чувствовала необходимости отвлечь народную толпу от остроты злободневных переживаний, не умела или не хотела увлечь ее радостной символикой революции, дать выход возбужденному состоянию ее духа в зрелищах, манифестациях, в “праздниках Революции”.

* * *

Наиболее далеким от всякой символики революции был сам князь Львов, хотя переживал он ее глубоко. Далеким был он и от всякой символики власти, ибо хотел как можно глубже раскрыть пропасть между старой и новой Россией, между старой полицейской и новой народной властью.

Невозможно без глубокой любви и преклонения вспоминать об этом человеке! Какое великое знамение было в том, что погибавшая старая господская Россия — это уходившее навсегда в историю правящее сословие, эта цензовая земщина, эта служилая интеллигенция — выдвинула из своей среды и поставила во главе освобожденной России именно князя Львова — такого не дворянина, не человека класса, не человека службы, а только Человека, русского человека с его больной совестью, с его неустанным исканием правды, с его всепрощающим пониманием, с его всечеловеческой душой.

Нужно было пристально всмотреться в этого человека, чтобы под внешностью, слишком для правителя, может быть, мешковатой, неуверенной, застенчивой почувствовать твердую волю, преданность долгу, глубокую веру в правоту своего дела, поразительное отсутствие личного честолюбия и совершенную любовь к России, к России именно сермяжной, крестьянской, к России мужика, а не барина.

“Высшая власть, которая руководит людьми,— говорил князь в соединенном заседании четырех Государственных Дум,— есть власть идей. И чем выше идея, руководящая людьми, тем значительнее, тем ценнее и счастливее жизнь... Заря нашей жизни, первые дни политической, общественной деятельности моего поколения были освещены жаркими лучами освободительных начал русского освободительного движения, проникнутого элементами вселенческого характера, проникнутого идеями, направленными не только к охранению интересов русского народа, но и интересов народов всего мира... Душа русского народа — мировая душа по самой своей природе. Мы можем гордиться среди народов мира тем, что русской душой владеет не гордость, а любовь. И да не смущаются робкие сердца перед русской свободой!”.

Весь князь в этих словах.

“Дон-Кихот, фантаст! — воскликнут многие.— Где эта русская свобода? Где эта мировая совесть русского народа?” Не возмущайтесь! Подождите: может быть, он видел глубже вас и дальше вас.

“Он рассуждал, а не управлял ваш князь!” — Нет, он управлял, рассуждая. Он видел состояние России. Он понимал силу взрыва и всю величину разрушений, им оставленных. Он не хотел сечь волны бушевавшего моря,.. да и сечь-то к тому же тогда нечем было.

Он измерил всю глубину развала, оставленного самодержавием во всех областях государственной, политиче-

ской и хозяйственной жизни страны. Он измерил все глубокое разложение души народа, развращенной столетиями бесправия и отравленной кровавыми испарениями войны. Он знал все грозное влияние самой войны на экономику государства и психику народа. Почти с начала войны он предвидел возможность анархии как неизбежного следствия крушения старого режима в бурю и в грозу военной непогоды. Он один из первых искал путей предотвращения гибели; искал тогда, когда большинство будущих его хулителей преблагополучно играли еще в Гос. Думе комедию "национального единения" с... Горемыкиными. Он чуял скованный хаос!

Поэтому, ужаснувшись силе взрыва, он не пришел, однако, в отчаяние от анархии, когда она вспыхнула. Не проклинал. Не изрекал хулу на обезумевшую тьму. Не потерял веру в разум и совесть народа. Он пристально наблюдал, как из хаоса вырастали новые политические и социальные связи; помогал их росту, готовил новые мехи, чтобы вливать туда молодое вино медленно нарождавшейся, новой свободной государственности.

* * *

Смешно, нелепо говорить о том, что проявлять "сильную власть" (в полицейском смысле этого слова) должен был министр внутренних дел и верховный глава правительства, который в своем распоряжении на всем пространстве Российской Империи не имел ни одного городового, который вместо всех обычных средств административного управления имел только в самом себе твердое сознание, что таковых у него нет.

Надо помнить, что ни одно ведомство не было так до конца, сразу и с корнем уничтожено во время революционного взрыва, как именно Министерство внутренних дел. Ибо на нем всегда была сосредоточена вся ненависть на-

селения; на нем — со всеми его провокаторами, шпиками, жандармами, губернаторами, урядниками, цензурой, обысками, ссылками, казнями и пр. и пр.

Самые ненавистные имена — Плеве, Дурново, Столыпин, Штюрмер, Протопопов — были именами министров внутренних дел! Что же удивительного, если вся машина внутреннего управления была разрушена до основания. Даже слово "полиция" стало так ненавистно народу, что его пришлось подменить словом "милиция". И даже эту милицию население не хотело отдавать в руки правительства; милиция должна была оставаться в полном распоряжении местных самоуправлений. Конечно, положение государства без органов управления ужасно. Но так случилось. И "анархию" нужно было как-нибудь переживать, пока не сладится новый аппарат власти на местах.

Это тягчайшее время князь Львов пережил. Мог пережить только благодаря своей вере в народ; только благодаря своей глубокой уверенности, что можно и без штыков и пулеметов воздействовать и влиять на людей.

Этот, всегда ровный, тихий, вслушивающийся, но мало говорящий человек, своим спокойным, внутренним авторитетом сплачивал в одно целое Временное правительство. Правда, иногда он, может быть, даже немного раздражал своей чрезмерной терпимостью, своей кажущейся безответственностью. Хотелось больше жизни, больше приказа, больше руководящей воли! Но князь оставался неизменным и невозмутимым: быть может, он знал больше нас, он видел глубже нас.

Он глубоко верил в народ, жил для него. Но народная толпа его не знала и не узнала. Подойти к ней, броситься с головой в это бушевавшее тогда море, он то ли не мог, то ли не умел, то ли не хотел — не знаю.

Чужим он стал скоро и "своим". Там, в совещаниях Государственной Думы, князем-правителем скоро стали

тяготиться. Потом "игнорировать", пренебрегать за "бессилие". Наконец, почти ненавидеть за "попустительство левым"...

* * *

Но на перевале, на переломе судеб России именно он был предназначен стать во главе государства. В его лице старая, правящая, барская Россия передавала новой — России мужицкой, народной — демократической, свою самую ценную и великую, выстраданную столетиями традицию — глубоко человеческой, только человеческой культуры.*

Англия
февраль 1919 г.

* Текст печатается по газете "Дни", Берлин, 1925, 12 марта.

Ф. Родичев

ПАМЯТИ КН. Г. Е. ЛЬВОВА

К полугодовщине смерти

Для кн. Львова начался суд истории.

В первый раз его имя приобрело некоторую известность за пределами Тульской губернии по поводу приключения с земским начальником Сухотиным (тем самым, кому, по черному преданию, досталась первая копия "протоколов Сионских старцев"). То был медовый месяц власти земских начальников, призванных подтянуть население. У Сухотина было имение в Чернском уезде Тульской губернии. Крестьяне соседней деревни обязались вывезти из его конюшни навоз. Приехали с подводами, узнали, что в конюшне был сап, и отказались вывозить из нее навоз. — "Как? Что? Бунт!" "Посадить всех неустойщиков в темную!" И, представьте, ведь посадили. И, представьте, ведь сели! Бабы бросились к бывшему поблизости судье Цурикову. Тот освободил заключенных. Полетел в губернское присутствие вопль Сухотина, жалоба на Цурикова. Губернское присутствие не стало решать дела по бумажным данным и послало своего члена кн. Львова произвести дознание. Львов восстановил, как была, всю историю этого неслыханного самосуда. Присутствие осудило действия Сухотина. Вся черная Тула возопила. Дело пошло в министерство. Министр — кажется И. Н. Дурново — решил дело с цинизмом, доходящим до грации: так как из объяснений Сухотина видно, что он посадил крестьян под арест за дерзость земскому начальнику и только по ошибке, второпях, написал, что наказывает за отказ возить навоз, — внушить земскому начальнику Сухотину, чтоб он впредь внимательнее относился к редакции своих постановлений.

Место, занимаемое Львовым в тульском обществе, определилось. Это общество было очень крепостническое. Но в нем был кружок людей — не скажу демократов, как уже состарившийся к тому времени Любенков, — но людей чистых, просвещенных, противников сословного угнетения, искателей справедливости... То были: А. Писарев, князь Михаил Ростиславович Долгорукий, известный хозяин П. И. Левицкий. К ним пристал молодой Влад. Алексеевич Бобринский (ah! tempi passati non tornato piu[1]). Кн. Львов был с ними. Торжество этой группы привело его на должность председателя губернской земской Управы.

Когда по почину Д. Н. Шипова стали собираться объединения председателей Управ, Львов был товарищем Шипова. При возникновении Японской войны деятельность земств в помощь армии сразу объединилась. Нигде, как в земской среде, нельзя было найти людей, знающих и опытных в больничном деле, в хозяйстве, работников не за страх, а за совесть. Львов явился выдающимся организатором. Он точно обладал секретом земской деятельности. А секрет был простой: давать ход всякому разумному почину, без долгих обсуждений и колебаний. Другой секрет для той среды, в которой работал Львов, — было доверие...

Работа земской организации увенчалась успехом, всеми признанным: сам император заявлял об этом. Из Сибири Львов вернулся авторитетом. Когда начались земские съезды, Львов участвует в них, начиная с ноябрьского съезда 1904 года.

Львов был по чувствам своим демократом. Он любил народ, простонародье, свободно чувствовал себя в нем, верил в него, сохраняя до конца дней "веру гордую в людей и в жизнь иную".

---

[1] Ох! Времена проходят, не возвращаются — (ит.). Цитирование неточное.

В первой Государственной Думе Львов занял место в партии Народной свободы. Он сосредоточился на вопросе продовольствия. Часто ездил за справками в Министерство внутренних дел. Кажется, у него тогда завязались отношения со Столыпиным. В последние дни Думы и после ее роспуска Львов фигурировал во всех серьезных или притворных министерских комбинациях Столыпина.

Выборгского воззвания Львов не подписал. Во время роспуска Думы и собрания членов ее в Выборге я был за границей, в Лондоне. Когда я вернулся, Г. Е. зашел ко мне, объяснял свое воздержание от подписи Выборгского воззвания и выражал желание не расходиться с партией, оставаться в ее рядах... Но из Петербурга Львов уехал и продолжительное время не появлялся в нем.

Во вторую Думу Львов не попал. Тульские избиратели сменили вехи свободы на черное знамя.

В последующие годы мы видим Львова в Сибири, на Дальнем Востоке, в Приморской области, в краю нетронутых богатств, где все было в избытке, кроме человеческой энергии и условий ее развития, то есть свободы. Будущее казалось заманчивым, только бы в него ринуться. Но власть ревниво держала ключи от этого будущего, видя призвание свое в охране запретов. Тем, кто искал движения вперед, нужно было возвращаться в Россию, где шла борьба за снятие затворов и запретов.

1907—1917 годы заполнены были борьбой власти с народным стремлением к обновлению жизни. Подумайте, что вплоть до 17-го года продержались земские начальники, сословно дворянская организация земства, сословная подчиненная волость, не утвержден даже закон о свободе вероисповеданий... "Сперва успокоение, потом реформы",— так заявлялось в открытую, а под спудом крепло стремление вернуться вспять, за 17 октября, под спудом покровительствовали погромной агитации Гермогенов, Илиодоров и других... Возникала и крепла власть

колдуна, готовился новый государственный переворот — 3-е июня, но радикальнее и серьезнее...

Но и сдавленная обручами реакции народная жизнь пробивала новые пути. Обновление, хотя неправильно и медленно, все-таки росло. В тех губерниях, где прежде заботились о народном образовании, — осуществлялось всеобщее обучение. Женские гимназии росли в числе, увлекая женскую молодежь крестьянства. В краях, где имелась налицо крестьянская интеллигенция, росла кооперация, порождая надежды, открывая в будущем широкие горизонты.

В такую культурную общественную работу хотел впрячься Львов. Он был избран гласным Московской городской Думы, избран городским головой, но не был утвержден. Николай Маклаков не пускал князя Георгия Евгеньевича Львова.

Настал черед и для Львова. Начинается война 14-го года. Львов воскрешает земскую организацию, умеет достать для нее деньги, умеет найти людей... Организация растет, превращается в Союз земств и городов, приобретает популярность в армии. Львов работает без формалистики, быстро, отзываясь на любую нужду армии в деле врачевания, гигиены, дорог, работ, даже изготовления снарядов. Бюрократические организации за ним не поспевают. Растет чувство зависти, раздаются обвинения, кричат, что нет отчетов, — контроль находит отчетность в порядке.

Это победное разрастание и успех свободного почина производят особое впечатление на фоне бюрократического бессилия. Власть ревнует. Львова обвиняют в революционности... Удайся предписанное 25 февраля 1917 года подавление петербургского движения *всеми средствами*, удайся разгром Государственной Думы и задуманный государственный переворот, Земский и Городской союзы были бы уничтожены. Темное, тяжелое

время — зима 16-го и 17-го года. Враг уже стоит на русской земле, отрезая Западный край, грозя дальнейшим наступлением. Внутри растет разруха. Кто защитит родину? Кому верить, на кого надеяться? От казенной России и от распутинских воспитанников отвернулись все, и в низах, и в верхах...

Где те люди на виду, имена коих произносятся с надеждой?

Князь Львов один из них. Он стоит во главе общественной свободной помощи армии — в руки Львова, естественно, попадет руководство правительственной деятельностью в тот момент, когда историческая власть, как сгнившее, пустое внутри дерево, свалилась от легкого толчка.

* * *

Пребывание кн. Львова в Правительстве навлекло на него нареканий и обвинений без числа. Он несет ответственность за все общие грехи всего правительства, за все роковые последствия положения вещей. Зачем он не проявлял власти? Ведь этого требовали от него все, не потерявшие головы, люди. А с чем бы он ее проявил? Ведь не только Петроград, а вся Россия очутилась без полиции, без администрации, крестьянство без суда. В Петрограде в первые дни революции сожгли все полицейские, все почти мировые участки. Старших полицейских чинов арестовали, городовые в ожидании сдачи в солдаты скрылись... Кроме армейской, другой физической силы в Петрограде не было. А армии что? Ей ведь обещали, что ее на фронт не возьмут (вот это была основная ошибка, но вина ли это Львова?). Армия вечевала, но воевать — не ее дело, особенно с кронштадтскими матросами. Основное несчастье — расстройство армии. Что же это Львов сделал или до-

пустил? Основное горе всей России — власть толпы. Толпа делала, что хотела, военная толпа в особенности — арестовывала, обыскивала. Что же, тут Львов виноват? Радикальная часть правительства хотела освятить внесудебные аресты, чтобы не бороться с ними. Львов сему противился, сколько мог. Когда социалистический министр Скобелев ездил по России коммивояжером забастовки — что мог Львов сделать? Когда в самом деле пришлось призвать физическую силу на защиту власти — ведь Львов остался на бреши почти один. И кто был с ним? Инвалиды, бойскауты, немножко казаков. Вспомните, еще 27 апреля Церетели величал Ленина как великого патриота и грозил неуступчивым буржуям диктатурой пролетариата. И толпа рукоплескала восторженно. После подавления Кронштадтского нашествия правительство осмелилось выгнать анархистов из дачи Дурново. При этом был один убитый. Как накинулись на Львова представители Совета! Только показав им фотографии невероятно бесстыдной татуировки на теле убитого, мог Львов успокоить возмущенное человеколюбие депутатов. (Сколько из них потом величало деяния большевиков.) Был, конечно, момент упущенный, когда можно было попробовать вернуть порядку распоряжение силой. То был момент, когда Чхеидзе призывал войска к неповиновению Корнилову. Долг власти был ясен. Но вспомните психологию того момента. Где были голоса, которые сказали бы власти — Дерзай?! — Те, кто тогда промолчал, должны каяться, а не обвинять...

Развал шел неудержимо. Россия валилась в банкротство. Ее толкали в эту пропасть. Выпускали заем свободы с барабанным боем, но печатали бумажки безостановочно и безгранично. Запретили земельные сделки. Ну кто даст хоть ломаный грош власти, это сотворившей? И с чем вести войну?

Unsinn, du siegst! — "Безумие, ты побеждаешь!" — говорил умирая Тальбот, вождь английских войск против Орлеанской Девы. Это мог бы сказать Львов, уходя от власти. — Говорили, что тридцать ночей он не спал, будучи в правительстве. Довольно жертв...

Львов искал отдыха и успокоения в Оптиной Пустыни. Я видел его успокоенным и просветленным спустя некоторое время в Москве, у Кропоткина. Львов хотел уехать из России в Сибирь, но по дороге, в Екатеринбурге, попал вместо Сибири в острог. Там он пребыл спокоен и благодушен. В ожидании неизвестного конца он варил арестантам щи и кашу. Когда его выпустили, он был у Колчака, звал друзей из России на помощь. Почти никто не отозвался...

Из Сибири Львов является уполномоченным от Колчака членом делегации. Кроме участия в общих делах, делегация Львова возобновляет деятельность Земгора на помощь зарубежным русским.

Все, что тут произошло, — слишком на памяти людской. Еще не остыли страсти. Еще не угомонились забытые в свое время интересы...

Зачем Земгор за границей не то, что был в России? Зачем в нем новые люди? Затем, что и за границей новая Россия не то, что старая.

Зачем Львов опять во главе этой организации? Затем, что он ее создал. Затем, что он все-таки в глазах европейского, американского мнения — полномочный представитель новой России — не озлобленной России притеснителей, не жестокой России грабителей во имя блага, убийц и палачей во имя добра, а России человечной, стремящейся к справедливости, к свободе, к праву, России надежд...

К Львову применяются слова поэта:

И только смерть его увидя,
Как много сделал он — поймут...

Горе Львова в том, что он, в дни помешательства народного, верил в добрую сердцевину русской души, искал спасения в путях разума...

И до тех пор, пока не заглохнут эти пути, — будет поминаемо имя князя Львова, и память эта будет поднимать сердца людские, умиротворять их, спасать их от отчаяния и озлобления.*

---

* Текст печатается по газете "Последние новости", Париж, 1925, 8 сентября.

ПРИЛОЖЕНИЕ I



Княж. М. Е. ЛЬВОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Свои воспоминания княж. Мария Евгеньевна Львова начала писать в 1928 г. Первая часть о счастливом детстве в Поповке хранилась у ее племянницы (моей тети) Наталии Сергеевны Львовой в Москве. После смерти Наталии Сергеевны в 1981 г. рукопись по наследству перешла мне. Публикуется впервые.

Е. Львова, внучатая племянница княж. М.Е. Львовой

Начала писать свои детские воспоминания 21 ноября 1928 г.

Отцовские "Записки" исчезли, как я описала в другой тетради. Буду продолжать восстанавливать их по памяти, а параллельно поведу и свои записки в первой редакции кратко из боязни, что что-нибудь может помешать их закончить в полном пространном виде, а если ничто не помешает, то потом буду вставлять эпизоды, которые вспомню, в разные места, по возможности хронологически точно. Также постараюсь дать и семейные данные, генеалогические, какие соберу в своей памяти и в памяти брата Сергея и еще кого-нибудь. Пока начну с того момента, как я начинаю себя помнить и все окружавшее меня, родных и чужих. Это начало относится, должно быть, приблизительно к 1868 или 1869 году.

Я начинаю себя помнить лет четырех в Туле в доме Полонских на Стародворянской, где впоследствии и до революции помещался Приют слепых. В 1920 году, когда я служила в Туле, в опытно-показательной школе, я, по делу службы, попала в этот дом и прошлась по зале и гостиной, которые совершенно вспомнила и узнала, хотя они были совсем пустые. Это были комнаты для игр и беготни слепых детей, и в то время как я находилась в них, к счастию, детей не было. Зашла и наверх, где помещалась наша детская, и эту комнату, площадку лестницы и саму лестницу тоже узнала. Я помню себя в детской на высоком стульчике за чашкой молока, в которую набиваю белый хлеб, чтобы опрокинуть его на блюдечко и сделать "пудинг", и помню около себя кого-

то, не то Катю, не то Дженни — англичанку, которые в эти годы жили при нас, троих детях: Сереже, Жорженьке и мне. Пройтись по этим комнатам доставило мне огромное удовольствие: я отчетливо увидела себя и младших братьев в детском возрасте, мать и особенно отца моложе того, что я вообще помню их, благодаря настоящей, реальной обстановке комнат и лестницы, и мне это было чрезвычайно приятно. Расположение комнат, лестницы и коридора совершенно схоже с расположением их в Бобошине.

В Туле я очень мало и неясно помню людей, улицы и дома; только помнится одно жаркое утро весною, подходим мы с мама́ к булочной Вальтера под парусинную маркизу окна. Почему только эти два момента врезались в память? Но ощущение удовольствия и счастливого детского существования в эти два раза ярко помню.

Потом я уже помню себя только в Поповке, где мы вскоре поселились надолго, года на четыре, и жили лето и зиму безвыездно до переезда на зиму в Москву в 1872 году.

В Поповке вели мы, дети, замечательно счастливую жизнь. Ясно помню постоянное удовольствие и веселье. Ничто, никогда не омрачало это состояние. Я всегда была с матерью, которая никуда не отлучалась надолго. У меня не было ни няни, ни гувернантки. В детской бывала Маша, дочь дьячка Ивана Ивановича Архангельского, которая была и горничной, по молодости лет (16—17 лет) приставлена была играть с нами, но власти над нами у нее не было. Играть мне приходилось чаще с младшим из братьев — Жорженькой, который был на три года старше меня, но, думаю, не из одной снисходительности играл со мной. Он был нежный и мягкий, никогда не дразнил меня, и не ссорился, и не спорил со мной, и хотя я, конечно, благоговела перед ним и во всем подражала ему — разница лет не мешала нам,

и в играх мы были равны. Он уже читал и много стихов знал, и я как-то, не уча, знала почти все стихи, что знал он. Маша помогала нам в этом. Она училась в уездной школе и “с чувством”, т.е. с утрированным выражением и с закрываньем глаз в трогательных местах декламировала “Бородино” и “Шел по улице малютка” и пр. Особенно трогательны казались места: “Слуга царю, отец солдатам” и “Ребята, не Москва ль за нами?” Сережа держался от нас отдельно: он был на пять лет старше меня. С ним не помню других игр, кроме беготни в зале и столовой по вечерам. Любимая игра была “Волк и овцы”. Она состояла в том, чтобы суметь пробежать перед волком, сидевшим посреди комнаты, и не быть пойманным. Это было трудно, но удивительно интересно. Кого поймает волк, тот сам становился волком и в свою очередь ловил. Еще за вечерним чаем мы прыгали через веревку, толстую и тяжелую, как возовая, которую вертели равномерно двое, и посредине один прыгал. Жорженька прыгал лучше всех. Я помню торжество общее, когда по счету он пропрыгал без остановки 1000 раз!.. без нескольких раз (помнится, четыре или пять) и только потому, что старшие стали строго кричать: “довольно, довольно, перестань!” Эти несколько разов, недостающие до тысячи, долго служили огорчением. Ведь рекорд не был полным, а мог бы быть, если бы не запретили. Слово “рекорд” тогда не употреблялось, но то, что оно означало, понималось так же остро, как и теперь. Обсуждали долго, зачем Маша послушалась и перестала вертеть веревку и т.д. и т.п. Когда красные и потные мы переставали прыгать, то для того, чтобы остынуть перед сном, нас брали мама́ и папа́ к себе между колен и удерживали от движения и говорили с нами, принимая живейшее участие в наших ощущениях и перебираниях маленьких эпизодов во время прыганья, верчения веревки и пр., которые нам казались очень важными и ув-

лекательными. Остывши, мы прощались со всеми, отец и мать крестили нас, причем мы целовали руку, крестившую нас, и мы шли спать. Спали так: в огромной комнате (квадратной гостиной, как ее потом звали) зимою спали за перегородкой из ширм мальчики вдвоем и я с мама́ за другой перегородкой из ширм. А папа́ у себя в кабинете, тоже за ширмочной перегородкой. Комнаты были такой величины, что все спальни были в таких ширмочных перегородках, укрепленных в полу и затянутых материей, шерстяной или кретоновой в цветах или арабесках. Я в детстве не представляла себе комнат без перегородок. Они были очень удобны, чтобы играть в пряталки, cache-cache, как мы называли. Летом мама́ и я спали в так называемой голубой (от обоев) комнате, которая зимой была слишком холодна и запиралась наглухо. А братья оставались в этой комнате и уже с папа́ спали, тоже не одни.

Старшие братья жили наверху, когда бывали дома, и учитель младших братьев занимал комнату с балконом; там же была классная комната и мастерская для всяких ремесленных работ брата Алексея, который был удивительный "Таузенд-кюнстлер", как его называла мама́. Младшие тоже пробовали там кое-что работать, приучаясь ко всяким ремеслам: столярничать, слесарничать, клеить и пр. К ним, между прочим, приходил с деревни молодой парень слесарь Елисей Куненков и, хотя сам был почти подросток, учил их "по слесарной части", т.к. был замочник, как и многие в нашей деревне. Точил по дереву один Алексей на настоящем токарном станке. Я ужасно любила ходить смотреть на все эти работы, особенно точение. Я обожала Алексея за его красоту, веселость, дразнение и умение делать решительно все и очень хорошо. Дразнил он меня очень, но, кажется, и очень любил. Всегда звал меня Маруся, тогда как все звали Маня, и это мне было очень приятно. Он был тогда студентом Московского университета на юридическом факультете и зимой не жил в Поповке, кроме Святок, не две недели, как полагалось, а гораздо дольше. Может быть, и кроме Святок бывал — не знаю. Наверно, на Пасху и все лето. Я любила смотреть, как он точит, как хорошенькие стружки спиралями вились и падали из-под стамески под станок, когда он точил, и всегда собирала их и уносила играть. Он точил и курил папироску, и я любила, как он наклонял голову набок, чтобы дым не шел в глаза, жмурясь и нагибая голову то на один бок, то на другой, катая папиросу в своих ярко розовых губах, и шутил, и дразнил меня, смеясь и сверкая белыми зубами. Он всегда дразнил меня и смешил. Я не обижалась, но помню, как, не умея справиться с ним, жаловалась мама́, чтобы она "не велела" ему дразнить меня, а он еще пуще дразнил. Помню, как один раз я так отчаянно просила мама́ не велеть дразнить, что она, чтобы успокоить меня и утешить, велела ему встать в угол, а он, крикнув: "Маруся, дай спички!", уселся верхом на стул, носом в угол и, куря папиросу, довел меня этим до такого пароксизма смеха, что я, уткнувшись в колени мама́, насилу успокоилась. А он схватил меня, посадил себе на плечо и стал носить по комнате, прыгая и подбрасывая меня.

Володю я помню меньше. Он был тогда на отдыхе от гимназии, и было ему лет 17–18, и "хозяйничал". Он был болезненный и очень нервный, вечно серьезный и углубленный в свои мысли и "занятия", и я не имела с ним сношений. Отец, который был замечательный педагог, чутко понимавший характеры и особенности своих детей, разрешил ему выйти из гимназии (тульской), где ему нечего было делать с "тупыми", как он их называл, учителями, и предоставил ему свободу заниматься самому по книгам, живя в деревне, чтобы укрепить здоровье. А чтобы дать ему живое дело и спасти от нервно-

го состояния, предоставил вести хозяйство в Поповке. Это не послужило в пользу хозяйства, но спасло Володю, который поправился, увлекшись делом. Помню, как родители над ним подсмеивались, над его разными чудачествами и причудливыми планами и проектами, но все терпеливо переносили, видя, как он заинтересовался и увлекается. Он хорошо рисовал, и все планы полей, построек, украшений художественных рисовал на целых и даже склеенных из нескольких листов бумагах. Проекты оставались невыполненными, т.к. денег на них тратить нельзя было, но процесс создавания их сделал свое благотворное дело. Особенно помню "круглые углы" в комнатах во избежание скопления пыли и паутины, потому что после о них говорили, смеясь. Много лет спустя я узнала, что все это делалось с определенной целью: дать ему выздороветь. Занятия его без учителей, которые он продолжал и после, много лет, всю жизнь, сделали его образованнейшим человеком, начитанным и вечно углубленным в мир наблюдений и выводов, исследований целей и средств и т.п. Всю жизнь с юношеских лет он работал над своей большой философской книгой, которую окончил только к 70 годам жизни и которая так трагично исчезла без следа в момент его смерти на улице Парижа в 1920 году. В семье нашей даже существует предположение, что исчезновение этой работы, вполне готовой к печати, и было причиной того удара, от которого он и умер, идя к издателю с этой рукописью.

Жизнь нашей семьи в Поповке в эти годы была сладко-счастливой жизнью большой помещичьей семьи среднего состояния (по-тогдашнему), и я думаю, что, несмотря на плохое положение дел ("des affaires") (как часто я слышала это французское слово в устах папа́ и мама́), — я думаю, что и родители были в эти годы очень счастливы. Иначе не могло бы царить в доме такое благословенное настроение, тихое и радостное, не могла бы быть такая атмосфера счастья. Никогда у нас не было (как бывает в других семьях) сцен, ссор, дутья, натянутости и недовольства. Никогда нас, детей, не бранили и не наказывали. Не знаю, как это делалось? Не может быть, чтобы мы были такими, чтобы не за что было бы нас бранить и наказывать. Но как-то делалось так, что наша детская жизнь не омрачалась этими тяжелыми для детей эпизодами, о которых пишут все мемуаристы. Мы знали всегда, когда нами недовольны, слышали от родителей, что это или другое нехорошо, что так делать не надо и... больше ничего. Значит, больше не нужно так делать и впредь, и только! Мы не говорили между собой, что мама́ или папа́ сердятся, просто научались не делать того, что они находили нехорошим. Я думаю, что это самая мудрая система воспитания. Во всяком случае она оставила в нашей семье благодарное чувство к родителям и благоговейные воспоминания об их любви к нам и бережного отношения к нашим особенностям, к нашим индивидуальностям. Конечно, отчасти это происходило от их удивительной солидарности, от их исключительной "спетости". Они чуяли друг друга и действовали всегда согласно, и когда были вместе, и когда разлучались. Для нас они были одно, как папа́, так и мама́, не могло быть разности. Что один позволял, значит и другой разрешит, и оба друг друга поддерживали всегда. Когда бывало спросишь мама́, можно ли то-то сделать или туда-то пройти, не совсем пустяки, а что-нибудь посерьезнее, необычное, она всегда скажет, спроси папа́, что он скажет? А если папа́ спросить, он непременно ответит: спроси мама́, как она на это посмотрит. Но и нежности чрезмерной не было. Нас мало целовали и ласкали и мало-редко дарили игрушек и сластей. Подарков бывало очень мало и редко. Даже в дни рождения и именин каждому дарили не купленные вещи,

а что-нибудь из дома или своих вещей. А сколько было радости, если подарят, например, понравившуюся в стаде телочку или жеребенка, или даже любимую дорожку в саду, к пруду спускающуюся, рощицу, дерево, на которое легко лазать и т.д. Все это доставляло большое удовольствие по нашей наивности и неиспорченности (надо помнить, что мы жили в деревне, не видали магазинов с их соблазняющими витринами, не ездили к нам гости с лицемерными лицами и задариваниями конфетами). Когда кто-нибудь из родителей возвращался из города, мы не ожидали подарков и бескорыстно радовались их приезду только ради них самих. Я считаю эту систему очень мудрой и с благодарностью вспоминаю, какое чистое чувство счастья испытывалось от их возвращения домой. Конечно, чаще ездил отец и только по делам. Мать могла ездить реже и только по крайней необходимости в Москву. И по гостям они ездили не часто, лишь на несколько часов или с коротким визитом к соседям, а с ночевкой лишь к Булыгиным, дальним родственникам, но близким друзьям, в их имение Некрасово под Тулой. Тогда без них в доме делалось пусто и скучно, и все теряло прелесть и интерес. В доме у нас тоже бывало мало гостей; соседей приятных не было, и ездили они больше с короткими визитами, на одиндва часа, и то редко. Чаще бывали две старые барыни, которые считались моими друзьями. Одну из них я очень любила, другую — так себе. Одна была моя любимая Софья Даниловна Освальд, лет шестидесяти, старушка веселая и живая — соседка из Дурнова, верстах в трех—четырех от нас, бедная родственница семьи Освальд (Освальдовых), члены которой у нас бывали редко. Софндалиновна, как я ее звала, гостила у нас по несколько дней и вносила с собой много веселья в детскую. Она была родня или знакомая Феррейна — аптекаря московского, и эта фамилия "Феррайн", как

она выговаривала, в моих детских устах звучала как-то особенно, и я воображала ее какой-то всесильной и героической, необыкновенной личностью, по рассказам Софндалиновны. У нас при ней затевались разные игры, танцы и пение. С.Д. умела играть на фортепиано (в зале стояло старинное, прямое, как длинный стол, фортепиано, за колоннами у окон) своими кривыми пальцами смешные песенки, русские и немецкие с забавной мимикой и движениями, про зверей и птиц и пр. Она очень хорошо умела играть с детьми и сама от души наслаждалась. Она была дурна собой, маленькая, корявая какая-то, с большим носом, но для меня невыразимо мила. У нее была сумка-ридикюль из соломки плетеной, как шляпы, с голубым шелковым верхом на вздержке, из которой она всегда при приезде вынимала какие-нибудь интересные вещи: домино, хлопушки, пастилу, лепешечки или яблоки и самодельные игрушки, и все это с разными смешными объяснениями и прибаутками. Она была добрая и, должно быть, хорошая вообще. У нас, я помню, ее очень любили все, не только дети, но и прислуга; родители тоже бывали любезны и ласковы с нею с некоторым оттенком добродушной насмешки. Ее песенка долго помнилась в семье: про индюка, который кричал: пилды-белды и распускал хвост-юбку или фалды рубашечки, поросенка, который хрюкал, петуха, кричащего "кукареку" и пр. Пела она еще трогательную, по-нашему, песенку "По улице мостовой трубочистик шел домой. Вот он лесенку несет, а сам песенку поет: тра-ля-ля, тра-ля-ля" и т.д. Дальше не помню как, а напев и сейчас помню. На время ее пребывания Маша делалась ненужной в детской: там царила Софндалиновна. У соседей вокруг Поповки совсем не было детей или их не возили к нам. Единственный гость бывал мальчик Сережа Лисицын, племянник С.Д., не очень приятный и не интересный — старше братьев.

Другая барыня, мой друг тоже, менее любимая, чем С.Д., была Мария Петровна Домашнева, урожденная княжна Вадбольская — А<лексин>ский Талейран, как ее называл папá. Она была богатая помещица из с. Изволь в трех верстах от Поповки, замужняя бездетная дама с привычкой светской важности и властности, всегда почти говорила по-французски, очень громко и все больше про местные А<лексинские> и Т<ульские> и даже извольские новости. Она очень интересовалась выборами дворянскими и земскими, любила рассказывать разные слухи и собирать разные сведения о новых кандидатах; в ее речи так и пестрели фамилии наших помещиков, которых я всех знала понаслышке, и, стоя около ее колен, пристально смотря на ее темное лицо с черными живыми глазами, с черной родинкой на щеке, ждала, когда она кончит все самое животрепещущее, интересное для нее (как она мала и для отца и матери моих), и наступит самый интересный для меня момент, и она полезет в свой черный шелковый ридикюль и вынет коробочку с шоколадинками с орехами внутри и скажет: "сама в лес ходила орехи набирать", и, потрепав меня по щеке, прибавит: "мы с ней любим шоколад" и подарит коробочку, немножко займется со мною и опять оживленно примется рассказывать про какой-нибудь местный скандал. И это было все, что от нее можно было ожидать и получить, дальше уже было неинтересно. Она учила меня делать реверанс и всегда, когда приезжала, требовала, чтобы я ей приседала. А я это не любила. Приезжала она летом в четырехместной карете с иголочки, четверней, и когда карета стояла у крыльца немного в стороне под огромными серебристыми тополями, я с Жорженькой любили лазать в нее и сидеть в ней, продевая руки в боссонные петли, висевшие в ней по бокам именно для этой цели, чтобы удобно отдыхали руки в пути. Карета была вся обита внутри шелковым што-

фом цвета "кафэ о лэ"*. Иногда мамá ездила к Марии Петровне и брала меня с собой в Изволь — село со старинной церковью и очень почитаемой на большую округу иконой чудотворного святого Николая. Эта икона *изволила* несколько раз явиться на дереве и тем определила место, где нужно строить церковь, и дала самое название селу "Изволь". Дом Домашневых в большом парке с липовыми аллеями, с яблоневым садом, оранжереей, цветниками и массой малины нам, детям, казался гораздо хуже нашего, главное потому, что он был даже на глаз детей грязен от большого количества охотничьих собак, которые лежали по всем диванам и креслам, оставляя на них шерсть и землю от лап. Выходил иногда в гостиную и хозяин дома Дмитрий Иванович с трубкой в аршин длины, которую не выпускал изо рта, на высоких каблуках и все-таки маленького роста, весь коричневый, с синими мешками кожи под глазами, с уродливыми пальцами, и вообще безобразный. Он больше молчал и опять уходил в свой кабинет. Лучше всего было, когда подавали в мою честь шоколад в чашках со взбитой пеной от яйца наверху и заводили орган, который играл разные вальсы и арии, и для меня менял валы с крючочками любимец Марии Петровны Ванечка Ливенцов, безобразный молодой человек, толстый, с подвязанной щекой, один из членов семьи бывшей крепостной Марии Петровны, которую она всю приблизила к себе, но на разном расстоянии и на разных ролях, от почетных до унизительных. Старший сын — Устин Терентьевич, был ее фаворит, облеченный правами чуть не сына, балованный и жадный. Впоследствии он был управляющим имением, ростовщичничал, теснил и прижимал крестьян, держал в страхе свою барыню, лишил ее привычных удобств и кончил тем, что вынудил ее написать на него духовное завеща-

* Кофе с молоком — от *фр.* caffè au lait.

ние на все имение и после ее смерти стал владельцем его на горе крестьян и своей родни. Но вскоре умер, успев продать имение, выделив себе только маленький участок с небольшим домиком.

Один раз мы ездили к Марии Петровне в пролетке: я, мамá и бабá Софи на молодой пугливой лошади Шалун, вороной, с белой ногой задней. Возвращаясь уже домой и проезжая мимо крутого спуска с горы, лошадь чего-то испугалась и вышвырнула нас всех из пролетки, а сама полетела дальше по дороге. Не помню, кто был кучер, помню, что я ничуть не испугалась, когда летела через бабá Софи. Никто не ушибся, и мы благополучно вернулись домой, кажется, уже на лошади М.П. Но я очень гордилась перед братьями своим приключением.

Я не упомянула до сих пор об одном члене нашей семьи, о родной тетке моей матери, нашей grande tante* Софье Николаевне Молчановой, которую мы звали бабá Софи. Она была сестрой матери мамá Прасковьи Николаевны Мосоловой, жившей почти безвыездно за границей. Софья Николаевна воспитывала мою мать с четырехлетнего возраста совместно со своей двоюродной сестрой Прасковьей Ивановной Раевской, урожденной Арсеньевой. Они взяли маленькую Вареньку Мосолову от ее матери, чтобы спасти ее от безалаберной жизни и взбалмошного характера ее матери, которая уже тогда развелась и жила врозь со своим мужем, а моим дедом Алексеем Петровичем Мосоловым, который сыновей Федора и Николая взял к себе, оставив дочь матери. Соглашение с Прасковьей Ивановной насчет уступки ей Вареньки, кажется, произошло очень просто и легко. Прасковья Ивановна обещала ей оставить все свое состояние, Поповку и дом на Шаболовке и сама отказалась от заветной мечты уйти в монастырь (после уже

* Двоюродная бабушка (*фр.*).

умершего мужа) ради воспитания девочки. Вместо пострижения в монахини она начала тотчас строить церковь в Поповке и против нее большой деревянный дом, тот самый, в котором мы прожили так счастливо до революции, когда он сгорел от неряшливого содержания труб и боровов на чердаке в 1922 году, простояв лет 90 свежим и крепким, еще бы на 90 лет хватило бы. Трогательная дружба двух двоюродных сестер, посвятивших себя воспитанию племянницы, продолжалась до самой смерти Прасковьи Ивановны Раевской, когда Вареньке сравнялось 19 лет. Через год или полтора она вышла замуж за моего отца, а Софья Николаевна осталась жить с нею и прожила до 1872 года, никогда не болев даже зубами. Она страшно любила свою племянницу и всех ее детей, особенно старшего Алексея, чтила память Прасковьи Ивановны и, думаю, очень уважала моего отца, во всяком случае на вид было все как следует. Мать моя была с нею невероятно почтительна, заботлива и нежна, но, думаю, что постоянное присутствие ее в семье было тягостно для отца, тем более что она была очень глуха, и мать моя тоже сильно глохла. Но отец по своей необыкновенной доброте и мягкости и из любви к жене, которая была очень привязана к "тетеньке", как она ее звала, никогда не показывал, что для него стеснительно или неудобно ее присутствие. Софья Николаевна всегда сидела за столом рядом с мамá с левой стороны (отец сидел с правой) и во всех случаях и положениях занимала почетное место, и ей оказывалось почтительное внимание. Характер у бабá Софи не был совсем приятным, и хотя она ко всем детям, кроме Алексея, относилась ровно и справедливо, заботилась, кутала и лечила, все-таки мы не так уж очень любили ее. Может быть, от глухоты или по старости не умела она подойти к детям и заставить их любить себя. Софья Николаевна была еще бодрая в то время, про которое я пишу, но сильно

сгорбленная (спина была совсем круглая и иногда побаливала), ходила с палочкой вне дома и шмыгала ногами по полу в комнатах. Слушала в серебряный рожок, который помогал плохо. Лицо ее было очень темной кожи, но не от болезни (она всегда была здорова и ела постное, строжайше соблюдая посты), а, вероятно, темный цвет лица был у них в семье. В доме были портреты маслом разных родственниц, тоже очень смуглых без румянца, и все с приподнятой одной бровью. Платья носила Софья Николаевна темные и белые рюшевые чепцы, которые сама стирала, крахмалила и сушила на скалке, потом опять сбирала и сшивала, а "плóила" их ее горничная раскаленными щипцами. Это была серьезная работа, которую я любила наблюдать. Чепцы завязывались цветными лентами под подбородком бантом с длинными концами. Было нарядно и очень опрятно. Буколек на висках я не помню, но на ее фотографиях того времени они есть на висках, и вообще мода на них тогда еще не прошла. Три года спустя я их видела на других дамах — тетушках.

Бабá Софи больше всех любила, обожала брата Алексея, и все готовилось, варилось, мариновалось и солилось сообразно его вкусу, часто ею же воображаемому и ему приписываемому. Когда он приезжал из Москвы, она его усиленно всем этим угощала, и я ее отлично понимала, т.к. сама обожала Алексея. Весь день бабá Софи вышивала по канве цветными шерстями и шелком разные узорные полосы для облачений в церкви, для одежды священника и дьякона, аналоев и престола, и у нее была масса мотков шерстей и шелков всех оттенков, всех цветов. Это была очень красивая масса. Иногда и мне доверялось зашивать крестиком фон между цветами на этих полосах. Кроме того, она выдавала повару провизию, "специи" из шкапчика-образницы, высоким уголком стоящего в правом углу. Верх был в образах,

а низ полон жестянками, картонками, отлично сработанными мамá и домашними мастерами, и мешочками со всеми запасами бакалеи и колониальных товаров. Эти слова мне были совершенно знакомы и милы. Она же колола сама сахарные головы в особом ящике с ножом на шарнире, и верхом удовольствия было поколоть немного некрупные куски на кусочки, уже пригодные для накладывания в чашки. Когда приходил повар Емельян за специями и стоял во всем белом в дверях, дожидаясь, бабá Софи начинала медленно и методично возиться со своими жестянками и мешочками, а я взбиралась на большое вольтеровское кресло, стоявшее у шкапчика под сенью высокого желтого жасмина, и наблюдала, как она возилась со своими вкусными специями: миндалем, черносливом, изюмом, имбирем, корицей и разными крупами и макаронами. Конечно, и мне перепадало кое-что съедобное, а макароны — чтобы играть. Но несмотря на все эти привлекательные занятия и баловства, я не особенно ее любила. Может быть, она была ворчлива — не помню, может быть, просто не умела обращаться с детьми и заслужить их любовь. Бабá Софи также занималась лечением больных с деревни; сама составляла примочки, мази, пластыри, настойки и шпанские мушки и горчичники, намазывала мыло на суконные полоски для горла и салом капала на проколотую толстой иглой бумагу от сахарных голов для накладывания на грудь от кашля. Делала спуск из воска и деревянного или прованского масла от нарывов и т.д. Мы, дети, особенно мальчики, для нее летом собирали липовый цвет, ромашку, зверобой, березовые почки и шпанских мух. Она же заведовала и оранжереей, парниками, цветником и огородом. По руководству Рего(?) (русскому) изучила это дело и бесконтрольно, кажется, властвовала над садовником Измаилом, который часто бывал пьян, но знал свое дело. Помню, как рассказывал папá, смеясь,

что видел и слышал такую сцену: баба́ Софи стоит перед выпившим Измаилом, смотрит на него пристально в лорнет (она была близорука) и бранит его за то, что напился и за какое-то упущение; он оправдывается и, чтобы ей угодить, упоминает ей о Рего(?), будто он им руководствовался, когда так делал, а она стучит пальцем ему в лоб и говорит: "у тебя тут не Рего(?), а вино!" Но она его жалела из-за большой семьи, которая жила при нем и довольно бедствовала из-за его постоянного пьянства. Мы всегда принимали участие в этих оборванных ребятишках, а сама баба́ Софи на́шивала им от каждого обеда нашего еды. Раз мы, дети, по совету баба́ Софи набрали целую корзину наших отслуживших платьев, башмаков и игрушек и снесли им, завернувши все игрушки в газетные бумажки, чтобы насладиться зрелищем, как дети будут их разворачивать и радоваться тому, что покажется на Свет Божий. Помню, как это было на "борове" оранжереи рядом с кучей палочек для цветов и мочалы. Эффект получился большой, и очень было приятно и получившим и дававшим детям.

В оранжерее были отделения: 1. персиков, 2. французских слив белых с гусиное яйцо величиной. И персики, и сливы превосходных сортов, крупноты и вкуса росли в грунту в больших кадках, виясь по трельяжам до стеклянного потолка; 3-е отделение, так называемое тогда на языке садовников "Ботаника" с азалиями, камелиями, фикусами, питтоспорумами, букебаумами, хлебными деревьями и филодендронами; их разводили черенками в горшочках для продажи в "губернию", как говорил Измаил. Деревья вносились в комнаты в феврале или в январе, померанцы, большие фикусы, кудрявые оттого, что с них срезали кончики веток для черенков, хлебные деревья (не знаю, что за растение, вроде фикусов, но мельче листом), мирты, жасмины желтые и белые и питтоспорумы, было даже одно фиговое деревцо,

носившее плоды, и чудные наши розы центифольные те же, что и в грунту, но приставленные в горшках на зиму в "простейки" в оранжереи для цветения в комнатах к Рождеству. От всей этой благодати по всему дому разносился дивный запах и в оранжерее одновременно с цветущими персиками и сливами был сущий рай, и мы часто ходили туда любоваться и нюхать. Трельяжи, покрытые розовыми цветами, еще без листьев персиков действительно были очаровательны. Мама́ и баба́ Софи всегда боялись, что мы простудимся от жары и сильной влажности в этих нагретых боровами и залитых солнцем стенах и потолках оранжереи, а мы никогда не простужались, и вообще не помню, чтобы болели серьезнее простого насморка и кашля, которые лечила баба́ Софи очень удачно. Были, конечно, и парники для арбузов и дынь и ранней выгонки некоторых огородных и летников для клумб. Арбузы бывали колоссальные, больше пуда, с темными полосами и красным мясом, с черными семенами, которые собирали из лучших экземпляров с тарелок, сушили и хранили в пакетах с надписями какого года и веса, несколько лет, до посева. Дыни канталупы, тоже огромные, такого отличного вкуса, что редкий гость у нас, двоюродный брат Марии Петровны Домашневой, князь Александр Михайлович Хилков, московский гастроном, приходил в восторг и потребовал раз садовника Измаила, чтобы расхвалить его, чем доставил гордое удовольствие человеку на всю жизнь: "Сам князь Хилков похвалил мою работу, — рассказывал бывало Измаил, — у тебя, говорит, дыня, что прованское масло!" В грунту были гряды шпанской клубники (та, что теперь зовется "русской"), крупной и душистой, и ананасной для варенья. Только два эти сорта. Зато крыжовника несколько сортов: мохнатые крупнейшие, зеленый, розовый и коричневый помельче, все очень сладкие; набирали его прачечными корзинами и не зна-

ли, куда его девать после заготовок на зиму в виде варенья, пастилы, мариновки и пр. Раздавали причту, служащим завода, и все в доме ели вдоволь. Гряды малины, смородины красной, черной и белой, вишни; сливы темные в грунту, и грунтовой каменный сарай, закрывавшийся на зиму хворостом и соломой по стропилам*. В нем росли деревья шпанских вишен розовых, белых и черных, по которым братья собирали вишни, лазая, как на яблонях. Липовые аллеи, посаженные еще в 18-м веке звездой, были когда-то подстрижены и потому разрослись неестественно, на высоте аршин 10 разветвились, и потому было мало могучих толстых деревьев, и то по концам аллей на воле и просторе. Около аллей и оранжереи, около грунтового сарая и парников в образовавшемся углу был еще небольшой яблоневый сад, так сказать, для личного употребления в $^1/_2$ десятины приблизительно, а за церковью был большой, в пять десятин приблизительно, который сдавался съемщикам за 300—400 рублей и где сиживали сторожа, все больше старики в шалашах, варили себе кашицу из пшена с грибами в котелке и были личными друзьями братьев, которые учились у них делать всякие штуки: тавлинки из бересты, ложки и вилочки из яблоневого дерева и жалейки из ивовой коры. Их жизнь средь яблонь превосходных сортов в шалашах, всегда на воздухе, около куч подбора яблок (падалицы), которую они выменивали крестьянским бабам и ребятишкам на яйца, представлялась мне какой-то Аркадией, достойной восхищения и зависти. Они бывали новые каждый год, но всегда интересные и привлекательные. Я не помню неприятных. В саду этом были следы старинных барских затей, боскеты** из ореховых кустов, посаженных в кружок, разросшихся

* Так в рукописи.

** Группы деревьев, насаждаемые в декоративном саду.

в могучие стволы, которые и качнуть-то трудно было, не сломавши их, на которых и орехи-то были необыкновенно крупные, длинные, и дозревали они до полной зрелости, тогда как в лесах их обрывали раньше созревания до Успенья, и только немногие, оставшиеся в гуще кустов "бранцы" могли уцелеть от варварского расхищения бабами и ребятишками. Баба́ Софи очень интересовалась сбором орехов ради орехового масла, на котором в старину любили готовить постное кушанье. Однажды она организовала сторо́жу орехов в лесу, кажется, в "Лисичках", и когда их собрали спелыми, вылущили и покололи поденные девочки в столовой и на балконе, получилась куча невиданных раньше ореховых ядер, которые все ели с наслаждением. Набили ли из них масло — не помню.

Огород был беднее фруктовых отделений, но все же хорош и довольно однообразен. Обилие было всего, хотя крали и таскали все. Многие из овощей, вошедших теперь в общий обиход, не существовали тогда вовсе. О помидорах и помину не было, сельдерей, <нрзб>, кукуруза не сеялись. В изобилии были горошки сахарные лопаточками и для лущения. Мы забирались в гряды с лиловыми лутошками, утыканные вперeплет, густо заплетенные высоким горошком, и "паслись" там с упоением. Было несколько гряд с перечной мятой, которую осенью срезали, вязали веничками попарно и сушили для лекарственного употребления и для кваса. Баба́ Софи очень о ней заботилась.

Все пространство сада за прудом с липовыми аллеями и оранжереей у нас называлось "тот сад", а у крестьян "ранжерея", и для нас, детей, конечно, было рай. Мы там свободно ели все, что поспевало, и никогда от того не хворали. Под запретом было только все незрелое и белая малина, которой было мало кустов, а папа́ особенно любил варенье из белой малины. Конечно, ни од-

ной ягодки ее и не ели. Но много лет спустя, выяснилось, что это был миф. Папа́, смеясь, говорил, что он никогда не выражал особенного пристрастия к белой малине и что мама́ и баба́ Софи по своей особенной заботливости выдумали такой его вкус и издали запретительный закон. Мы жалели, что миф был разрушен, и белая малина утратила всякий интерес. Чуть ли не наравне с хорошими фруктами пользовалась у нас успехом черемуха, которой была масса, и очень крупная. Жорженька все черемухи излазит и наломает ветки с тяжелыми черными кистями, от которой, мы уверяли, совсем рот не вяжет и удивлялись, почему взрослые гримасничают и отказываются от такой прелести. За садом была березовая роща (в то время еще молодая), посаженная в год рождения Алексея и так и называлась Алексеева роща, занимавшая приблизительно десятины полторы, а за ней были поля крестьянские вдоль дороги, необыкновенно ровной, никогда не портившейся даже в проливни и в распутицы. По этой дороге всегда объезжали молодых лошадей; даже соседи <нрзб> в беговых дрожках прекрасных рысистых лошадей, потому что лучшей дороги не было в округе. Она тянулась на версту до нашего леса Быльцино. С левой стороны с половины примерно ее протяжения было и наше поле "Коломенка" — хорошее, ровное, любимое хозяевами. На эту дорогу мы любили ходить гулять вечером, выходя прямо из Алексеевой рощи, чтобы любоваться заходом солнца, которого из дому не было видно. Большой простор, тишина и какая-то мирная благодать деревенская пленяли нас всех, а мы, дети, как собачонки, бегали взад и вперед взапуски по ровной полосе мелкой низенькой травки вдоль ворот, рвали васильки во ржах или овсах вдоль обеих сторон поля, и особенно любимые липкие белые цветочки-хлопушки со вздутыми "животиками", которыми так хорошо было хлопать на лбу или на сжатом кулаке. Родители шли всегда под руку, а мы крутились около них или отбегали далеко, так что проделывали во много раз больше пути, чем они за всю прогулку. Когда возвращались, часто приходилось пережидать крестьянское стадо, сильно пылившее, а по приближении к деревне бежавшее скоро, точно лошади, с ревом коров, блеянием овец и криками ребятишек, которые выходили встречать скотину с хворостинами, и они-то и создавали этот хаос в стаде, очень возмущавший отца моего. А я любила этот хаос, и если бы можно было, побежала бы с ребятишками за коровами, которых, кстати сказать, совсем не боялась, меньше, чем теперь. Возвращались всегда во избежание росы плотиной между двумя прудами под сенью огромных, тогда стоявших еще, лозин, в гору к конюшне и входили в калитку садовых ворот с южной стороны сада; отец иногда расставался с нами, чтобы пройти на скотный двор, а мы шли садом на балкон к вечернему чаю. Тогда балкон был большой, вдоль всей западной стены (без крыльев залы и голубой комнаты) с лестницей в ширину почти половины всего балкона и посредине его, с тремя уступами по бокам ее, на которых, бывало, все усаживались, чтобы лучше дышать прохладой сада и запахами роз и цветов. Большой стол посредине, покрытый скатертью, бывал уставлен всей чайной батареей с горшком простокваши или варенца и с блюдом ягод или творога, который особенно любила мама́. Очень приятен был этот чай в поздний час с лампой, вокруг которой вились и погибали ночные бабочки и мушкарки, и портило все только то, что в 9 часов или самое позднее в половину десятого нужно было идти спать! А из окон голубой комнаты долго еще в постели слушаешь, слушаешь голоса и всякие звуки с балкона с завистью и с некоторой обидой, что из-за того только, что я маленькая, так и лишать меня такого большого удовольствия, точно я не умею его ценить. И долго еще

под писк комаров слушаешь и огорчаешься, а потом и заснешь.

Перед домом с трех сторон были клумбы с цветами, а на восток, против церкви под окнами передней, кабинета папа́ и комнаты баба́ Софи, была широкая рабатка с георгинами, астрами и бордюром из резеды и анютиных глазок. Бордюр к концу лета портили куры и собаки, лазавшие под дом в окна фундамента, и оставались одни георгины, привязанные к колышкам. Потом и под окном кабинета протаптывалась полянка ногами подходивших к нему разных людей, имевших дело к отцу. На западной стороне была краса сада — громадная овальная рабатка с газоном посередине с грунтовыми центифольными розами, славившимися в округе за свою красоту и размер, и нежный розовый цвет. Кто только не брал у нас их корешки (они не были привитые) для разведения у себя! И ни у кого они не отличались такой крупнотой и нежностью цвета, как в Поповке. Что-то особенное было в нашем грунту, благоприятное для их цветения; уход был самый примитивный: весной взрыхлят землю, обложат навозом, вырежут сухие и отмерзшие концы веток, а на зиму укроют соломой. Эти розы были источником большого удовольствия и эстетического наслаждения. Из них делали много огромных букетов во всех комнатах в старинных красивых вазах, хрустальных и фарфоровых, а то просто в глиняных кувшинах, черных или красных; сушили их лепестки для пересыпания белья, но варенье из них не любили и не варили. Мы, дети, любили с ними возиться и, часто, нарвав полный фартук, фуражки и подолы рубашек осыпа́вшихся отцветающих цветков, а то целых крупных роз, закидывали друг друга, как снежками: “как в Бенгалии”, часто слышала я, как говорили взрослые. Мне казалось, что у всех должно так быть, т.е. у помещиков. Но на самом деле ни у кого не было такой рос-

коши, и мы почти всем приезжающим к нам связывали большие букеты длинных веток роз, обертывали их, от пыли и жаркого воздуха доро́гой, газетной бумагой, чтобы довозили их свежими до дому. Отец был любитель-ботаник (слушал лекции по ботанике у Рейхенбаха в Лейпциге и написал брошюру печатную о ликоподиуме) и приобщал и детей к этой прелестной науке. Я была еще слишком мала в то время и просто любила цветы и все растения, а братья, особенно старший Алексей, много знали и читали, младшие бойко называли латинские названия. Этот мир сада, цветов, овощей, фруктов наполнял летом всю мою душу, и весь ум, и все время. Мне было 6—7 лет, я проводила дни одна, без подруг и врозь от брата Жорженьки. Я почти не выходила за ограду сада одна и в “тот сад” за прудом ходила лишь с кем-нибудь из старших, но зато оставалась там подолгу. Все деревья, кусты бузины, рябины, сирени, орешников были личностями и друзьями, а также кучи песку, перегноя из липовых веток и листа, ямы, бугорки могли служить для игр и были населены всякими героями из книг. Я не нуждалась ни в товарищах по играм, ни в куклах, а так как-то очень интересно проводила время, пока старшие делали что-то скучное с садовником в оранжерее, на грядках, у парников и пр. Если же ко мне присоединялся брат Жорженька, то для меня наступало блаженство: то, что он на три года был старше меня, делало его в моих глазах личностью недосягаемой по изобретательности, знаниям, смелости и предприимчивости, и я подражала ему во всем, но, конечно, делала все хуже него. Он был необыкновенно мил со мной, не угнетал меня своим превосходством и старшинством и не снисходил ко мне, а играл ровно и увлекательно, точно для себя, и это особенно было мне приятно. Он тоже не любил игрушек купленных и из всего умел создать интересную игру, не прибегая к игрушкам ненатуральным. Мы увле-

кались устройством пещер, ходов, стен, крепостей в кучах песка, который был навален с западной стороны узкой оранжереи под рядом молодых лип. Там всегда, во все часы было прохладно и песок ровно влажный. Пирожков песочных не делали. Мы играли в Жюль Верна, которого он читал или слышал чтение вслух, Купера и пр. Я ничего этого не знала, но вполне его понимала и наслаждалась. В комнатах продолжались эти игры под столами с диванными подушками и скамеечками для ног. Но, вообще, братья держались от меня особняком и пользовались несоизмеримо большей свободой всюду ходить и даже ездить, посещать конюшни, молочную, рабочую, столярную, гумно, покосы и пр. Для них существовал еще особый вольготный мир, совершенно мне чуждый, это ежедневные поездки купаться и ловить удочками рыбу либо на реку Упу в Малышеве, либо на проточные пруды в Мазалки (теперь зовется Петрушино). Это было небольшое имение, купленное отцом у разорившихся помещиков немцев Штаден (крестьяне звали их Штаденевы) верстах в четырех от Поповки. Они ездили в пролетке в одну лошадь, то со старшими братьями, то с учителем, без кучера, часто сопровождаемые ручным вороном, который летал и каркал над ними, а во время купания дожидался их на дереве и опять летел за ними домой. Это были мужские удовольствия, и я даже не обижалась и не завидовала им. То, что я — девочка и многое не про меня, так было мне известно и привычно, что никак против судьбы и не боролась и не мечтала. Зато бросать камешки и делать рикошеты на пруду с братьями мне разрешалось. Только мне плохо удавалось, и я просто оставалась восторженной зрительницей подвигов их ловкости. Иногда они сбивали плоты из тесовых щитов, которыми на зиму застилали покатые стеклянные крыши и стены оранжереи. На этих плотах они катались по пруду, отталкиваясь шестами от дна.

Я могла только любоваться с берега, мне запрещено было ездить на плотах — я не умела плавать, и боялись, как бы я не утонула.

Отец был большой любитель сельского хозяйства, думал завести образцовое по-заграничному. Выписывал журналы русские и иностранные, машины от Бутенопа, и даже выписал немцев-рабочих (может быть, пригласил их сам в Германии — не знаю точно). Но особенно выгодного ничего не выходило из этого. Внешне многое улучшилось. Долго стояли прекрасно сработанные тесовые крыши и стены кирпичные в клетках деревянных брусьев, построенные немцами въездные к дому ворота, калитки, лестницы, скамьи на балконе и пр. Все это работы столяра Цимермана. Помню его чуждую бритую фигуру; мужики переделали Цимермана в Симомона и даже Иваныч прибавляли. Но в самом хозяйстве полевом, кажется, ничего значительного не прибавилось. И они, немцы, понемногу перевелись. Симомон дольше всех оставался. Управляющие тоже бывали немцы: Вейс, Печке и др. Я их не помню, только слышала о них. В годы, о которых я пишу, был не управляющий, а простой староста, мужик из Мазалок, или Петрушина, Артем Семенович, у которого был сын Макарка. Больше ничего о нем не могу сказать, не слыхала отзывов о нем. Потом бывшие управляющие все мне памятны, а Артем был правой рукой Володи, который хозяйничал в те годы. В то время трудно было хозяйничать прибыльно на нечерноземной земле, а наша земля была сплошной суглинок, требовавший много удобрения. Кажется, именно для того, чтобы увеличить количество навоза, отец построил винокуренный завод в версте от усадьбы, откармливая бардой волов; стал сеять клевер, что было тогда новшеством. Урожаи стали лучше, но не окупали в общем расходов по заводу. Просуществовав недолго, он должен был закрыться. Еще способствовало его закры-

тию нежданно-негаданно сильное поднятие акциза на спирт. Завод вместо прибыли стал давать убыток. Знаю, что эта неудача была тяжелым ударом для отца. Он не был удачлив в делах вообще. Чего-то не хватало в его недюжинном уме. Должно быть, он был очень доверчив, переоценивал людей, у него работающих, и, будучи определенным оптимистом, легко увлекался надеждами и ошибался в расчетах. Но неудача с заводом произошла не только по его вине. Завод был построен на Кобылке, сильном роднике, который и снабжал завод нужной водой для паровой машины и для всего процесса виноделия. Я мало помню, как там было устроено, но постоянные разговоры дома о заводе "la distillerie"* внушили мне большое уважение к этому заведению, и я очень любила ходить на Кобылку и осматривать все отделения сложного производства. Ходили мы туда довольно часто с мама́ и папа́, которому нужно бывало по делу, а мы просто для прогулки. Заходили там всюду в интересные места, солодовню, в заторную, где так вкусно пахло кисло-сладким хлебом, в кухню, воловную, в винный погреб под зеленой дерновой крышей, к плотникам, которые всегда что-то работали очень занятное. Был между ними молодой плотник Яков Парменов — красивый, рослый малый, которым любовались мама́ и баба́ Софи, и значит, и я. Он был из нашей деревни с дальнего конца к Захаровке. Кобылка была нашим любимым местечком, и правда, она очень живописный уголок, и понятно, что она была предметом нашей детской гордости и восхищения. Из родника с чудной вкусной водой, которая снабжала деревню, усадьбу и слободку причта, вытекал ручеек, наполнявший две сажалки чистой холодной водой, часто разбавляемой и добавляемой новой из прорытой канавки от ручья, и протекал дальше до деревни

* Винокуренный, спиртоводочный завод (*фр.*).

Замариной по широкому глубокому оврагу. Впадал он значительным ручьем в Упу около Павшина. Вокруг сажалок росли старые березы, и все место было, не только на наш взгляд, очень живописно. Кобылка — la femme du cheval — как прозвал Сережа, была излюбленным местом прогулок нашей семьи, и гостей всегда водили туда. На самой большой сажалке была устроена купальня, но вода была очень холодна. С завода, бывало, заходили к сажалкам. А один раз прошли на "Спорую воду" (или Спорная). Сажалки были с одной стороны отделены от оврага высоким крутым валом-плотиной; сойдя с него нужно было идти оврагом, поросшим огромными дубами, березами и ореховыми кустами вдоль ручья, устланного разноцветными осколками гранитных и кремневых камней, отчего вода мило и звучно журчала, а дальше, по расширяющемуся оврагу, уже без деревьев и кустов до соединения Кобылки с другим безымянным ручейком, вытекавшим из леса "Поляны", и тут-то на стыке ручейков росла маленькая корявая лозина, всегда увешанная нарванными из цветного ситца ленточками, медными крестиками, образками, ножками и ручками, как на иконах бывают. Это все, снятое с больных детей, которых купали в Спорой, т.е. исцеляющей воде. Мне про эту лозинку рассказывал Жорженька, и так меня заинтересовал, так разжег мое воображение, что я упросила сходить туда нарочно и хотя и разочаровалась немножко (уж очень многого ожидала), но все же было очень приятно и интересно. Вода плоского ручейка была чистая-чистая, журчала по цветным камешкам, и между ними лежали в тот раз несколько цельных куриных яиц и медные монетки — приношения от больных детей. Было в том месте что-то, напоминающее языческие времена или первые века христианства на Руси, и очень было занятно. А знала я про такие времена и из рассказов и читанных вслух книг. Много раз бывала я

потом на Спорой воде, но никогда не заставала больных детей с матерями, а очень этого желала. Крестики и тряпочки, выцветшие за зиму, виднелись рядом с новыми, яркими, яйца и медные монетки иногда лежали в воде, иногда их не было, но всегда было пустынно. Лозинка с годами поломалась, стала жалкая и совсем корявая, а потом и вовсе исчезла, и все очарование этого места пропало.

Возвращались мы с завода часто поздно вечером, когда загоняли в деревне скотину, и месяц всходил на небе, большой желто-красный над горизонтом. Подходя к деревне, нужно было пройти мимо и между ям, поросших тонкими или курчавыми березками, в которых в конце 20-х годов и в начале 30-х годов прошлого столетия "били" кирпич для церкви и построек хозяйственных (чекмарный кирпич, причем глину брали из-под себя, тут же в яме, и как всю используют, переходили на место рядом, строя над ямой соломенный шалаш). Так вот эти ямы, штук 20 или больше, многие полные воды, черной и непригодной ни на что, кроме полоскания тряпья, а иные пустые, так и остались, образуя пустырь, казавшийся нам странным и необыкновенно живописным. Не нам одним казался он таким. Я всегда видела ребят, играющих днем в этом месте, прятающихся в сухих ямах и т.д. Одна большая яма без березок, похожая на небольшой прудик, поросшая кругом осокой и затянутая ряской, была совсем близко от деревни, а около нее, у тропинки, тянулся валик, поросший мелкой травкой. Почему-то Жорженька и я всегда бежали вперегонки впереди родителей к этому зеленому валику, становились на колени, лицом к месяцу и пели: "Здравствуй месяц-месяцович! Я Иванушка Петрович!" (из "Конька-Горбунка" Ершова, которого знали чуть ли не всего наизусть). Я выговаривала по старой привычке "мебесь-мебесович", и, как меня ни дразнили, никак не могла

отвыкнуть. Родители подходили к нам под руку, как всегда ходили, и смеялись на нас, вероятно, нашей глупости и беспричинной, по них, веселости. Пройдя эту яму, мы входили в деревню и шли, вдоль ряда изб с левой стороны и амбарами и сараями с правой, и шли по неровной в колеях дороге, все время кланяясь встречным или стоявшим у изб или сараев, которые низко кланялись, здороваясь. Старые и пожилые бабы сперва немного раскачаются, закинув голову назад, а уже потом в пояс поклонятся. Отец и мать всегда говорили "здорово". Мы знали всех взрослых и детей, и нам, все время, что мы шли, кланялись, а иногда родители останавливались и разговаривали с подходившими, без шапок, стариками и всегда говорили: "накройся", а те сразу не надевали шапок, и приходилось опять просить накрыться. У нас, детей, было какое-то особенное обожание мужиков, баб, ребят крестьянских. Они нам казались лучше, интереснее и достойнее нас самих, и главное, более русскими, а все русское было самое лучшее на свете. Их простая жизнь, выносливость в работе, в холоде, жаре и дожде приводили нас в восхищение, и мы завидовали им и хотели подражать, но были связаны дисциплиной и условиями совсем другого уклада жизни. Эта наша жизнь казалась нам стыдной и ненастоящей, но связанные послушанием и привычкой не осуждать своих старших — принуждены были жить в богатой (относительно) обстановке с обедами, чаями, лакеями и горничными, французскими разговорами, выглаженными к обеду платьями и т.д. Это обожание деревни и всего деревенского, вероятно, было навеяно атмосферой семьи и дома и книжками той эпохи, в которых выставлялись дети зажиточных классов, особенно дворянства, с невыгодной, в сравнении с деревенскими ребятами, стороны. Например: книга толстая очень любимая нами Ярцевой "Счастливое семейство", Колюбакиной

две книги (не помню заглавий), Ростовской несколько книг, Чистякова много книг и несколько переводных с английского "Подвиги детского милосердия" (Ministering children) и др. Мамá читала нам вслух по вечерам, и мы много знали наизусть трогательных местечек, особенно из последней книги. Журналы того времени были тоже проникнуты самым горячим восхищением к простой, набожной, примитивной деревенской среде, живущей в близком общении с природой и животным миром. В доме были "года" "Подснежника" под редакцией Майкова; Детское чтение; "Русской речи" несколько любимых номеров. Переводные статьи все были подобраны с таким же направлением. Очевидно, мы пропитались этим духом, а вся домашняя атмосфера мягкости, снисходительности и беспристрастной справедливости к людям дополняла книжное воздействие. Вся семья была готова видеть во всех людях скорее лучшие стороны, чем плохие. Ничто в доме не носило характера помещической чванливости и гордости, какие принято предполагать и приписывать высшему классу известной частью литературы и людьми, враждебно настроенными против этого класса в последних десятилетиях (с 1910—1920 гг.).

Напротив того, нельзя было быть более мягкими, снисходительными и ласковыми вообще к людям, чем были мои родители и, конечно, и мы, дети. К слугам, ребятам, работникам и всем крестьянам. Я не помню ни брани, ни крика, ни выговоров, ни, конечно, грубых или ругательных слов по отношению к ним ни в глаза, ни за глаза. Часто смеялись, передразнивая смешные выходки и словечки, целые разговоры, рассказывали анекдоты и курьезы, которые запомнились и потом пересказывались при случае, но всегда именно как курьезы, интересные и забавные, не вызывающие презрительного осмеяния. С прислугой, которой, конечно, было немало,

все были вежливы, хотя говорили всем "ты", и они, "люди", стояли при разговоре и вставали при входе "господ" в кухню, в людскую и в девичью; даже если, например, чистили ягоды на балконе, сидя в отсутствие "господ", при входе их вставали и работали стоя, пока не уйдут. Но не чувствовалось розни, давления или страха, а часто даже проскальзывала фамильярность с признаками ласковости со стороны этих людей. Ясно помню я всякие мелочи нашей жизни в то время, но сцен, выговоров продолжительных, раздражения с повышением голоса не помню. По рассказам мне известно, что отец смолоду был очень горяч и вспыльчив, но как стали подрастать старшие сыновья, укротил свою вспыльчивость, и мы, трое младших, уже никогда не испытывали на себе этой вспыльчивости и даже не видали его очень рассерженным; с нами он был вполне сдержанный. Также и мать, хотя подольше отца выговаривала прислуге и детям, но никогда не получалось это грубо или больно для выговариваемого, а скорее немного надоедало; ему думалось: "хотя бы скорее кончилось и отпустили бы". По крайней мере я всегда так понимала скучающий вид виновного. Если что-нибудь разбивали дорогое, ценное или забывали сделать что-нибудь нужное, серьезное, мать очень огорчалась, долго не могла успокоиться, жалела и удивлялась: "как можно так делать? не понимаю!" Но и только. Такое ее состояние и способность принимать горячо к сердцу всякую неудачу или досадную случайность в доме называлось "Княгиня очень беспокоится" и всячески старались, чтобы это не повторялось. Поэтому у нас, детей, были чудные отношения со всеми слугами: и мы были их любимцами, и многие из них были очень нами любимы. "Людей" было немало, по-теперешнему даже излишне много, но зато и было им нетрудно и жилось хорошо. Было два лакея, Дмитрий и Егор, которые подавали к столу и, пока "господа куша-

ли", стояли, прислонясь к колоннам в столовой с руками за спиной, отчего на этих колоннах образовывались желтые пятна на местах, где руки, хотя и в перчатках, касались выбеленной меловой краской колонн. Были две горничные: Поля у мама́ и Ольга у баба́ Софи. Была портниха Александра Гавриловна, из духовных, которая очень любила это напоминать, кстати и некстати, и внушила мне большое уважение к себе и своему сословию. (Я мечтала выйти замуж за священника, чтобы меня называли матушкой, почему-то хотелось скорей овдоветь и быть malheureuse*.) Я имела неосторожность как-то это высказать в семье, и надо мной так смеялись, что я долго не могла простить себе свою оплошность. Была еще наша Маша в роли няни; потом, конечно, повар Емельян и кухонный мужик Гаврила — оба герои нашего детского мирка. Емельян как творец мороженого и всяких пирожных и чудных малиновых леденцов от кашля, ради которых желали закашлять, а Гаврила как вообще необыкновенный человек, сильный и ловкий, который удивительно колол дрова и носил даже на второй этаж, ездил на бочке за водой на Кобылку, все мог поднять, отнести, достать, повесить в огромно высоких комнатах с пятиаршинными окнами-дверями и печами, вмещавшими по две громадных охапки дров. Он же вертел мороженое в медной конусообразной посудине с ручкой в кадке со льдом, удивительно закручивая, так что она оборачивалась сама, делая несколько кругов, и приносил на плече тушки освежеванных им же телят и баранчиков со скотного двора мимо дома на кухню. Он ловил вершами карасей в пруду и вообще мог делать многое лучше других. Его любила очень мама́ за ловкость и проворство. Он был высокий, красивый, черный малый цыганского типа из дома Новиковых нашей де-

* Несчастной (*фр.*).

ревни, немного кривошейка, что мне особенно нравилось почему-то. Где все эти люди помещались, я не помню. Может быть, мужчины в двух комнатах по винтовой лестнице из передней или во флигеле, называемом "людской", и женщины в низкой комнате с площадки на половине лестницы из коридора в середине дома, так называемой девичьей. Но места, помнится, было для них недостаточно. Хотя все ходили чисто и аккуратно в фартуках белых, и повар весь в белом и в колпаке, когда по вечерам приходил за заказом обеда к завтрашнему дню, обыкновенно во время вечернего чая. Меня вскоре отсылали спать, и я очень жалела, что не услышу этого заказывания любимому Емельяну.

Полы в доме мылись часто и всегда бабами с деревни, излюбленными мама́ за чистое мытье. Полы, крашенные масляной краской, были только в сенях, передней, столовой, коридоре и лестнице; все остальные комнаты, включая парадные, были с белыми полами с широкими досками, сбитые в щиты на шпонках. Мама́ любила некрашеные полы и любовалась всегда их чистотой, которую очень соблюдала.

Флигель, где жили кое-кто из людей, влево от дома в pendant* другому такому же флигелю справа, в котором помещалась прачечная-баня с полком (оба в стиле маленьких греческих храмов с колонками и крышей куполом) служил еще убежищем для двух старух, бывших дворовых – Анны Ильиничны и Софьи Сысоевны, птичниц, которые сажали там наседок на яйца и выхаживали цыплят. Анна Ильинична была пьяницей и часто напивалась до того, что валялась на дороге. Но это ничуть не мешало моим братьям водить с ней дружбу, именно из-за кур и индеек, которыми они очень увлекались. Я почти никогда туда не ходила. Это было дело

* Дополнение (*фр.*).

мальчиков и мне было недоступно. Флигель еще назывался чистая застольня, там люди обедали и была специальная стряпуха. Только раз или два я была с братьями в комнате Анны Ильиничны и видела наседок, сидящих на яйцах в кошелках и севалках, расставленных вдоль стен и под лавками и кроватями старух. Там братья возились с птицей, и они знали все тайны высиживания и вывода. Все куры были близко им знакомы с кличками, данными по отличительным признакам внешним: пера, форм тела, привычек и характеров. Помню, что была одна под названием "Выдается", о которой постоянно говорили. Не знаю, что у нее выдавалось, но они, братья, очевидно знали. Уход за индейками особенно сложный и ответственный составлял их большой интерес и даже заставил Сережу написать целое руководство "Ухот за индюшками", к сожалению оставшееся незаконченным. Я хорошо помню, как смеялись взрослые над Сережей за это несчастное слово, крупно написанное на заглавном листе: "Ухот". Я тогда чуть умела писать, и мне было непонятно, как смеются, когда так удивительно и то, что Сережа пишет такое умное, а они смеются над какой-то буквой? Главный секрет удачного ухода за индюшками состоял в кормлении их с первых дней на холсте, натянутом на рамке, чтобы стукали носиками по жесткому. Эти рамки готовились самими братьями в мастерской наверху. Кормили рубленой крапивой с творогом, и все свободное время от уроков весной уходило у них на эти занятия. Это было очень полезное и воспитательное времяпрепровождение — заботливое и аккуратное исполнение взятой на себя работы, увлечение и интерес в хозяйственной отрасли и, действительно, отлично приготовило их к деятельности в юношеском возрасте, когда они взялись с тем же страстным усердием и жаром и за настоящее сельское хозяйство в большом масштабе. Были у них и другие, кроме кур,

животные: кролики белые мелкие, морские свинки, ворон ручной, даже лисицы, не говоря уже о собаках дворовых. Был любимый Барбос — водолаз черный, живший до старости и окончивший жизнь очень печально: пошел пить в пруду и от слабости ткнулся мордой в воду и не поднялся, а завалился и захлебнулся. Это было большое горе для нас. Был Белогорст, крупная дворняга, тоже долго живший, почтенная умная собака. Но в комнатах собаки бывали редко, родители их не любили в доме и только в необычных случаях не могли отказать детям иметь собаку в комнате. Так завелась както хорошенькая левретка Стелла, которая попалась в поле в самый день Сережиного рождения. Он сам и поймал и был страшно рад и взволнован такой удачей вообще и особенно поразительным совпадением такого необычайного редкого счастья с его днем рождения. Стелла недолго жила у нас, а куда-то пропала. Была както легавая собака Лайонес, которую кто-то подарил щеночком и нельзя было отказаться взять его. Володя нарисовал его крошкой еще, спящим на голубой подушке с кистями; долго хранился его портрет на стене в черной рамочке то в одной, то в другой комнате.

Братья ездили верхом, причем учились ездить на саврасой лошадке, очень покойной, которую так и звали Саврасом. Кажется, он утонул в четверке в Упе, случай, который будет рассказан дальше. Отдельных специальных верховых лошадей не было. Просто, кому нужно было ехать, седлали лошадь из пристяжных, выездных, конюшенных или рабочих. Вообще, спорта никакого не было, игр на воздухе тоже не было. Тогда еще не входили в моду ни крокет, ни теннис, ничего из тех игр, которыми так увлекается теперь молодежь. Правда, в саду были качели и гимнастика, устроенная плотником Василием Петровым. Высокие столбы врыты были в землю на площадке за серебристыми тополями. На трапе-

ции Володя, для которого главным образом все это было устроено, совершал разные упражнения, которые мне казались замечательными по ловкости и искусству. На одном столбе были прибиты перекладины, по которым лазали и младшие братья. Больше они упражнялись в лазании на деревья, и Жорженька в этом искусстве достиг особенного совершенства. Не было ни одной липы или березы, на которой бы он не побывал на самой верхушке. Только серебристый тополь в три обхвата толщиной остался недоступным...

ПРИЛОЖЕНИЕ II

С.С.С.Р.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Управление Государственной Безопасности по Куйб. области

11

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ №______

1937 г. Декабря мес. 24 дня. Я, Сотрудник 3 отд. 3 отдел. УГБ УНКВ. Громов. Петр Вадимович (должн., наимен. органа, фамилия) допросил в качестве обвиняемого

1. Фамилия Львов.
2. Имя и отчество Юрий Сергеевич
3. Дата рождения 1897 Ноября 1 дня.
4. Место рождения г. Пермь.
5. Местожительство Пушкинская 74.
6. Нац. и гражд. (подданство) Русский
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категор. и место прописки)
8. Род занятий Электро мех. по подъемн. сооруж. (лифты) (место службы и должность)
9. Социальное происхождение Сын князя отец имел железоделательн. скобяную фабрику (род занятий родителей и их имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)
а) до революции Учился с 1909 г. по 1919 в 8 гимназии г. Москвы
б) после революции с 1919 по Июль 1920 в Политехническом Ин-те
11. Состав семьи Жена Ольга Ивановна 35 дом. хозяйка, дочь Екатерина Алексеевна 3 года, Мать Зинаида Петровна 67 л., Брат Сергей Сергеевич 37 л. раб. Мех. по лифтам в [illegible] Брат Евгений Сергеевич 41 год преподаватель ин. языков в школе № 1, Сестра Наталия Сергеевна 45 лет раб. Сестрой в Госпитале в Москве, Брат Владимир Сергеевич раб. Кровельщиком в г. Рязани, Сестра Елена Сергеевна во Франции. Сестра Елизавета Сергеевна живут во Франции. (близкие родственники, их имена, фамилии, адреса, род занятий)

ЮЛьвов

Протокол допроса Ю.С. Львова от 24.12.1937

СЕМЕЙНЫЙ ЭПИЛОГ

Я держу в руках старую пожелтевшую фотографию с неровными, немного обломанными краями. На ее обороте с трудом читается карандашная надпись: “Елка в Поповке”. Поповка — имение князей Львовых в Алексинском уезде Тульской губернии. На фотографии расшалившиеся на маскараде дети на мгновение присели среди родных. Никто не знает о будущем, еще вся семья в сборе, все живы и счастливы, но на радостные лица, как мне кажется, уже наложила отпечаток грядущая трагедия. Все сидящие здесь дети владельца Поповки — князя Евгения Владимировича Львова: Мария, ее братья Георгий, Владимир и Сергей со своей семьей — будущие жертвы великой русской катастрофы. Никто из них не умер в родном доме — кого ждал расстрел, кому была суждена смерть на чужбине или в ссылке.

А вот иной документ, архивный, из Куйбышева, где напротив фамилии Сергея Евгеньевича Львова также имеется карандашная надпись – “пациент НКВД”...

Много лет назад, гуляя с женою по центру Москвы, мы забрели в тихий дворик на Мясницкой в тот момент, когда последние жители красного кирпичного дома во дворе грузили свои вещи для переезда. Зная, что этот дом относился ранее к Училищу живописи, ваяния и зодчества, которое до революции возглавлял князь Алексей Евгеньевич Львов, я спросил у старожилов о его судьбе, и они мне рассказали, что после революции князь уехал с семьей во Францию. Так удивительным образом удалось еще раз соприкоснуться с историей семьи.

Действительно, в 1918 г. князь Алексей Евгеньевич (1850–1937) уехал за границу, во Францию. Он был женат на княжне Марии Александровне Гагариной. Супруги с тремя дочерьми, Ольгой, Верой и Екатериной, жили в Медоне под Парижем. Дочери потомства не оставили.

Брат А.Е. Львова, холостой князь Владимир Евгеньевич (1851–1920), дипломат в западноевропейских миссиях и директор Московского главного архива МИД в 1901–1916 гг., покинул Россию, уехав из Ялты на пароходе "Рио-Негро". С ним уехали племянницы — дочери его брата Сергея: княжны Елена и Елизавета. Князь Владимир был образованнейшим человеком с разнообразными интересами. Всю жизнь, с юношеских лет он работал над большой книгой, посвященной политико-социальным вопросам, которую окончил только к семидесяти годам и рукопись которой исчезла в момент его смерти на улице Парижа, когда он нес ее к издателю.

Судьба его брата, князя Георгия Евгеньевича, после революции довольно хорошо известна по воспоминаниям его секретаря и друга Т.И. Полнера*. Это жизнь в Сибири, тюрьма в Екатеринбурге и побег из нее, путь к Колчаку, Токио, США, и, наконец, Франция — его последний приют. Скончался Георгий Евгеньевич 6 марта 1925 г. в Париже и похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Там же похоронены его племянницы, жившие вместе с ним.

Одна из его племянниц, княжна Елена Сергеевна (1891–1971), во Франции стала художником, иконописцем, ее работы находятся Париже, в церкви d'Apparition de la Sainte Vierge на бульваре Exelmans. Она осталась незамужней. Елизавета (1894–1969) вышла замуж за историка флота Сергея Константиновича Терещенко. После его

* См.: Полнер Т.И. Жизненный путь князя Георгия Евгеньевича Львова. М.: Русский путь, 2001.

смерти сестры жили вместе под Парижем в Les Mesnuls, в доме, купленном Г.Е. Львовым.

Имя князя Георгия Евгеньевича Львова коренным образом отразилось на судьбе всех его родственников, оставшихся на родине. В допросах и следственных делах семьи Львовых, просмотренных мною в маленьком кабинете неприметного здания где-то в центре Москвы, многократно отмечено и многократно подчеркнуто красным карандашом следователя это "государственное преступление" – кровное родство с бывшим председателем Временного правительства...

Князь Сергей Евгеньевич, крупный промышленник Пермской губернии, – единственный из братьев, решивший остаться на родине, очевидно посчитав, что его огромный практический опыт и знания понадобятся молодой республике. Осталась в России и вся его большая семья: жена Зинаида Петровна, урожденная Игнатьева, и шестеро детей. Они вместе прошли свой крестный путь, самый, пожалуй, страшный из тех, что были уготованы этому семейству, и места упокоения большинства из них неизвестны.

Сергей Евгеньевич был арестован вместе с семьей 5 апреля 1924 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ и осужден по статье 60 УК РСФСР. Обвиненный в причастности к антисоветской группе и в проведении разного рода контрреволюционной деятельности, он был выслан на Урал на три года, а его семья лишена права проживания в крупных городах страны. Однако 13 июня 1924 г. при пересмотре дела наказание было признано условным, Львов из-под стражи был освобожден. Сергей Евгеньевич и Зинаида Петровна жили то в Московской области на станции Сходня, то под Ленинградом в поселке Тайцы, чтобы быть рядом с семьями взрослых уже детей. В 1935 г., после убийства Кирова, Юрий и Сергей с семьями, как и многие ленинградцы, были высланы в Куйбышев. Родители последо-

вали за ними. Так на Волге постепенно собрались остатки семьи — 11 человек.

Сергей Евгеньевич умер от кровоизлияния в мозг 8 июня 1937 г. в возрасте 77 лет. Рядом до последних своих дней жила его сестра — княжна Марья. Посвятившая себя с юности заботе о своей глухой матери, княжна Мария Евгеньевна в дальнейшем взяла на себя труд помогать брату Георгию по имению в Поповке, а затем его земским начинаниям в Тульском крае. Она скончалась в Куйбышеве 13 октября 1936 г. от воспаления легких в возрасте 72 лет.

Сын Сергея Евгеньевича, Юрий, окончил в 1918 г. в Москве 8-ю гимназию, а затем учился в политехническом институте. Брат Юрия Владимир недолгое время учился в Московском коммерческом училище, потом в гимназии, которую окончил в 1919 г. Сергей — любимец семьи, самый младший из братьев — учился в 1-м Московском кадетском корпусе, выбрав для себя карьеру военного.

В 1920 г. братья Львовы были призваны рядовыми в РККА: Владимир служил в инженерных войсках Военно-инженерного округа, Юрий — в военно-инженерной дистанции и с 1921 по 1922 г. находился в Бухаре в штабе Назира, а Сергей — в 3-м кавалерийском полку Московской кавалерийской дивизии, в 4-м эскадроне.

В 1922 г. и 1924 г. братья были демобилизованы из рядов Красной армии. Не имея средств и работы, они вынуждены были продавать еще остававшиеся у семьи вещи. Юрий был арестован ОГПУ в 1924 г. в Москве и через месяц выслан "как социально-опасный элемент" без права проживания в столичных городах, а в 1926 г. судим по социальному происхождению. Сергей был арестован в Москве и 6 июня 1924 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ выслан в административном порядке на Урал на три года по обвинению в участии в антисоветской группировке, "действовавшей в целях свержения Советской власти".

Через год ссылка была заменена лишением права проживания в крупных городах страны. Оба брата впоследствии жили в Калуге.

Владимира неоднократно арестовывали органы ОГПУ: в 1924 г. и два раза в 1930 г. за продажу семейных вещей. Обвиненный "в экономической контрреволюции" и по "валютным делам", он, однако, был в дальнейшем освобожден. Во время одного из арестов, в 1924 г., Владимиру удалось выскочить в окно и уехать в Москву, где его уже никто не искал.

В 1924 г. в Гжели под Москвой Владимир организовал мастерскую и работал там художником-кустарем по фарфору. Позднее он был лишен вместе с братом Юрием избирательных прав "как использовавший наемный труд". В 1930 г. в связи с коллективизацией мастерскую пришлось ликвидировать. Сергей работал в одиночку в Царицыне художником по фарфору.

В большой семье Львовых с детских лет главным воспитательным мотивом был труд. Сколько бы ни ломали жизнь братьев аресты, ссылки, лишения, вернувшись к семье, они всегда брались за любую работу, не теряя при этом достоинства. У братьев были воистину золотые руки — из одной конторы их увольняли и тут же с охотою брали в другую. Владимир в Ленинграде поступил работать "техноруком" завода "Техфарфор", но в связи с отсутствием избирательных прав при "чистке совараппарата" в 1931 г. был оттуда уволен. Подрабатывал кустарем при Промкооперации в "Кустхиме" по выработке керамики и фарфора до 1932 г. Пытался возобновить мастерскую по выделке технического фарфора на Охте под Ленинградом. В наемной даче по соседству с охтинским кладбищем на первом этаже была устроена мастерская, а на втором жила сама семья Львовых.

Сергей Сергеевич в 1928 г. женился на графине Марии Александровне Гудович, и в 1930 г. у них родился сын Сер-

гей. А Юрий Сергеевич в 1932 г. женился на княжне Ольге Ивановне Ратиевой. В 1934 г. у них родилась дочь Екатерина.

Арестованные 9 февраля 1935 г. и осужденные ОСО по статье 58-6 УК РСФСР, Юрий и Сергей с семьями были бесосланы на пять лет в Куйбышев "как социально-опасные элементы". Там братья смогли устроиться техниками по монтажу лифтов в институте охраны материнства и младенчества. Юрий Сергеевич Львов вновь был арестован 12 декабря 1937 г. и осужден по статье 58-10-11 УК РСФСР как "враждебно настроенный к Советской власти член контрреволюционной фашистской организации". Постановлением "тройки" при УНКВД он был расстрелян во внутренней тюрьме Куйбышева 15 марта 1938 г. Только в феврале 1957 г. на запрос жены князя Юрия Ольги сообщили, что он умер "от рака печени в сентябре 1944 г.". В это же время и в той же тюрьме находился его брат, Сергей Сергеевич, арестованный 15 декабря и осужденный по той же статье как "вступивший для активной борьбы с Советской властью в члены контрреволюционной белогвардейской организации... с целью свержения существующего строя". Согласно этому обвинению, они "подготавливали открытое выступление в помощь фашистским интервентам" — надо понимать, в самом институте охраны материнства. Постановлением "тройки" УНКВД Сергей Львов был расстрелян 17 марта 1938 г., через два дня после гибели старшего брата, Юрия, той же командой палачей.

Владимир Сергеевич Львов был арестован в Саратове 2 ноября 1937 г. органами УНКВД как "враждебно настроенный к Советской власти" и занимавшийся вредительством — не сдал строящийся фарфоровый цех к годовщине Октября. Он содержался в саратовской следственной тюрьме и постановлением "тройки" при УНКВД был расстрелян 29 ноября 1937 г.

Старший брат, Евгений Сергеевич Львов, получил домашнее образование и в 16 лет сразу поступил в 6-й класс 8-й гимназии в Москве, где проучился три года. После Октября он приехал в Москву и стал работать в Комитете по оказанию помощи пленным и беженцам (Пленбеж), в Белостокском госпитале, который находился в это время в Москве, и одновременно учился на медицинском факультете 3-го МГУ. Совместно с группой студентов-медиков он был мобилизован (в добровольном порядке) на Южный фронт в качестве лекарского помощника ("лекпома") и члена Особой комиссии Главсанупра по обследованию санитарного состояния фронта. Затем жил в Москве и учился во 2-м МГУ до весны 1920 г., когда перевелся на сельскохозяйственные "голицынские курсы", где и проучился до сентября. В сентябре Евгений Львов был арестован ЧК, но его вскоре освободили, и он продолжал обучение на курсах, которые были реорганизованы в инженерный факультет тимирязевской сельскохозяйственной академии. Попав под чистку в 1924 г. якобы за неуспеваемость, был отчислен с 3-го курса и направлен на практику в качестве "шефского агронома" в Каширский уезд. Зимой 1925/26 г. учился на курсах английского языка, перебиваясь случайными заработками, и два года состоял на бирже труда безработным. Пытаясь заступиться за местных крестьян, насильно сгоняемых в колхоз, он был вновь арестован и решением "тройки" ОГПУ по Московской области 28 января 1930 г. сослан в Северный край. Первые три месяца он пробыл в Москве, в Бутырской тюрьме, затем две недели в вологодском доме заключенных и потом как ссыльнопоселенный — в Вологде. За время ссылки Евгению приходилось работать учителем немецкого языка, лаборантом в химлаборатории, рабочим при картографической съемке Вологды и ее окрестностей. В январе 1933 г. окончился срок очередной ссылки Евгения Сергеевича, но разреше-

ние на освобождение не было получено, и в апреле он делает запрос в "Известия ВЦИК", прилагая к нему обстоятельное письмо о бесправном положении ссыльнопоселенных Вологодчины, в котором в том числе говорится и о бытовых тяготах. Результатом этого послания был дополнительный срок. Из вологодской ссылки Евгений уехал к родителям в Куйбышев. Там он преподавал немецкий язык, одновременно учась на 2-м курсе пединститута. Позднее он перешел учителем в Радищевскую среднюю школу. Во время осеннего наступления немцев на Москву князь Евгений Сергеевич Львов был арестован по местному доносу 20 октября 1941 г. органами РО ОГПУ и, обвиненный по статье 58-10 УК РСФСР, направлен в Сызранскую тюрьму № 2, где и был расстрелян 7 апреля 1942 г.

После ареста всех сыновей в 1937 г. в Куйбышеве осталась жить их старая мать с двумя невестками и малолетними детьми. Как они выжили — без своих пропавших и, как мы теперь уже знаем, расстрелянных мужчин, без всяких средств к существованию? Семья жила за счет нерегулярных заработков Ольги и Марии: ссыльных на постоянную работу не брали. Ольга делала на заказ художественные вышивки, а Мария великолепно расписывала шелковые косынки. Как могла помогала матери и семьям погибших братьев Наталья Сергеевна, жившая в Москве.

Княжна Наталья Сергеевна (1893–1981) родилась в Уфе. Перед началом Первой мировой войны она училась на Высших женских курсах в Москве. С началом войны Наталья поступила сестрой милосердия в военный госпиталь, где проработала свыше 50 лет. 5 апреля 1924 г. ее арестовали. Особым совещанием при коллегии ОГПУ по статье 60 УК РСФСР Наталья Сергеевна была обвинена в "участии в антисоветской группе и проведении контрреволюционной деятельности". Приговоренная к высылке на Урал на три года, она при пересмотре дела 13 июня была



Кн. Сергей Евгеньевич с дочерьми Еленой и Натальей. *Пермь, 1893*



Его жена кн. Зинаида Петровна (урожд. Игнатьева). *Пермь, 1911*

Семья кн. Сергея Евгеньевича Львова в усадьбе села Пожва, Пермской губернии. *Сидят (слева направо):* 2-й — кн. Владимир Евгеньевич, 7-я — кн. Зинаида Петровна; 10-й — кп. Сергей Евгеньевич, дети С.Е и З.П. Львовых: Елизавета, Елена, Наталья, Зоя, Владимир, Евгений, Юрий. *1901*



Слева направо: кн. Зинаида Петровна Львова, Т.Д. Колосовская (преподаватель), княжны Зоя, Елена, Наталья, Мария Евгеньевна Львова, Елизавета. *Пожва*







Сыновья кн. С.Е. Львова. *Сидят:* Владимир и Сергей с женой Марией (урожд. гр. Гудович); *стоят:* Евгений и Юрий. *1928*

Княж. Наталья Сергеевна Львова— сестра милосердия. *Москва, 1914*

Княж. Елена Сергеевна и Елизавета Сергеевна Львовы. *Париж*



Юрий и Ольга Львовы после свадьбы. *Тбилиси, 1932*

В ссылке:



Юрий, Ольга и Сергей Львовы. *Куйбышев, 1937*



Стоят: Мария Николаевна Чибисова, Сергей, Ольга, Эка, Мери, Наталья Львовы, Софья Дмитриевна Ратиева, Зинаида Петровна Львова, Иван Дмитриевич Ратиев. *Сидит:* Сергей Федорович Майков с Сережей Львовым. *На дереве:* Саша Истомин

Внучатые племянники Георгия Евгеньевича Львова:





Кн. Сергей Сергеевич (младший) *1950;*
кнж. Екатерина (Эка). *1953*



Николай Васильевич Вырубов и кнж. Екатерина Юрьевна Львова —первая встреча. *Париж, 2000*





Правнучки кн. С.Е. Львова: (дочери кнж. Е.Ю. Львовой) Ирина, *1992*, Елена (Лали), *1995*



Праправнуки кн. С.Е. Львова: (внуки кнж. Е.Ю. Львовой): кн. Петр, Михаль и кнж. Екатерина. *2000*

освобождена из-под стражи. Позднее вышла замуж за известного в Москве профессора-терапевта Сергея Федоровича Майкова, с которым вместе работала. Умерла она в 1981 г. в Москве и похоронена на Введенском кладбище рядом с мужем и сестрой Зоей.

Ее младшая сестра, княжна Зоя Сергеевна, скончалась в 1936 г. Она, подававшая надежды пианистка, была арестована 26 октября 1929 г. за контрреволюционную деятельность и обвинена в "ведении антисоветской агитации и поддержании связи с рядом московских монархистов". Была осуждена Особым совещанием при коллегии ОГПУ по статье 58-10 УК РСФСР с высылкой в Северный край сроком на три года и находилась на поселении в Вельске.

И жена Юрия Сергеевича Ольга Ивановна, и жена Сергея Сергеевича Мария Александровна еще до замужества неоднократно арестовывались и Особым совещанием при коллегии ОГПУ ссылались на Урал, в Киркрай, с лишением прав проживания в крупных городах и приграничных губерниях.

Княгиня Мария Александровна Львова погибла в 1940 г. в Куйбышеве, а княгиня Ольга Ивановна жила в семье дочери и скончалась в 1987 г. Она похоронена в Москве, в некрополе Донского монастыря, в семейном склепе князей Ратиевых.

Сын Сергея Сергеевича, Сергей, стал художником, членом Союза художников Украины. Умер он в 1993 г. бездетным. Дочь Юрия Сергеевича, Екатерина, закончила физический факультет Тбилисского государственного университета и сорок лет занималась научной работой. У нее две дочери — Ирина, инженер-программист, и Елена, инженер-экономист, — и трое внуков.

Осенью 1941 г., когда Советское правительство переезжало в Куйбышев, одинокую княгиню Зинаиду Петровну, родившую и воспитавшую восьмерых детей, в возрасте

74 лет выслали в Алтайский край, где через несколько месяцев она скончалась.

На уцелевшей в семье фотографии эта красивая и величавая женщина стоит в окружении своих детей, рожденных ею для счастья...

Е.Ю. Львова

ТРИ ДНЯ У РОДНЫХ ПЕНАТОВ

Я еду в Алексин, уездный город, что в 20 верстах от имения моих прадедушки и прабабушки Евгения Владимировича и Варвары Алексеевны Львовых, имения, в котором провела самые безоблачные годы их большая семья. Наконец и я увижу родовое гнездо, хорошо знакомое по рассказам родных.

На днях мне пришло приглашение:

Глубокоуважаемая Екатерина Юрьевна!

2 ноября этого года исполняется 140 лет со дня рождения видного общественного и политического деятеля, первого в истории демократического премьер-министра России и Вашего двоюродного деда Георгия Евгеньевича Львова. Город Алексин и село Поповка, бывшее родовое "гнездо" князей Львовых, готовятся широко отметить эту знаменательную дату. В течение трех дней, с 31 октября по 2 ноября, будет проходить региональная научно-практическая конференция, посвященная Георгию Евгеньевичу; кроме того, в Алексинском художественно-краеведческом музее готовится расширенная экспозиция, один из разделов которой посвящен Вашему деду, князю Сергею Евгеньевичу Львову. В Поповке в церкви Смоленской иконы Божьей Матери пройдет торжественное богослужение, а возле школы, построенной князем Г.Е. Львовым в 1888 году, ему будет установлен памятник.

В связи со всем вышесказанным, уважаемая Екатерина Юрьевна, мы были бы рады видеть Вас на торжествах "Львовских дней" в Алексине в качестве почетной гостьи.

Глава города Алексин и Алексинского района

А.Ф. Ермошин.

* * *

Открылась конференция приветствием участникам от лица учредителей "Львовского проекта". В зале более ста человек — гости из Москвы, Тулы, Парижа, профессора-историки, ученые-краеведы, геральдисты, сотрудники музеев, архивисты... "От тульского помещика до российского премьера" — вот основная тема докладов о жизни и общественной деятельности кн. Львова. Представители муниципальных учреждений области говорили об актуальности опыта местного самоуправления — земского движения в тульском крае, которое возглавил в свое время кн. Львов. Посвятив всю жизнь служению России и русскому народу, Георгий Евгеньевич и в эмиграции занялся обустройством своих соотечественников. Почти все западноевропейские страны стали ареной гуманитарной помощи созданного им Земско-Городского комитета (Земгора), председателем которого он был до конца своих дней. О благотворительной миссии этой организации в наши дни рассказал председатель совета директоров Земгора в Париже Ю.А. Трубников.

Немаловажную роль в возвращении на родину имени кн. Львова сыграло издательство "Русский путь", впервые опубликовавшее "Воспоминания" кн. Львова с фотографиями и изобразительными материалами из семейного архива. Директор издательства В.А. Москвин сообщил, что быстро разошедшийся тираж предполагает выпуск второго, дополненного новыми материалами издания "Воспоминаний". К 140-летию кн. Львова "Русский путь" выпустил также не публиковавшуюся в России книгу друга и секретаря Георгия Евгеньевича Т.И. Полнера "Жизненный путь князя Г.Е. Львова". Презентация этой книги состоялась в просторном, красивом помещении Алексинской библиотеки.

За несколько месяцев до "Львовских дней" среди старшеклассников района был объявлен конкурс, посвященный 140-летию кн. Г.Е. Львова, на лучшую исследовательскую работу по краеведению и историографии. Первую премию разделили два ученика поповской школы. Их пригласили на презентацию, где они прочли свои работы. Трудно было справиться с целой гаммой эмоций, слушая, как эти подростки говорят о дяде Георгии. Сколько им пришлось потрудиться в поисках документального материала!

В Алексине создан прекрасный художественно-краеведческий музей. В нем открылась экспозиция "Местное самоуправление: традиции и современность", а также раздел, посвященный семье князей Львовых.

2 ноября. День юбилея. Все мы едем в Поповку. По дороге заезжаем в село Колюпаново и идем к Святому источнику блаженной старицы Евфросинии. Бесподобно вкусная вода. И целительной силы.

Увидели мы и начальную школу, созданную Георгием Евгеньевичем в 1888 году для крестьянских детей. Впереди полная реконструкция здания, обустройство округи.

О самой Поповке, о жизни там нашей семьи я много знала из рассказов моей тети Натальи Сергеевны, из мемуаров Марии Евгеньевны и, конечно же, из книги воспоминаний Георгия Евгеньевича. В семейном альбоме есть несколько фотографий: сгоревшая в 20-х годах усадьба, пруды, сад, окрестные дали, стройная белая церковь... Сейчас на ее ступенях стоит о. Геннадий, а Ю.А. Трубников с иконой в руках — дар Н.В. Вырубова церкви Смоленской иконы Божьей Матери — держит слово от имени Николая Васильевича. Эту семейную реликвию Георгий Евгеньевич увез с собою в Париж, и она всегда висела у него в изголовье. Теперь она — символ возвращения Георгия Евгеньевича в Поповку. Этому духовному событию был посвящен молебен в храме.

Накрапывает мелкий дождь, налетают порывы холодного ветра. А неподалеку, напротив церкви, идет церемо-



ния открытия мемориального знака с изображением кн. Г.Е. Львова. И приехавшие гости, и местные жители стоят и слушают торжественные слова. Непогода им не помеха. Они соприкоснулись с добрым прошлым, немного романтичным и забытым...

Князь Львов вернулся в Россию...

А потом в Доме культуры местные музыканты дали концерт: играл оркестр народных инструментов, лились мелодии русских песен, которые так любил слушать дядя Георгий, пелись романсы... Вдруг зазвучала музыка Сен-Санса и на сцену "вплыл" маленький белый лебедь — в трепетной пачке и на пуантах ученица балетного класса поповской школы. Это ли не чудо!

Эти три дня стали для всех праздником. Спасибо.

* * *

Покоится Георгий Евгеньевич на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. С ним рядом — мои тетки Елена Сергеевна и Елизавета Сергеевна. Фотографию их большой могилы я хорошо запомнила: черный гранитный крест, две большие гранитные плиты и имена похороненных там Вырубовых, Волконских, Долгоруких, Львовых. В 1993 году я три дня была в Париже. Как попасть в Сент-Женевьев, чтобы поклониться праху своих родных? В воскресенье, к утренней службе, я пошла в русскую церковь узнать у прихожан, как проехать в Сент-Женевьев и найти могилу. Как добраться до кладбища, мне объяснили, а на-



хождение могилы осталось неизвестным. Во дворе церкви ко мне подошли две пожилые дамы и предложили на их машине отвезти меня в Сент-Женевьев. Приехав на кладбище, мы обратились в канцелярию, но безрезультатно (могила зарегистрирована на фамилию Вырубовых, о чем я не знала), и мы в растерянности остановились у входа. В какую сторону идти?.. Как будто что-то меня подтолкнуло, я повернула налево, прошла по дорожке, потом опять налево и невдалеке увидела большой гранитный крест, две большие гранитные плиты... И я, и мои спутницы остановились потрясенные.

Всякий раз, бывая в Париже, я езжу в Сент-Женевьев. Могила всегда ухожена, в чистоте и порядке. Кто заботится о ней?

Два года назад получаю письмо из Парижа — меня разыскал Николай Васильевич Вырубов. И мы, два старших потомка Георгия Евгеньевича, обрели друг друга. Тогда и стало ясно, кто заботится о покое наших родных.

СОДЕРЖАНИЕ

В оформлении книги использованы:
портрет кн. Г.Е. Львова
работы А.Е. Яковлева, 1922 г. (*фронтиспис*);
фотографии из семейных архивов
Н.В. Вырубова (*Париж)*
и Е.Ю. Львовой (*Москва)*

Львов Г.Е., князь

Л 99 Воспоминания / Предисл. Н.В. Вырубова. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Русский путь, 2002. — 376 с., ил.

ISBN 5-85887-141-0

Второе издание воспоминаний видного русского общественного и политического деятеля, главы Временного правительства князя Георгия Евгеньевича Львова (1861–1925). Незаконченные автором из-за преждевременной кончины, они охватывают период его детства и юности. Яркие впечатления жизни в родовом тульском поместье, протекавшей в тесной близости с народом, проникновение в русский характер и нужды крестьян, осознание тяжелого труда на земле как основы нравственного и духовного существования нации, размышления о путях исторического развития России.

В книге использованы фотографии и изобразительные материалы из семейных архивов Вырубовых (Париж) и Е.Ю. Львовой (Москва).

В приложениях публикуются воспоминания о князе Г.Е. Львове, отклики на его кончину в русской эмигрантской печати, материалы об истории семьи.

ББК 84(2 Рос)6

Князь Георгий Евгеньевич Львов
ВОСПОМИНАНИЯ

Оформление *Г.К. Самойлов*
Редактор *А.В. Громов-Колли*
Корректоры *Л.П. Сидорова, А.З. Лазуткина*

ЛР № 040399 от 03.03.1998

Подписано в печать 01.03.20021
Формат 84х108/32. Тираж 2 000 экз.

ЗАО «Издательство “Русский путь”»
109004, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 1
Тел.: (095) 915-10-47. E-mail: moskvin.rp@mtu-net.ru

Отпечатано в типографии ФГУП «НИИ «Геодезия»
141292, г. Красноармейск, пр-т Испытателей, д. 14

ISBN 5-85887-141-0



Замеченные опечатки

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
5	6	...с другой дочерью и тремя...	...с двумя дочерьми и четырьмя...



Кн. Г. Е. Львов ВОСПОМИНАНИЯ